



Тем, что эта книга дошла до Вас, мы обязаны в первую очередь библиотекарям, которые долгие годы бережно хранили её. Сотрудники Google оцифровали её в рамках проекта, цель которого – сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Эта книга находится в общественном достоянии. В общих чертах, юридически, книга передаётся в общественное достояние, когда истекает срок действия имущественных авторских прав на неё, а также если правообладатель сам передал её в общественное достояние или не заявил на неё авторских прав. Такие книги – это ключ к прошлому, к сокровищам нашей истории и культуры, и к знаниям, которые зачастую нигде больше не найдёшь.

В этой цифровой копии мы оставили без изменений все рукописные пометки, которые были в оригинальном издании. Пускай они будут напоминанием о всех тех руках, через которые прошла эта книга – автора, издателя, библиотекаря и предыдущих читателей – чтобы наконец попасть в Ваши.

Правила пользования

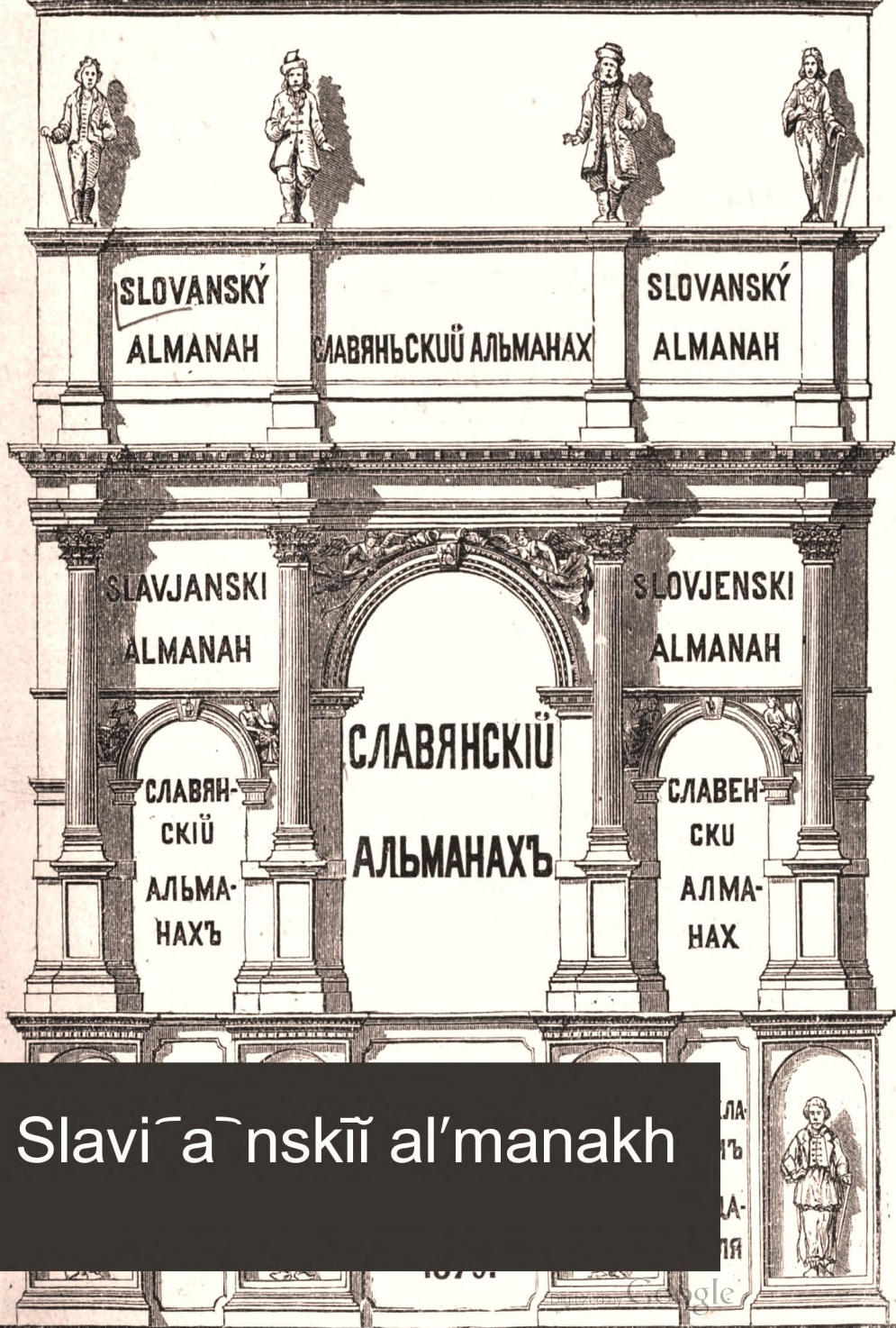
Мы гордимся нашим сотрудничеством с библиотеками, в рамках которого мы оцифровываем книги в общественном достоянии и делаем их доступными для всех. Эти книги принадлежат всему человечеству, а мы – лишь их хранители. Тем не менее, оцифровка книг и поддержка этого проекта стоят немало, и поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые меры, чтобы предотвратить коммерческое использование этих книг. Одна из них – это технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас:

- **Не использовать файлы в коммерческих целях.** Мы разработали программу Поиска по книгам Google для всех пользователей, поэтому, пожалуйста, используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- **Не отправлять автоматические запросы.** Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого рода. Если Вам требуется доступ к большим объёмам текстов для исследований в области машинного перевода, оптического распознавания текста, или в других похожих целях, свяжитесь с нами. Для этих целей мы настоятельно рекомендуем использовать исключительно материалы в общественном достоянии.
- **Не удалять логотипы и другие атрибуты Google из файлов.** Изображения в каждом файле помечены логотипами Google для того, чтобы рассказать читателям о нашем проекте и помочь им найти дополнительные материалы. Не удаляйте их.
- **Соблюдать законы Вашей и других стран.** В конечном итоге, именно Вы несёте полную ответственность за Ваши действия – поэтому, пожалуйста, убедитесь, что Вы не нарушаете соответствующие законы Вашей или других стран. Имейте в виду, что даже если книга более не находится под защитой авторских прав в США, то это ещё совсем не значит, что её можно распространять в других странах. К сожалению, законодательство в сфере интеллектуальной собственности очень разнообразно, и не существует универсального способа определить, как разрешено использовать книгу в конкретной стране. Не рассчитывайте на то, что если книга появилась в поиске по книгам Google, то её можно использовать где и как угодно. Наказание за нарушение авторских прав может оказаться очень серьёзным.

О программе

Наша миссия – организовать информацию во всём мире и сделать её доступной и полезной для всех. Поиск по книгам Google помогает пользователям найти книги со всего света, а авторам и издателям – новых читателей. Чтобы произвести поиск по этой книге в полнотекстовом режиме, откройте страницу <http://books.google.com>.



Slavjanskij almanakh

1876

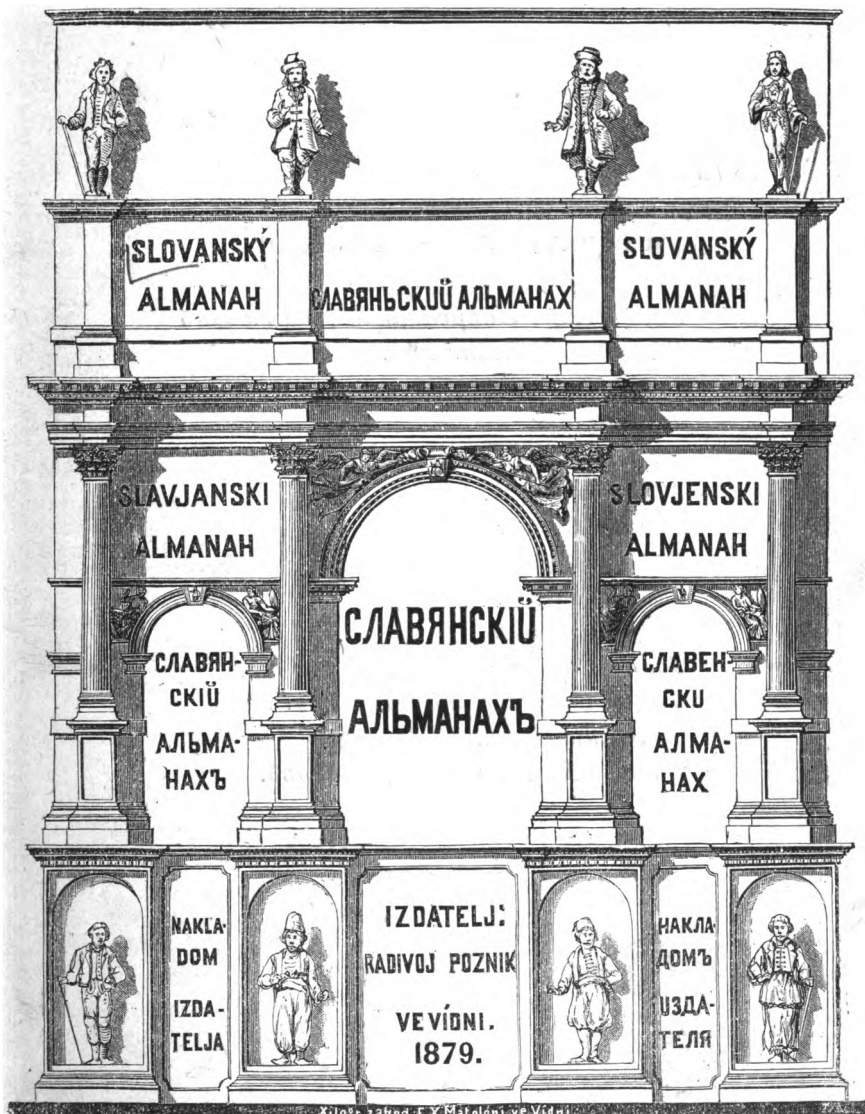
Digitized by Google

Slav 375.9

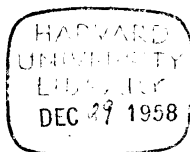
HARVARD COLLEGE
LIBRARY



BOUGHT FROM THE
AMEY RICHMOND SHELDON
FUND



Slav 375. 9
✓



Редакторы. — Redaktori.

Сильвестръ Лавреншіевъ Дрималикъ

Григорій Цеглинскій.

Jan Máchal.

Josef Penížek.

Jozef Burjan.

Alexander Pavlík.

Davorin Hostnik.

Radoslav Pukl.

Josip Brunšmid.

Dragutin Neuman.

Јован Симеоновић Чокић.

Тодор Стефановић Виловски.

Димитръ Костовъ Вачовъ.

Василь Христовъ Радославовъ.



Содержаніе. — Obsah.

I. РУССКІЙ ОТДѢЛЪ.

	Стр.
Блонскій Т. К.: Падшимъ героямъ 1877—1878. Къ Пруту. Дора. Утромъ.	3
Когда легковѣренъ	64
Бѣдиловскій Ц. А.: Разлука солдата (из 1877 года). Пѣсня жнена. Годъ 1877.	8
К. Ф. И.: Пѣснь	10
Павловичъ Александръ: Пѣснь	12
Хамходера Николай: Голосъ изъ Россіи	13

II. ВІДДІЛ МАЛОРУСЬКІЙ.

Цар М.: Народні обряди весіальні	74
Млака Данило: Думки I. II. III. IV. Весна-чарівниця	67

III. ODDÍL ČESKÝ.

	Str.
Drahorád-Hradištský Pavel: Skalní vrabec. — Chci žít!	152
Heyduk Adolf: Česká sláva. — Východ slunce. — Bůh	123
Hudec Jan: Památce Karlově. — Lesní pohádka	154
Koukl Antonín: V den srbské neodvislosti. — V plesu	153
Krásnohorská Eliška: Svobodě	121
Máchal Jan: O ráji	156
Mokrý Otakar: Ze žalářů	141
Matka. Hekata. Sběh. Tribun lidu. Císař.	
Penížek Josef: Na přivoze	130
Sládek J. V.: Z bludné družiny. — Zasní. — Pochováno. — Addagio.	
Svíť mi má hvězdičko. — Ty má domovino	149
Vrchlický Jaroslav: Večer ve žních. — Té jež čítá Apokalypsu.	
Mizící loď	126

IV. SLOVENSKÝ ODDIEL.

Baňell Koloman: Napomenutie	189
Čierne oči švárnej devy	201
Cimrák Ján: Život v Tatrách	186
E. † P.: Vplyv potravín na rozplemáňovanie	189
Graichman J.: Abas Šach	184
Peter Velký	203
Sylvestrova noc	205
Hroboň S. B.: Sloboda	188
Hviezdoslav: Vatra	177
Pút ducha	122
Klímó M. M.: Žiaľ sokola	187
Mladík vyšších vzletov	202
Tisovský S. K.: Staroba	205
Zoch Ivan dr.: Príspevok k dokázaniu vzdelanosti starých Slovanov	282

V. SLOVENSKI ODDEL.

	Str.
Cimperman Jos.: Gazeli I, II.	213
Eržén Viktor: Hitra proména	254
Nis Vodoran: Obup	215
Pajkova Pavlina: Pervi križ na turškem polju.	210
Pesjakova Lujíza: Rožno cvetje	214
V dan vernih duš	252
Podgornik France: O pismenih jezikih na sploh in občeslovanskem literaturnem jeziku posebe	216
Sterlè A.: Potoku.	255
Zbašnik Fr.: Pozdrav slovanskim dijakom	209
Triolet.	253
Medailon, noveleta	257
X.: Kítica. Primula	251
Sonet	256

VI. HRVATSKI ODIO.

C.: Da tebe nije	319
K.: Tartufov unuk. Komediya u 5 činah	267
L.: Tko?	320

VII. SRPSKI DEO.

	Стр.
Марковић Паја: Сиротина.	324
Слика из српског живота	327
Симеоновић-Чокић Јован: Котва	323
Стефановић-Виловски Тодор: Један листак из српске приповедачке књижевности	335

VIII. БЪЛГАРСКИ ОУДЪЛЪ.

Вачовъ Д. К.: Неволно пжтување	364
Радославовъ В. Хр.: I. Съ Богомъ! II. Тъмничари. III. Въ тъменъ облакъ. IV. Недей вече. V. Въ тъмна ноць. VI. Любезний друже! VII. Кой би казалъ. VIII. Сънь. IX. Отабъ-тѣте. X. Это и на истокъ	353

Подписаници. — Predplatitelji	383
Важнѣйшия поправки. — Hlavní opravy	393
Славянскія азбуки. — Slavjanske azbuke	394



РУССКІЙ ОТДѢЛЪ.

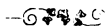
Предисловіе.

Предлагаемый сборникъ долженъ дать читателю образцы всѣхъ славянскихъ языковъ.

Въ томъ, что намъ не удалось вполне осуществить наше желанье, виновата невозможность привлечь къ участию въ сборникѣ представителей всѣхъ племенъ славянскихъ. Тѣмъ не менѣе, издавая его въ свѣтъ, мы надѣемся содѣйствовать распространенію знакомства съ языками славянскими, упроченію духовнаго единенія и взаимнодѣйствія Славянъ.

Если наша книга и цѣль ея выпуска встрѣтятъ одобренье, то, быть можетъ, намъ удастся въ будущемъ превратить ее въ ежегодное изданье и пополнить существующіе теперь пробѣлы.

Иди-же въ свѣтъ, первая славянская книга, иди, напутствуемая нашими благожеланьями во всѣ страны, гдѣ подѣ широко развинувшимися отраслями славянскаго племени раздастся славянское слово! Будь встрѣчена всюду съ такимъ-же привѣтомъ, съ какою любовью мы тебя выпускаемъ!



Падшимъ героямъ

1877—1878.

Стан орловъ — храбры Россіи чада —
Прилетѣли ко стѣнамъ Цареграда,
И Цареградъ низко гордымъ челомъ
Отдалъ поклонъ — и стихъ пушечный громъ!

Ужъ стануль миръ по трудахъ тяжелой брани:
Врагъ въ пухъ разбить, ликуютъ всѣ Славяне,
И храбрый Россъ съ вѣнцомъ на головѣ
Идетъ назадъ къ драгой родной странѣ.

Онъ исполнилъ подвигъ святой гигантскій,
Глубокъ Дунай, крутой хребетъ балканскій,
Жажда и гладъ, пуля и ножъ враговъ
Не вздержали геройскихъ молодцовъ.

Они идутъ и родина святая
Къ нимъ рамена на встрѣчу растворяя
Съ любовію уже ихъ къ сердцу жметъ
Своихъ дѣтей, свою надежду — цвѣтъ.

О здравствуйте любезные ребята!
Бѣдный шалашъ и пышная палата
Празднують днесъ счастливыи вашъ во звать,
Всѣ нынѣ вамъ: урра, урра! кричатъ.

Счастливые, ваши счастливые съ вами,
Но тамъ, увь! предолгимн рядами
Лежить покось косою войны свалень
И не росой, но кровью орошень!

Далеко тамъ за водами Дуная,
И гдѣ Балканъ на гробы воззирая
Избитыхъ чадъ съ горя покрылся мглой,
Тамъ не одинъ русскій лежить герой.

За снѣжными верхами и Кавказа
Подъ стѣнами Ардагана и Карса,
Гдѣ Баязеть Ерзерумъ и Игдырь
И тамъ въ землѣ спитъ русскій богатырь.

Не тщетно вы драгой лишились жизни:
За крестъ святой, царя и за отчизны
Дражайшу честь, за свободу Славянъ
Кровь русская лилась съ тысящей ранъ!

Съ вашихъ могилъ растеть ужъ цвѣтъ свободы,
Ожили вновь прибитые народы,
Они уже раны лечатъ и боль,
„Братня любовь“ святой былъ вашъ пароль.

Покойтесь же святымъ покоемъ мира,
Не въ силѣ васъ воспѣть разстройна лира,
Не силенъ я сказать запретъ слезамъ,
И голошу: вѣчная память вамъ!

Т. К. Блонскій.

Къ Пруту.

Гляжу изъ берега на любый мой Прутъ,
Хрустальныя воды его какъ бѣгутъ,
Свободно весело волны за волнами
Цвѣтущими мчатъ ся долой берегами.

Лазурное небо себя зреть въ тебѣ
Мой другъ ты любезный, по чистому днѣ,

Твоемъ серебрянны плотички пеструшки
Весело рѣзвятся и строить игрушки?

О чемъ надъ тобою во юные дни
Такъ часто думалъ я, Богъ знаетъ и ты,
Тсму мнѣ отрадно сидѣть надъ тобою
Мечтать любоваться твоею волною.

Какъ въ прошлое время будутъ ли опять
Небесныя искры мнѣ грудь согрѣвать,
Иль ужъ мои думы на вѣки пропали
Какъ волушки Прута въ синѣющей дальи?

Т. К. Блонскій.

Дора.

Горы мои горы,
Предвѣчныя боры,
Верхи полонины
Яры и лоцины!

Вы братъ и сестрица:
Лысакъ Маковица¹⁾
Пробоя²⁾ вы скалы
И Прута кристалы.

Дора моя Дора!
Подъ лѣсомъ у звора
Зелена долинка
Ручей и хатинка.

Мнѣ — скажу неложно:
Мѣнять невозможно
Васъ сестры и браты
За грады богаты.

1) Лысакъ Маковица — горы.

2) Пробой, такъ называется водопадъ Прута въ Дорѣ.

Дворцы тамъ соборы
Казармы конторы
Палаты пріюты
Тюрьмы тамъ и пути.

Тамъ шумъ и арава
И воздухъ — отравя
Тамъ душно, неволя
Душѣ нѣтъ раздолья!

Въ горахъ такъ природно,
Такъ легко, свободно,
Бьетъ сердце живѣе
Паритъ духъ смѣлѣе.

Какая, о, радость:
Бросить града гадость
Гулять по вершинамъ
Лазамъ полонидамъ!

Отсюда зреть око
Далеко, далеко
Отсюда дорога
До неба, до Бога.

Всѣ хлопоты свѣта
Боль вражьяго гнета
Тогда забываешь
Весь міръ обнимаешь.

Горы мои горы,
Вы Бога притворы
Здѣсь вѣкъ доживалъ бы
Здѣсь и — умиралъ бы!

Т. К. Блонскій.

Утромъ.

Я вышелъ зъ избы въ садъ, сверканье звѣздъ блѣднѣетъ,
Восточный сводъ небесъ отъ зоревъ алѣетъ,
Проснувшись солнышко ужъ за горой взошло,
Повѣялъ ранний вѣтръ мнѣ свѣжестью въ лицо.

Мнѣ любо, любо, ахъ! пошелъ гулять я лѣсомъ,
Но онъ еще покрытъ синявымъ занавѣсомъ,
Чуть чуть лишь солнышка златобагряный лучъ
Проскользаль черезъ деревь тѣнистыхъ мракъ дремучь.

Краемъ пути торчатъ на лѣво и на право
Ели столѣтныя такъ гордо величаво
Будто готически колонны къ небесамъ
Казалось мнѣ что я вступаю въ божій храмъ.

Всюда молчаніе. — Въ верху лишь надомною
Слышу какъ деревья говорятъ межъ собою,
Я таинственный ихъ протяжный слышу шумъ
И погружаюсь весь въ напѣвы чудныхъ думъ.

О чемъ толкуете вы буки и елцы
Монихъ родинныхъ горъ стройныя красавицы,
Про любяя мечты вашихъ причудныхъ сновъ
Иль дѣла давныя минувшихъ ужъ годовъ?

Иль вы рыдаете, что бѣдные потомки
Вашихъ давнихъ друзей до нищенской котомки
Взялись и въ свѣтъ бредутъ, что глохнетъ ужъ напѣвъ
Надъ плесами рѣки прекрасныхъ лѣсныхъ дѣвъ?

И вамъ не долго быть; торговцы подрубаютъ,
Одотнуть вамъ главы, и кожу посдераютъ,
Повяжутъ цѣпью въ плоть и пустятъ васъ водой,
И гдѣ вамъ быть тогда — лишь знаетъ Богъ святой!

Рѣзвѣе, вѣетъ вѣтръ, мон подруги ели
На участь жалкую рыдая зашумѣли,
Зъ вѣтвей ихъ падаетъ алмазная роса,
Алмазная роса — ихъ горести слеза.

Т. К. Бловскій.

Разлука солдата (изъ 1877 года).

Завтра ужъ иду въ походъ я,
Въ землю вражску воевать.
Ахъ, по мнѣ вѣдь кто-то будетъ
Слезы грусти проливать.

Ты одна, моя милая,
Будешь плакать, ты одна
Платокъ бѣлый вышивая
У открытаго окна.

У ручья плакуча ива
Съ поникшей главой стоитъ.
Грустно мнѣ теперь и сердце
Мое сжалось и болить.

Попадетъ меня тамъ пуля,
Засядетъ въ груди моей;
И безъ слезъ, меня не зная,
Загребуть среди степеней.

Какъ про смерть мою узнаешь,
То ты, милая, но мнѣ
Будешь слезы неутѣшно
Проливать на единѣ.

Барабанъ зоветъ къ разлукѣ . . .
Твою рученьку мнѣ дай.
Перестань-же, другъ мой, плакать!
Не забудь меня . . . прощай!

Если тамъ, подъ вольнымъ небомъ
Вѣчный сонъ судьба пришлетъ,
То пусть на моей могилѣ
Незабудочка цвѣтеть.

Ц. А. Бѣлиловскій.

Пѣсня жнеца.

Прекрасна нивушка весной,
Покрыта зеленымъ ковромъ,
Когда весна цвѣты съ собой
Несеть, бросая ихъ кругомъ.

Но чуднѣи въ жатвенной порѣ,
Когда зрѣлъ, колосья золотой
Предъ нами на полѣ въ жарѣ
Тяжелой клонится glavой.

Когда самъ — двадцать уродиль
Хлѣбъ, что крестьянннъ въ рubeжахъ
Съ надеждой сладкой положиль
На плугомъ вспаханныхъ поляхъ . . .

У копнѣ возы весь день стоятъ;
На нихъ хлѣбъ, даръ небесъ кладуть,
На возахъ дѣвушки сидятъ,
А молодцы пѣшкомъ идуть.

Нашъ хлѣбъ ѣдимъ мы подъ возомъ;
И весель всякъ изъ насъ и радъ.
Къ вечерѣ нашей тутъ кругомъ,
Въ травѣ кузнечики трещать.

Ахъ, баринъ, ты не надсмѣхайсь,
Что груба ужъ рука моя!
Она всю кормить, вѣдь признайсь,
Страну, и князя, и тебя!

Глянъ, воинъ, на кровавый мечъ,
И на косу, на серпъ простой! . . .
Что больше стонтъ: твой вѣнецъ,
Иль мой вѣночекъ полевой?

Молчишь? Мы правы? Ну такъ дай
Намъ миръ, покой и тишину!
Нашъ трудъ — работу награждай, —
И мы прокормимъ всю страну.

Ц. А. Бѣлиловскій.

ПѢСНЬ.

Долго ахъ долго мы жили въ неволи
Въ кайданахъ ужасно столѣтья минали
Долго ахъ долго на батьковской роли
Мы сѣяли слези и слези собирали.

Долго ахъ долго грудь наша хранила
Весь западъ отъ страшной татарской навали
Но наша хоробрость и Божая сила
Ворожи загоны разъ каждый вспиняли.

И знаетъ насъ Штамбуль — и Вѣна и Парижъ,
Гдѣ наша кровь льялась за вѣру и волю —
И всюды высоки могилы увидишь —
Якужь мы для себе здобыли днесъ долю!?

О дармо росила кровь нашу землицю
Мы волѣ и долѣ еще не здобыли —
Даремно возносимъ до Бога десницю
И молимъ: побѣды дай Боже и силы!

Ф. И. К.

Годъ 1877.

Гуркутятъ опять гарматы,
Кровь тече рѣчками,
Вже опять палають хаты,
Села съ хуторами,
За що, за що кровь людская
Льетса такъ? кто виненъ?
Скажѣтъ менѣ, якъ кто знае,
За що Сербинъ гине?

Сербинъ гине, Сербинъ гине
У крови калюжахъ,
Свѣтъ дивится и не спине —
Ему се байдуже!
Рѣжутъ Сербовъ и мордуютъ
Всѣхъ на ихнѣмъ полѣ
Роспинаютъ и катуютъ
За те, що въ неволѣ
У турецкои, въ кайданахъ
Жити не умѣютъ
Рѣжутъ Сербовъ Мусульманы,
Степы червонѣютъ. —
Ой реве Дунай широкій
Стогне, заливає,
Береги свои высоки
И зелени ган;
Розливается: прибула
Въ него кровь людская,
Червонѣти воды стали
Быстри Дуная.
Небо хмурно, лѣсы голи
Трупомъ степъ покрыло
И могила въ сербскомъ полѣ
Росте за могиловъ.
Съ горъ гарматы все палаютъ
По семь, по томъ боцѣ
Гинуть Сербы, пропадають,
Съ ними и Черногорцѣ.
Бейся Сербо, бейся брате
Бейся въ чистомъ полѣ!
Лучше, брате, пропадати,
Чѣмъ жить у неволѣ!

Ц. А. Вѣликовскій.

ПѢСНЬ

на престонародномъ нарѣчїи округа Маковицкаго, въ шарышскомъ комитатѣ въ Венгріи.

Арія: Lěri naša domovina.

Прелюбезны русски дѣти
Якъ голубки, якъ горлички
Наши милы драги цвѣты
Братичкове и сестрички
Нуже скоро ся собирайте
Бо ужь часъ до школы ити
„Царю небесный“ спѣвайте
Духъ прїйде насъ утѣшити.

Въ школѣ учитесь дѣти
Чести, вѣры и мудрости
Члоовекъ мусится учити
Отъ дѣтинства до старости.
Бѣда слѣпымъ людямъ жити
Не знаютъ собѣ спомочи
Мы хочеме провидѣти
Боже! будь намъ на помочи.

Будь намъ Боже на помочи
Дай истину познавати
Отварь русскимъ дѣтямъ очи
Хотятъ Бога прославляти.
Дай намъ здравля, дай намъ силу
Къ науцѣ волю, охоту
Потѣшь родиноньку милу
Нашъ русскій народъ сироту.

Нуже любезны сынатка
До школы ся понагляйте
Голубоньки соколятка
Учтесе, насъ утѣшайте.
Безъ науки бѣдни руки
Всядый мусится трапити
Безъ мудрости, безъ науки
Бѣда на томъ свѣтѣ жити.

Ноже дѣти наши любки
Силу духа развивайте
Якъ гирлички, якъ голубки
Весело намъ гуркочайте,
Про васъ цвѣтуть милы цвѣты
Съ нихъ якъ пчелки медъ сысайте
Якъ мурашки вы дѣточки
Непрестанно работайте.

Александръ Павловичъ.

Голосъ изъ Россіи.*)

(Посвящается вѣнскимъ студентамъ.)

„Wer die Macht zweier Völker mit einander vergleichen will, der muss nicht allein ihre Elemente geistiger und körperlicher Stärke, sondern ganz vornehmlich auch ihre Geneigtheit beachten, jene Elemente zu öffentlichen Zwecken zusammenwirken zu lassen“.

Rocher, System der Volkswirtschaftslehre.

I.

Судя по объявленіямъ, Редакція настоящаго сборника поставила цѣлью своего изданія взаимное литературное ознакомленіе славянскихъ племенъ. Намъ русскимъ, въ особенности нельзя не сочувствовать возникновенію изданій съ подобнаго рода цѣлями. Свѣжо еще въ памяти у всѣхъ, до какой степени врасплохъ захватила насъ послѣдняя война. Оказалось, что въ нашей литературѣ разрабатывались вопросы по славянству главнымъ образомъ археологическіе. Въ печати и обществѣ ходили крайне неопредѣленные понятія о современномъ гражданскомъ и политическомъ бытѣ славянскихъ племенъ запада. Специалисты по славяновѣдѣнію если и обращали вниманіе на этомъ предметъ, то лишь такъ сказать мимоходомъ, и можно указать лишь на крайне ограниченное число русскихъ книгъ и статей, вышедшихъ до войны, въ которыхъ-бы эта сторона вопроса разсматривалась болѣе или менѣе серьезно и съ знаніемъ дѣла. Даже во время войны мы

*) Внимая на объективность, которую х.четъ сохранить издатель, принято тоже и этогъ «Голосъ» къ печати.

черпали наши свѣдѣнія изъ нѣмецкихъ да англійскихъ авторовъ. Словомъ, въ смыслъ нашей подготовки къ обсужденію запутаннаго восточнаго вопроса, война нагрязнула на насъ какъ снѣгъ на голову. Правда, мы могли ее предполагать заранее, но это нисколько не измѣняетъ существа дѣла, это не можетъ служить опроверженіемъ того, что мы не знали ближайшимъ образомъ даже тѣхъ, за кого пришлось проливать столько крови. Наша литература откровенно признала это печальное обстоятельство.

Поэтому нѣтъ ничего страннаго, если скептически настроенный человѣкъ спроситъ себя: „да не была-ли эта война чистымъ недоразумѣніемъ? Всѣ эти крики и вопли, всѣ эти іереміады, направленные противъ турецкихъ порядковъ, — не было ли все это такою-же страницей нашей жизни, какъ и памятное для всѣхъ увлеченіе спиритизмомъ? Или, если даже мы въ самомъ дѣлѣ имѣли чистыя и благородныя намѣренія, если мы, русское общество, негодовали на турецкіе порядки, то не послужили-ли эти намѣренія, это негодованіе ширмой для людей, выступившихъ на сцену съ намѣреніями и планами, какихъ вовсе не имѣло въ виду русское общество, которое выражало сочувствіе и одобрительно выслушивало іереміады журналистики? Не былъ-ли сыгранъ фарсъ тамъ, гдѣ русское общество думало видѣть великую драму борьбы за попоранную свободу?“

Въ виду несомнѣнныхъ жестокостей, внѣшнимъ образомъ вызвавшихъ войну, въ виду неисчислимыхъ страданій, претерпѣваемыхъ жертвами турецкихъ порядковъ, такіе вопросы, какъ вышеприведенные, могутъ показаться слишкомъ хладнокровными, пожалуй даже циническими. Въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ, наблюдающій со стороны за катаклизмами, спорадически выступающими на сценѣ русской жизни, человѣкъ, котораго эти катаклизмы не захватываютъ всецѣло, не касаются его непосредственно, такой человѣкъ можетъ довольно основательно возразить на эти вопросы: „Чего-же вы хотите? Почему вы недовольны и какъ будто раскаяваетесь? Зачѣмъ вы поднимаете вопросы, которые могутъ лишь усилить горечь не вполне удавшагося дѣла? Все таки часть дѣла сдѣлана. Остальное предоставимъ будущему, быть можетъ очень близкому. Если не удалось сдѣлать всего, то вѣдь это не основаніе отрицать благо уже сдѣланнаго“.

Такъ могъ-би возразить человѣкъ, посторонній для внутренней русской жизни, человѣкъ, который выключалъ-бы эту жизнь изъ своего разсмотрѣнія, человѣкъ, который однимъ словомъ слѣдилъ-бы за событіями внѣшнимъ образомъ и основывался-бы лишь на видимыхъ со стороны фактахъ. Съ своей точки зрѣнія этотъ человѣкъ былъ-бы правъ. Но въ томъ-то и дѣло, что для насъ, русскихъ, невозможно стоять на этой точкѣ зрѣнія, если-бы мы даже и желали этого. Нельзя потому, что наши внутреннія отношенія не позволяютъ этого, потому, что мы должны-же принимать во вниманіе эти отношенія. А разъ что мы примемъ ихъ во вниманіе, — вопросъ усложняется до высокой степени и будучи правильно поставленъ, предстанетъ предъ нами совсѣмъ въ неожиданномъ видѣ. Поэтому-то именно теперь необходимо высказаться, именно теперь необходимо выслушать мнѣнія, какія могла вызвать послѣдняя война. Мнѣнія эти по необходимости будутъ очень разнообразны. Заграничному человѣку, напримѣръ, довольно трудно стать на ту точку зрѣнія, на которой по необходимости принужденъ стоять русскій мыслящій человѣкъ. Ничего не значить, если эта точка зрѣнія можетъ показаться неутѣшительной: это только будетъ доказывать, что факты, вызвавшіе именно такую точку зрѣнія, сложились также неутѣшительно. Поэтому, повторяю, изданія, предпріятыя съ тою цѣлью, съ какою предпріято настоящее изданіе, не могутъ не возбуждать особеннаго интереса и сочувствія особенно съ нашей стороны, потому что никому быть можетъ не приходится рѣшать столько тягостныхъ вопросовъ, какъ намъ.

Волею или неволею, мы, русскіе, выступили въ послѣднихъ событіяхъ главными дѣятелями. На насъ были устремлены взоры всѣхъ, — полные надеждъ или подозрительнаго и ревниваго вниманія. Въ настоящее время наступила минута спросить себя: оправдали-ли мы надежды? Или-же всѣ подозрѣнія и ненависть, то хроническое недовѣріе, которое ясно замѣтно въ отношеніяхъ къ намъ со стороны западно европейскихъ правительствъ, тѣ филиппики противъ насъ со стороны многихъ органовъ европейской прессы, — или все это имѣетъ свою долю серьезнаго основанія? Безъ сомнѣнія, если приписывать все это казнямъ нашихъ враговъ тайныхъ и явныхъ, то такихъ вопросовъ и задавать незначѣмъ. Но въ

томъ-то и дѣло, что для насъ немислимо успокоиться на такомъ рѣшеніи, какъ оно ни просто. Въ самомъ дѣлѣ: почему-же у насъ столько враговъ тайныхъ и явныхъ? Если мы въ самомъ дѣлѣ преслѣдовали цѣли чистой гуманности, если мы искренно желали свободы угнетеннымъ народамъ, если мы выступили на сцену единственно въ цѣляхъ этой свободы, то вѣроятно-ли, чтобы Европа поэтому была недовольна, подозрѣвала насъ? А такъ какъ отрицать подозрѣній невозможно, то не слѣдуетъ-ли отсюда, что мы въ нашихъ стремленіяхъ къ свободѣ народовъ дѣйствовали такъ, что намъ можно было приписать совершенно противоположныя цѣли? Въ самомъ дѣлѣ, какъ-же объяснить это недовѣріе, а подчасъ и ненависть къ намъ? Чѣмъ объяснить, что послѣ окончанія войны нами недовольны сами славяне? Кто же виновать во всемъ этомъ? Мы-ли, русское общество, мы, которые служили орудіемъ въ рукахъ тѣхъ, что заправляютъ русскою жизнью по своему произволу, или-же мы вовсе не виноваты, или-же мы можемъ указать пальцемъ на тѣхъ, кто взялъ на себя инициативу всего дѣла?

Такіе вопросы могутъ показаться запоздалыми и бесполезными. Но это не такъ. Отъ укорененія того или иного рѣшенія этихъ вопросовъ въ русскомъ общественномъ сознаніи зависитъ будущее направленіе нашей внутренней жизни. А то или иное направленіе нашей жизни тѣснѣйшимъ образомъ переплетается съ многочисленными интересами родственныхъ намъ племенъ.

Такъ какъ существуетъ предположеніе, что журналистика служитъ выразительницею общественнаго мнѣнія, то естественнѣе всего поискать отвѣта на вопросы именно въ русской журналистикѣ. Просматривая русскія газеты и журналы за все время послѣ войны, легко найти множество признаній, касающихся частныхъ фактовъ, признаній, въ которыхъ обличаются признаки глубокой неурядицы, въ которой было русское общество до войны и въ которой застала насъ война. Мы мало были готовы къ тому, что случилось впоследствии. Общество не выражало ясно и опредѣлительно своихъ намѣреній и желаній. Если-бъ у него и были опредѣлительныя намѣренія и желанія, то, говоря по правдѣ, оно и не могло ихъ выразить въ литературѣ. Значитъ, съ этой стороны у насъ царилъ недоразумѣніе, потому что какъ

иначе прикажете назвать такого рода обстоятельство, когда величайшій шагъ народной жизни рѣшается помимо народа, когда является безразличнымъ, что думаетъ, чего желаетъ народъ? Я не говорю, чтобы русскій народъ или, лучше сказать, русское общество (такъ какъ нашъ народъ мы знаемъ очень мало) не сочувствовало мѣропріятіямъ правительства, по крайней мѣрѣ, въ принципѣ. Я только утверждаю, что русское общественное мнѣніе не высказалось на этотъ счетъ опредѣленно да и не могло высказаться. Если даже считать литературу отголоскомъ общественнаго мнѣнія (а у насъ это очень дурной, невѣрный отголосокъ), то тогда бросится въ глаза фактъ, что очень многіе органы нашей прессы ясно говорили, что вести войну для насъ неразсчитливо. — Далѣе изъ литературныхъ признаній мы можемъ усмотрѣть, что тѣ же язвы, которыя парализовали наши дѣйствія въ періодъ крымской войны, остались въ очень мало измѣненномъ видѣ и до сей поры; особенно интересны въ этомъ отношеніи наши интендантскіе порядки. Можемъ мы далѣе видѣть, что при началѣ войны у насъ повидимому не было никакого опредѣленнаго плана военныхъ дѣйствій, что обошлось намъ во много тысячъ человѣческихъ жизней. Необдуманно и безъ поддержки значительной силы занимали мы турецкія земли и должны были отступить, оставляя такимъ образомъ ни въ чемъ неповинныхъ болгаръ, „братушекъ“, какъ мы выражались, на мѣсть туркамъ. Но вѣдь это еще не рѣшаетъ вопроса. Нѣсколько болѣе разъясняютъ его дальнѣйшія разоблаченія нашихъ органовъ. Оказывается, напримѣръ, что наше отношеніе къ болгарамъ вовсе не похоже было на отношеніе освободителей къ освобождаемымъ, что, напротивъ высшее административное наше начальство относилось къ „братушкамъ“ скорѣе какъ къ побѣжденному племени. Рассказываютъ, напримѣръ, что плеть была самымъ дѣйствительнымъ орудіемъ административныхъ воздѣйствій на „братушекъ“, что вообще г. г. русскіе администраторы довольно усердно спрягали глаголъ *knuten*, чѣмъ едва-ли могли расположить къ себѣ не только болгаръ, но и всѣхъ интеллигентныхъ людей вообще. Словомъ сказать, освободители мы были крайне незавидные и такъ сказать въ нѣкоторой степени сомнительнаго свойства. Всѣ эти и подобные факты намѣтила русская журналистика, очень боязливо намѣтила,

такъ какъ даже этого она не могла высказать совершенно прямо. Будемъ благородны ей и за это. Но вѣдь все таки вопросъ отъ этого еще не вполне уясняется. Слѣдовало-бы ожидать какихъ либо болѣе прямыхъ указаній, которыя-бы совершенно освѣтили дѣло и представили его въ надлежащемъ видѣ. Этого не случилось, что впрочемъ и не зависѣло отъ прессы. Но здѣсь началось разногласіе, чрезвычайно интересное для характеристики современной русской газетной и журнальной литературы.

Дѣло въ томъ, что въ современной Европѣ вы нигдѣ не встрѣтите такихъ гнусныхъ цензурныхъ порядковъ, какіе царятъ у насъ совершенно свободно. Мысль, маломальски непріятная почему-либо для правительства, не можетъ имѣть надежды на выраженіе. Самые архаическіе, можно сказать допотопные карательные и предупредительные порядки составляютъ нашу цензуру. Для людей запада можно представить лишь съ нѣкоторымъ усиленіемъ мысли, что означаетъ второе или первое предостереженіе, что означаетъ пріостановленіе газеты за „вредное (!) направленіе“. Кто разбираетъ, въ самомъ ли дѣлѣ направленіе вредное? Судь? Нѣтъ, безответственная администрація, судья въ собственномъ своемъ дѣлѣ. До чего доходитъ азіатскій произволъ администраціи, видно, напримѣръ, изъ того, что она не исполняетъ даже своихъ собственныхъ распоряженій. У всѣхъ свѣжо еще въ памяти, что, напримѣръ, „Русское Обозрѣніе“, пріостановленное на шесть мѣсяцовъ только, былъ совершенно прекращено, рѣшительно безъ всякаго законнаго къ тому повода, такъ какъ по истеченіи срока редакторъ, не успѣвъ еще выпустить ни одного номера. Въ провинціи редактора газетъ страшно враждуютъ съ цензорами, такъ что дѣло доходитъ иногда до дуэли. Такимъ то образомъ прессѣ остается или молчать, или предаваться безконечной оргіи лицемѣрія. Общественное мнѣніе не имѣетъ возможности высказаться въ важнѣйшихъ вопросахъ нашей внутренней жизни. Честные органы должны довольствоваться темными, несмѣлыми намеками и хорѣтъ въ тихой агоніи, среди невозможныхъ условій литературы. Напротивъ, органы, не имѣющіе за собою никакого определеннаго мнѣнія, рѣшаютъ вопросы вкривь и вкось, пресмыкаются или фантазируютъ, лепечуть дѣтскую несладкую или поютъ дионрамбы, рыдаютъ и выкрикиваютъ „ура“. Это ка-

кой-то бессмысленный содомъ, гдѣ нѣтъ ни складу, ни ладу. Честные же органы, повторяю, въ важнѣйшихъ вопросахъ, отъ которыхъ зависитъ наше будущее, принуждены молчать или отдѣлываться намеками.

Такимъ образомъ наша журналистика можетъ взять себѣ девизомъ извѣстную змѣю индѣйской мифологіи. Кто хочетъ составить себѣ какое либо мнѣніе о нашихъ неурядицахъ, особенно, если онъ человѣкъ посторонній, тотъ долженъ довольствоваться лишь намеками. Эти намеки могутъ его навести на мысль, что мы, при настоящихъ вопіющихъ несообразностяхъ нашей внутренней жизни, не можемъ имѣть притязаній на устроеніе другихъ: намъ самымъ нужно устроится сначала; что если даже внѣшнымъ образомъ наши попытки къ насажденію древа свободы и удадутся, то это самое древо, если мы будемъ за нимъ ухаживать при настоящихъ нашихъ порядкахъ, засохнетъ и захирѣетъ съ тоски; что если даже намѣренія членовъ русскаго общества чисты, если ихъ сочувствіе непритворно, то они, члены русскаго общества, никакъ не могутъ сказать этого относительно тѣхъ, что стоятъ надъ ними, что распоряжаются ими по произволу. Произволь исключаетъ довѣріе. Кто хочетъ, чтобъ вѣрили, тотъ долженъ вести дѣло на чистоту, открыто. Кто же распоряжается жизнями и имуществомъ не нуждаясь въ опросѣ, въ совѣтѣ, въ свободно выраженномъ мнѣніи, тотъ рискуетъ сдѣлаться предметомъ презрѣнія со стороны всѣхъ благомыслящихъ людей. На такія мысли можетъ навести печальный и унылый тонъ нашей честной прессы, желающей для русской жизни свободы и избавленія отъ гнета нестерпимой реакціи. Но такихъ мыслей пресса прямо не выражаетъ и не можетъ выразить. Она останавливается на полусловѣ. Большая заслуга съ ея стороны то, что она по крайней мѣрѣ твердо настаиваетъ на важности для насъ рѣшенія именно внутреннихъ вопросовъ. Это сдѣлалось уже общимъ мѣстомъ нашихъ честныхъ органовъ. Они указываютъ на тѣ вопросы, на которые возможно указать. Но на важнѣйшіе вопросы указать нельзя, и пресса молчитъ. Это великая заслуга, такъ какъ ничто не мѣшаетъ ей пѣть дионирамбы. Но разумѣется охотники до этого нашлись.

Эти охотники на первый взглядъ могутъ показаться людьми, довольно сурово и отрицательно относящимися къ

къ нашимъ порядкомъ. Эти охотники нерѣдко указываютъ, что то другое нехорошо, даже очень нехорошо. Неуказывать нельзя, такъ какъ фактъ рѣжетъ глаза. Но они дѣлаютъ одну капитальную ошибку, отчего фонъ русской жизни рисуется совсѣмъ въ невѣрныхъ краскахъ. Дѣло въ томъ, что эти охотники, эти „органы общественнаго мнѣнія“ всѣми своими рѣчами всячески стараются замазать ту щель, которая расколола русское общество на двѣ части и которую никакими силами замазать нельзя. Щель слишкомъ велика и замѣтна. Въ нашемъ обществѣ царитъ расколъ. Одна часть общества, и вѣроятно громаднѣйшая, чувствуетъ на себѣ лишь невзгоды настоящихъ порядковъ и разумѣется недовольна ими. Другая, наоборотъ, благоденствуетъ, такъ какъ всякая политическая реакція должна же кому-либо приносить ближайшую выгоду. Эти представители реакціи въ настоящее время сильны, но сравнительно они весьма немногочисленны. И вотъ органы втораго сорта селятся доказать, что эти прихвостни и столпы реакціи суть краеугольный камень русскаго общественнаго зданія, а что если въ этихъ столпахъ и прихвостняхъ замѣчается кое-что архаическое и даже нестерпимо безобразное, то это мелочи, вовсе не важныя, а въ концѣ концовъ эти столпы и прихвостни воплощаютъ въ себѣ лучшія идеи нашего вѣка. Газеты втораго сорта именно грѣшатъ тѣмъ, что смѣшиваютъ разнородныя понятія, а не настаиваютъ на росчлененіи ихъ или по крайней мѣрѣ не называютъ вещи собственными именами. Оттого въ литературѣ втораго рода царитъ величайшая путаница, неслыханный сумбуръ понятій. Отрывки изъ свободныхъ мнѣній сплетаются съ хлапомъ официальной нелѣпицы, и въ литературѣ господствуетъ величайшее лицемеріе. На ложку правды приходится бочки лжи. Лгутъ безпощадно, неутомимо, потому что если не лгать, то языкъ прилипнетъ къ гортани, что весьма даже неудобно. Лгутъ и не каются. Разительнѣйшіе факта обходятся какъ неудобные. Въ фактахъ сомнительныхъ отмалчиваются или отдѣливаются нечленораздѣльными звуками. А вообще лкуютъ и кричатъ „ура“. Но до какой удивительной несообразности доходятъ наши цензурные порядки, видно изъ того, что даже эти невинные, эти почти нѣмые, мурлыкающіе и мычащіе органы довольно часто подвергаются административнымъ взысканіямъ. Во истинну, можно сказать:

своя своихъ не познаша! Среди этихъ виляній, пресмыкательства, официальной лжи, дѣтскихъ фразъ и грубаго зашупенья, среди всѣхъ оргій шовинизма и нелѣпницъ яко-бы національнаго политиканства, среди этого столпотворенія, этихъ допотопныхъ окаменѣлостей, покрытыхъ лакомъ новѣйшаго издѣлія, среди всего этого разврата общественной мысли администрація умудряется отыскать нѣчто, что необходимо искоренить. Такого рода вещи почти невозможно понять. Вѣдь эта газетная ложь, газетное лицемѣріе просто усыпляетъ общественную мысль, отдаляетъ ясную и твердую постановку общественно политическихъ вопросовъ. За что-же караетъ администрація? По истинѣ, кого судьба желаетъ погубить, того сдѣлаетъ напередъ безумнымъ. Иначе трудно объяснить.

Есть у насъ и органы, третьяго сорта. Они создали себѣ промыселъ изъ восхваленія реакціонныхъ поползновеній. Это литература политическаго доноса. Подвиги этой литературы проходятъ черною лентою черезъ нашу жизнь начиная съ 63 года. Несомнѣнно, что отчасти мы должны благодарить эти органы за всѣ тѣ прелести жизни, которыми наслаждаемся теперь. Литература эта сравнительно не слишкомъ обширная, но, какъ говорится, „хорошо освѣдомленная“.

И такъ, кто сталъ-бы искать полного и безпристрастнаго выраженія руководящихъ началъ нашей жизни и нашего общественнаго мнѣнія въ литературѣ, тотъ былъ-бы принужденъ довольствоваться намеками. Кромѣ намековъ, онъ могъ-бы встрѣтить ложь и оффициальное лицемѣріе, приправленное букетомъ доноса.

II.

Прочитайте братья Славяне наши газеты и журналы за послѣднее время. Вы найдете тамъ множество разсужденій по финансовому вопросу, по крестьянскому, аграрному вопросу (который, кстати сказать, надвигается у насъ мрачною тучей). Вы найдете множество благоразумныхъ и либеральныхъ совѣтовъ, которые, если-бы были исполнены, вѣроятно улучшили-бы наше положеніе.

Но хроническій недостатокъ всѣхъ этихъ совѣтовъ тотъ, что они даются совершенно такъ сказать безнадежно,

что они не указываютъ на основное условіе, при которомъ эти совѣты могли-бы имѣть силу. Такимъ образомъ эти совѣты представляютъ самое простое переливанье изъ пустаго въ порожнее. Въ самомъ дѣлѣ: какой смыслъ будутъ имѣть совѣты, если я буду давать ихъ человѣку, который, во первыхъ, можетъ безнаказанно не слушать этихъ совѣтовъ, который, во вторыхъ, по своему хроническому упорству, косности и неспособности, даже не можетъ оцѣнить всей доброжелательности моихъ совѣтовъ, который, за всякое болѣе откровенное слово, раздражается противъ меня административными карами, бессмысленнѣе которыхъ трудно себѣ что-либо представить?

Однако-же, въ послѣднее время, благодаря многочисленнымъ такъ называемымъ „политическимъ преступленіямъ“, выдвинулся отчасти на сцену нашъ внутренней политической вопросъ, основной вопросъ, безъ рѣшенія котораго мы не можемъ шагу ступить дальше, а не то что освобождать другихъ.

Какъ отнеслась къ этимъ „преступленіямъ“ публицистика? Воспользовалась-ли она ими, чтобы поставить вопросъ прямо, откровенно?

Какъ я сказалъ выше, публицистика стоитъ въ заколдованномъ кругѣ. Для твердой постановки этого вопроса она не имѣетъ никакой возможности. Но тогда лучше отдѣлываться молчаніемъ или намеками, но не уступать ни капли, не смягчать рѣзкости вопроса ни на одну іоту.

Такъ многіе и постарались сдѣлать. Они прямо намекали, что „политическія преступленія“ лишь тогда могутъ исчезнуть или уменьшиться, когда измѣнятся нашъ политическій строй, когда правительство перестанетъ опекать насъ, перестанетъ давить насъ ежеминутно, стѣснять наши мысли, подавлять наши благороднѣйшія намѣренія, губить наши молодыя силы. Дальше намековъ дѣло не шло и не могло идти.

Но такъ ли поступала публицистика втораго сорта?

Къ сожалѣнію, нѣтъ. Правда, и она какъ-будто признавала, что „преступленія политическія“ суть продуктъ нашей гнилой, застоявшейся политической системы. Но признала-ли она этотъ фактъ искренно, безповоротно? Нѣтъ, наоборотъ, мы видимъ далѣе массу виляній, недомолвокъ, переплетенныхъ съ официальнымъ лицемѣріемъ. Эта пресса лицемѣрно

возмущалась результатами, не указывая тутъ же на причины, которыя совершенно необходимо должны были вызвать и будутъ вызывать эти результаты. Эта пресса по временамъ юродствовала и издѣвалась тамъ, гдѣ нужно было плакать или молчать. Величайшій катаклизмъ, приближающійся въ русской жизни, вырывалъ у этой прессы часто шипящiе звуки ненависти, лицемѣрные возгласы официального патриотизма. Тѣ, что не побоялись цѣною своей жизни пальцемъ указать на наши кровавыя, гнойноя раны, на наши вѣковыя болячки, — тѣ подвергались со стороны этой прессы презрѣнiю, издѣвательствамъ, всѣмъ адамъ и чистилищамъ лицемѣрной декламацин, не постыдившейся изливать передъ всенародными очами потоки грязной клеветы и подлаго доноса. Карликъ издѣвался надъ Антеемъ, Терситъ надъ Ахилломъ, Калибанъ надъ Аполлономъ! Обдѣленный судьбою идиотъ презрительно скалилъ зубы и указывалъ пальцемъ на смѣлаго и искренняго мыслителя, который не хотѣлъ дальше влачить свое существованiе въ позорѣ, склонять свою шею подъ ярмомъ реакци. О, Господи, Господи! За что-же мы дожили до такого позора, что тѣ, которые должны были поддерживать насъ, науськиваютъ на насъ административныя кары? За что же такъ беспощадно играетъ нами исторiя? За что всю свою жизнь влачимъ мы среди лицемѣрiя, пустоты, трусости, идиотизма, позора? О, русская пресса извѣстнаго подбора! Пусть припомнятся тебѣ твои лицемѣрные вопли въ тотъ день, когда ты станешь въ еще болѣе безъисходное положенiе, чѣмъ теперь!

До какого неслыханнаго лицемѣрiя доходила эта пресса, видно, напримѣръ, изъ того, что настойвая на необходимости изучать причины нашихъ „политическихъ преступленiй“, она не осмѣлилась твердо указать хоть на тотъ фактъ, что у насъ гражданинъ, особенно если онъ интеллигентный, не имѣетъ перваго права всякаго свободнаго гражданина, — права на судъ! Интеллигентнаго гражданина у насъ хватаютъ, сажаютъ въ тюрьму или ссылаютъ куда-нибудь на сѣверъ, проводятъ его по всѣмъ чистилищамъ тюремныхъ замковъ, кутузокъ, пересыльныхъ тюремъ, путешествiй съ жандармами, крѣпостныхъ казематовъ, поднадзорности полицiей, житья въ неизвѣданныхъ захолустьяхъ, вдали отъ всякихъ умственныхъ центровъ, вдали отъ всякаго общенiя съ жи-

выми людьми. Это называется административной ссылкой. Ссылоютъ безъ суда, по простому произволу. Сосланный называется преступникомъ. Съ нимъ обращаются какъ съ преступникомъ. Кто рѣшилъ, что онъ преступникъ? Администрація, т. е. судья въ своемъ собственномъ дѣлѣ.

И на этотъ-то примитивный фактъ пресса побоялась указать, отдѣливаясь безсмысленными и лицемерными фразами. Она, видите-ли, разыскивала причины „политическихъ преступлений“. Она лицемерно, подлымъ образомъ пѣла пѣсню: „законы существуютъ, слѣдовательно ихъ необходимо исполнять, каковы-бы ни были эти законы“. Да побойтесь вы Бога! Развѣ можно признавать законъ, который отнимаетъ у гражданина право быть судимымъ? Вѣдь даже разбойники, воры, убійцы, грабители судятся. А у насъ „политически подозрительный“ человѣкъ не можетъ надѣяться на судъ. Его судятъ развѣ изъ жалости, тогда, когда все равно ему не остается надежда. Если-же судъ его оправдаетъ, его все равно сошлютъ какъ обыкновеннаго вора и мошенника. Что-же это за законъ такой? Вѣдь это насиліе, терроръ! Вѣдь это вѣчное осадное положеніе? Или вы забыли, что даже юристы признаютъ право сопротивленія, когда нѣтъ гарантій свободы, когда отказывается гражданину въ элементарнѣйшихъ правахъ? Вѣдь въ учебникахъ даже приводится законъ, который такъ формулированъ англійскимъ кодексомъ: *natural right of resistance and self-preservation, when the sanctions of society and laws are found insufficient to restrain the violence of oppression*. А какой еще искать намъ *violence of oppression*. И гдѣ законы, которые гарантировали бы насъ отъ произвола и насилія! Развѣ можно отрицать справедливость великаго принципа: *Nullus liber homo aliquo modo destruat, nisi per legale iudicium parium suorum aut per legem terrae*? А что-же это за *lex terrae*, который-бы сталъ отрицать право гражданина на судъ.

Это одна изъ безчисленныхъ сторонъ нашего внутренняго вопроса, быть можетъ болѣе всего знаменательная и потому заслуживающая того, чтобы остановиться на ней подалше.

Посторонній человѣкъ можетъ довольно беззаботно возразить на это словами великаго поэта: *Was verschmerzte nicht der Mensch? Vom Höchsten, wie vom Gemeinsten lernt*

er sich entwöhnen, denn ihn besiegen die gewalt'gen Stunden. Но намъ нельзя смотрѣть такъ на эти вещи, для насъ невозможно кидать взоры на наше болото à vol d'oiseau. Къ намъ скорѣе можно обратиться съ слѣдующими словами того-же великаго поэта:

„Ihr seid gemeine Männer nur; doch denkt
Ihr nicht gemein, ihr scheint mir's Werth vor andern,
Dass ich ein traulich Wörtlein zu euch rede —
Seht! Fünfzehn Jahr' schon brennt die Kriegesfackel,
Und noch ist nirgends Stillstand. Schwed' und Deutscher!
Papist und Lutheraner! Keiner will
Dem andern weichen! Jede Hand ist wider
Die andre! Alles ist Parthei und nirgends
Kein Richter! Sagt, wo soll das enden? Wer
Den Knäul entwirren, der, sich endlos selbst
Vermehrend, wächst?“

„Er muss zerhauen werden“, рѣшаетъ поэтъ послѣдній вопросъ. Какъ-же дѣло устроится у насъ? Къ чему мы идемъ и что насъ ожидаетъ впереди? Мы не знаемъ. Мы не можемъ этого знать. Мы знаемъ лишь то; что теперь намъ чрезвычайно какъ нехорошо.

III.

Нѣмецкіе юристы различаютъ шесть родовъ государства. Существеннымъ признакомъ новѣйшаго государства признается то, что оно имѣетъ въ своей основѣ идею права. Это такъ называемое Rechtsstaat. Различаютъ, три вида Rechtsstaat-a: демократію, аристократію и монархію. Не станемъ спорить противъ такой классификаціи, которая и неважна. Спросимъ себя: что-же означаетъ такъ называемое полицейское государство, Polizeistaat? Куда отнести его? Какой уголокъ въ классификаціи отведемъ мы для него? Ужъ не признаемъ ли мы, что это лишь извѣстная система опеки, которая можетъ имѣть мѣсто во всѣхъ родахъ праваго государства?

Если мы, русскіе, станемъ воображать себѣ, что живемъ также въ правовомъ государствѣ, а не въ деспотіи (и безъ сомнѣнія, нельзя-же думать, что мы живемъ въ чистой деспотіи, это было-бы несправедливо сказать), если мы станемъ

воображать это, то придется сознаться, что наше Rechtsstaat есть въ большой мѣрѣ именно Polizeistaat. Признакомъ нашего государства-Януса является то, что нѣмецкая газета назвала tyranische Willkühr der Polizei, тиранническій произволъ полиціи (нашъ органъ, который привелъ въ своемъ обзорѣни эту фразу нѣмецкой газеты, не осмѣлился даже перевести ее на русскій языкъ). Это наша краса, наше дѣйствительнѣйшее орудіе, наша слава, это наше восьмое чудо свѣта. Мы его ниоткуда не заимствовали. Это свое, родное. Эта застарѣлая болячка особенно сильно давить насъ въ эпохи политической реакціи. Поэтому теперь она придавила насъ съ удвоенною силой, съ небывалою злобой, которая прикрывается лицемѣрною ширмой „государственной необходимости“, знаменитаго Staatsraison-а нѣмецкихъ фюрстовъ XVIII. столѣтія. Спрашивается: неужели блао государства требуетъ такихъ оргій произвола и грубаго, безсмысленнаго насилія, какія у насъ разыгрываются чуть не ежедневно? неужели дѣло государства не дискредитируется, неужели даже дѣйствительно честные дѣятели не стануть смѣшиваться съ нечестными, если вездѣ будутъ царить такія неслыханныя злоупотребленія, какія царятъ у насъ?

Въ самомъ дѣлѣ, судите сами, читатель.

Если вы человекъ состоятельный и съ свободнымъ временемъ, садитесь скорѣе на пароходъ и минуя Норвегію высадитесь въ Колѣ, городѣ, который стоитъ на берегу Ледовитаго Океана. Дальше вамъ нужно путешествовать на оленяхъ. Я совѣтую вамъ сначала держаться близко берега. Посѣщайте по пути города, проѣзжайте черезъ Архангельскъ, Мезень, Холмогоры, пока, черезъ неизмѣримыя тундры, не доберетесь до Пустозерска (сомнѣваюсь, чтобы вы могли совершить такой подвигъ). Поѣзжайте отсюда немного на югъ и снова затѣмъ поворачивайте на западъ, совершая параллельную прежней дугу. Посѣщайте по пути города и деревни, въ которыхъ помѣщается станова я квартира, центръ волости. Опишите такихъ дугъ нѣсколько. Изслѣдовавши Архангельскую губернію, проѣзжайте по Олонецкой, Вологодской, Вятской, Пермской, Костромской. Я вамъ скажу, что это чрезвычайно длинный путь, потому что пространства эти громадныя. Не забудьте-же посѣщать города и волости.

Подъѣзжая къ городу или волости, спросите прежде всего: нѣтъ ли тутъ „политическихъ ссыльныхъ“. Вездѣ или почти вездѣ вамъ отвѣтятъ: какъ не бывать? Что-вы? Помилуйте! Вамъ скажутъ, что есть и даже очень много. Въ ннхъ городахъ вамъ насчитаютъ хоть десятокъ. Въ волостяхъ вы встрѣтите по одному.

Что-же это за удивительные и таинственные „политическіе“ ссыльные? И почему они должны насъ интересовать? Это нетрудно объяснить.

Вы, читатель, безъ сомнѣнія слышали о нашихъ политическихъ процессахъ-монстрахъ. Это такого рода процессы: въ средѣ нашей молодежи, по преимуществу студентовъ различныхъ заведеній, часто образуются кружки. Цѣли этихъ кружковъ бываютъ очень разнообразны. Иногда это просто производительныя и потребительныя ассоціаціи, куда примыкаетъ и неучащаяся молодежь. Иногда это кружки самообразованія. Иногда въ этихъ кружкахъ идетъ дѣятельная выработка общественныхъ и политическихъ идеаловъ. Случается, наконецъ, что кружки задаются какими либо практическими цѣлями. Большею частью это бываетъ пропаганда въ народѣ и среди интеллигенціи извѣстныхъ соціальныхъ и политическихъ идей. Такого рода кружки сравнительно весьма рѣдки, по весьма понятнымъ причинамъ. Обыкновенно эти послѣдніе кружки сначала разрабатываютъ среди своихъ членовъ извѣстныя идеи, обуславливаются относительно многочисленныхъ и запутанныхъ вопросовъ науки и жизни. Безъ сомнѣнія, разработка этихъ вопросовъ идетъ живая, искренная, но остается только разработкой. Обыкновенно въ періодъ этой разработки такіе кружки распадаются или отъ разногласій, или отъ недостаточной зрѣлости членовъ для осиленія великихъ общественныхъ вопросовъ. Это явленіе совершенно понятно, если припомнить то ничтожное количество свѣдѣній и еще менѣе ничтожный навыкъ къ методическому, систематическому и упорному мышленію, тотъ не твердый навыкъ къ осиленію простѣйшихъ проблемъ, который получаетъ воспитанникъ нашихъ учебныхъ заведеній, съ ихъ гнилою, пропитанною ядомъ лицемѣрія педагогической системой. Итакъ, какъ я сказалъ, кружки эти распадаются въ періодъ разработки вопросовъ. Члены распавшагося кружка или погружаютая въ самонаблюденіе, начинаютъ самообразовы-

ваться, или поступаютъ въ какой-либо иной кружокъ, задающійся менѣ широкими цѣлями, или, наконецъ, остаются навсегда особняками, зондерлингами. Я сказалъ, что кружки послѣдняго рода распадаются въ большинствѣ случаевъ. Но бываютъ исключенія. Случается хорошей подборъ членовъ, болѣе или менѣ солидарныхъ и развитыхъ. Это одинъ случай на сотни, быть можетъ тысячи. Въ этомъ рѣдкомъ случаѣ кружокъ начинаетъ преслѣдовать извѣстныя, твердоопредѣленные цѣли. Большею частью члены кружка расходятся по фабрикамъ и деревнямъ, гдѣ знакомятся съ народомъ, объясняютъ своимъ знакомымъ простѣйшія задачи политической экономіи, задачи, которыя западный рабочій можетъ превосходно узнать изъ книгъ.

Обыкновенно на этомъ дѣло останавливается. Неопытные и увлекающіеся юноши большею частью ведутъ дѣло слишкомъ горячо, слишкомъ неосторожно. По доносу, большею частью вслѣдствіе собственной неосторожности, этихъ юношей хватаетъ полиція. Такой простѣйшій повидимому случай поднимаетъ на дыбы все мѣстное начальство. Приспособленная спеціально къ этому дѣлу полицейская администрація начинаетъ допросы, поиски, вызываетъ доносы, отыскиваетъ переписку, производитъ множество обысковъ, днемъ и ночью. Никто несвободенъ отъ обысковъ. Всѣхъ, кто хотя въ малѣйшей степени прикосновененъ къ дѣлу, всѣхъ, съ кѣмъ изловленный субъектъ имѣлъ хотя какія-либо болѣе близкія отношенія, хотя-бы въ этихъ отношеніяхъ не было ни капли чего-либо подозрительнаго, — всѣхъ этихъ людей хватаютъ и безъ всякихъ формальностей, безъ всякихъ строгозаконныхъ причинъ, словомъ, *sine ambagis*, — сажаютъ въ тюрьму. Такого рода беззастѣнчивость объясняется конечно лишь какой-то необъяснимой паникой, которую наводитъ человекъ, подозрительный въ политическомъ смыслѣ.

Какъ-бы то ни было, ихъ сажаютъ въ тюрьму. Слѣдствіе тянется годъ, два и три, часто больше. Матеріалы все накаплиются да накаплиются. Всѣ маловажныя письма, всѣ незначительные поводы влекутъ за собою арестъ нѣсколькихъ человекъ. Это дѣла совсѣмъ выходящія изъ ряду. Тутъ не соблюдается человѣчскій смыслъ, тутъ презирается совѣсть, тутъ попирается законъ, права, всѣ элементарнѣйшія требованія справедливости. Если вы „политическій преступ-

никъ“ и у васъ есть жена, — она непременно будетъ посажена въ тюрьму. За что? Не за то-ли, что она виновна въ вашихъ яко-бы „преступленіяхъ“? Но вѣдь часто она и знать ничего не знала и во всякомъ случаѣ не дѣлала ничего подозрительнаго. Но это ничего не значитъ въ глазахъ всполошившагося начальства. Она ваша жена, и этого достаточно. И вотъ она, невинная, какъ голубь, чистая, какъ ангелъ, хватается грубыми руками жандармовъ и садится въ тюрьму, въ одиночное заключеніе, замѣтьте. Она не можетъ видѣть ни своего мужа, ни братьевъ, ни сестеръ, ни отца, ни мать. Она погребена заживо. И вотъ она сидитъ въ казематѣ годъ, два и больше, пока-дѣло не будетъ представлено на судъ. Послѣ того она, ни въ чемъ невинная, должна или раздѣлить судьбу мужа, т. е. большею частью отправиться въ Сибирь на вѣчныя времена, или-же испытать всѣ муки административной ссылки, если судъ найдетъ вашу жену рѣшительно ни въ чемъ неповинной,

Та-же судьба, что испытала вашу жену, испытываетъ большею частью вашихъ братьевъ, сестеръ и болѣе близкихъ вашихъ знакомыхъ. Тутъ-то и начинается настоящее раздолье-для прокуроровъ и жандармовъ. Здѣсь то они ухищряютъ всѣ возможныя и невозможныя средства, чтобъ привлечь къ дѣлу возможно большее число лицъ. Здѣсь-то они напрягаютъ всѣ силы своего подлага, лакейскаго ума, чтобъ опутать сѣтью формальной улики всѣхъ, — виновныхъ и невинныхъ, причастныхъ къ дѣлу и вовсе не причастныхъ. Здѣсь-то захватываются цѣликомъ тѣ невинные кружки первыхъ двухъ сортовъ, о которыхъ упоминалось выше. Кого хватаютъ и сажаютъ въ казематы? Кого губятъ физически и морально? Молодежь. Эта оргія произвола въ сущности не иное что, какъ систематическое истребленіе молодежи. Это дневной, очевидный для всѣхъ разбой и убійство. Это легальная рѣзня, гдѣ жертвой, невинной жертвой является цвѣтъ нашего юношества, наша отрада и надежда, наше воплощенное будущее, наши сыновья и дочери, наши братья и сестры. Это погибаетъ все лучшее, на чемъ съ отрадою отдыхаетъ взоръ. Мы смотримъ на это въ совершенномъ столбнякѣ. Наши нервы притупились, потому что это зрѣлище видимъ ежегодно, чуть не ежедневно. Каждый часъ мы видимъ возлѣ себя тѣхъ, кто производитъ эту бойню молодежи, мы пожи-

маемъ имъ руки, мы улыбаемся имъ въ лицо. Мы привыкли, Великое слово-привычка!

Пусть отсохнетъ моя рука, если я написалъ хотя одно слово неправды.

И вотъ цвѣтъ нашего юношества, наша подрастающая интеллигенція сидитъ въ казематахъ, въ одиночныхъ заключеніяхъ, исхудалая, блѣдная, голодная. Сколько тутъ губится молодѣхъ силъ, сколько тутъ скоплется ненависти, сколько умираетъ людей, виновныхъ въ чемъ либо ничуть не болѣ насъ съ вами, читатель, — про то и сказать невозможно. Это можно лишь вообразить, когда во время суда, года черезъ два, черезъ три послѣ вчатія дѣла, мы узнаемъ, что десятки подсудимыхъ уже не существуютъ въ семъ лучшемъ изъ міровъ. Поставьте себя на мѣсто матери, поставьте себя на мѣсто отца этихъ отошедшихъ отсюда юношей, — и вы поймете наше положеніе.

А слѣдствіе все продолжается да продолжается. Сътъ формальной улики охватываетъ все большее число людей. Тюрьмы переполняются. Нѣтъ мѣры произволу.

Что это означаетъ? Это значить, что готовится обвинительный актъ. Что это за обвинительный актъ? Это chef-d'oeuvre въ своемъ родѣ, это наше девятое чудо свѣта. Впрочемъ, вы можете прочитать эти акты. Они печатаются. Если вы не расхохочетесь въ припадкѣ истерики при чтеніи ихъ, то значить вы удивительный человѣкъ.

Вѣдь это такого рода дѣло. На предварительномъ слѣдствіи хватали людей безъ разбора. Теперь въ этихъ людяхъ нужно разобраться, нужно раздѣлить ихъ на категоріи. Были принесены кипы документовъ, нужныхъ и не нужныхъ, важныхъ и неважныхъ. Все это нужно прочитать и перечитать. Все это нужно свести въ систему, нужно придать этому логическую стройность. Это египетскій трудъ, невозможный для цѣльнаго и честнаго человѣка. Предпринимать такой трудъ значить брать на себя отвѣтственность за безбожныя убійства. Вѣдь людей хватали во всѣхъ концахъ обширной русской земли. Хватали какъ попало, на томъ основаніи, что „тамъ разберутъ“. Теперь они, этотъ навазъ, это мясо, эти жертвы усердія, этотъ цвѣтъ нашего юношества, — теперь они сидятъ въ казематахъ. Не вѣчно-же имъ сидѣть. Нужно съ ними что-либо дѣлать, не то даже совѣстно какъ-то.

Прокуроръ составляетъ обвинительный актъ. Онъ бѣднага, думаетъ совершить египетскую работу. О, если-бы прослѣдить по косточкамъ весь процессъ прокурорской мысли въ это время, — да вѣдь это было-бы величайшее въ мірѣ литературное произведеніе!

Этому египетскому труженику нужно соединить несоединимое, слить во едино химическіе разнородные элементы. Ему нужно уловить небывалую связь между Одессой и Петербургомъ, между Енисейскомъ и Брестъ-Литовскомъ, между Колой и Петропавловскомъ. Онъ долженъ мысленно связать Берлинъ съ Вѣной, онъ долженъ мысленно прокатиться въ Парижъ, онъ долженъ искать „корней и нитей“ тамъ, гдѣ не можетъ отыскать ихъ никакое воображеніе, будь это воображеніе Шекспира. Ему, словомъ, нужно отыскать гигантскій заговоръ, громадную сѣть конспираціи, ему нужно отыскать вѣтви этого заговора по всей Россіи. Онъ долженъ объявить, что отечество было въ нѣкоторомъ смыслѣ въ опасности, и что онъ, египетскій труженикъ, несчастное орудіе чужой воли, что онъ, этотъ пигмей — гигантъ, эта мумія, этотъ дьяволъ въ человѣческомъ образѣ, это воплощеніе извращенной человѣческой совѣсти, — ему нужно объявить, что онъ въ нѣкоторомъ смыслѣ спасъ наше великое отечество.

И вотъ онъ составляетъ обвинительный актъ. Смотрите на него, любуйтесь на этотъ любопытный монстръ, созерцайте это чудо натуральной исторіи!

Однако-же, есть невозможное и для великаго, *est modus in rebus*. Изъ сидящихъ въ тюрьмахъ есть такіе, которыхъ никакія силы человѣческой фантазіи, никакія насилія надъ здоровымъ смысломъ и совѣстью не могутъ поставить въ связь съ возникшимъ процессомъ.

Что-же? Выпускають-ли этихъ людей на свободу? Даютъ-ли имъ подышать на свѣжемъ воздухѣ и полюбоваться высокнмъ сводомъ лазурнаго неба? Говорять-ли имъ: „Мы васъ продержали такъ долго въ тюрьмѣ совершенно по ошибкѣ. Извините насъ. Вы свободны.“ Говорять-ли имъ это?

О, нѣтъ, съ ними поступаютъ гораздо проще. Ихъ выводятъ изъ тюрьмы, сажаютъ въ кибитку и везутъ, далеко везутъ, за тысячи верстъ. Куда это везутъ этихъ несчастныхъ, измученныхъ, обезсиленныхъ, разбитыхъ, идиотизированныхъ въ одиночномъ заключеніи юношей? Ужъ не домой-ли?

Вы ошибаетесь. Ихъ везуть въ административную ссылку. Ихъ, которыхъ не судили, потому что нельзя было судить, везуть въ ссылку, наряду съ ворами и извѣстными мошенниками. Кого они убили, кого ограбили, какую основу потрясли? Что они украли?

Никого и ничего. Но они „участвовали“ въ политическомъ процессѣ. Слѣдовательно, они-люди „неблагодѣтельные“. Слѣдовательно, они люди „подозрительные“. Слѣдовательно, они „преступники политическіе“. Слѣдовательно, они стоятъ внѣ закона. Слѣдовательно, они не имѣютъ права быть судимыми. Слѣдовательно, ихъ, шельмъ и безбожниковъ, нужно послать въ административную ссылку. Они хуже воровъ и разбойниковъ.

Поняли вы теперь, читатель, что означаетъ слово „административная ссылка“? Уразумѣли вы весь смакъ этого изумительнаго для нашего времени обычая? Этотъ обычай выгодно отличаетъ насъ передъ вами, братья славяне, передъ всей Европой. Мы можемъ хвалиться этимъ обычаемъ. Это, видите-ли, свое, родное.

Когда вы будете путешествовать такъ, какъ я вамъ посовѣтовалъ, то въ ряду другихъ административныхъ ссыльныхъ вы найдете множество такихъ, о которыхъ я упомянулъ только что. Спросите ихъ: васъ за что сослали? Они вамъ отвѣтятъ: а развѣ-же мы знаемъ? Вы спросите: да какъ-же такъ? Вѣдь это позоръ и поношеніе! На это они отвѣтятъ: ахъ г. иностранецъ, не удивляйтесь пожалуйста. Nil admirari у насъ. Все это у насъ очень просто. Вотъ, напримеръ, представьте себѣ, что вы обѣдаете и мечтаете о небесныхъ мидалахъ. Вдругъ является жандармъ, ведетъ васъ въ тюрьму, запираетъ за вами дверь, съ маленькимъ-маленькимъ отверстіемъ вверху, изъ котораго за вами наблюдаютъ. Вотъ вы, г. иностранецъ, сидите въ нашемъ одиночномъ заключеніи годъ, два, три. Если вы живы еще, то можете дожидаться, что васъ посадятъ на кибитку и отвезутъ въ Колу, Мезень или Пустозерскъ. Вотъ вы и готовы, г. иностранецъ. Вы превратились въ политическаго преступника. Вы стоите внѣ закона. Словомъ, вы административный ссыльный.

Вы, читатель, не удовлетворитесь такимъ отвѣтомъ. Вы спросите: да послушайте! Долго вы сидите здѣсь? Быть можетъ о васъ забыли. Что-же это такое, Господи! Тогда

вашъ собесѣдникъ отвѣтитъ вамъ: о г. иностранецъ! Вы слишкомъ наивны. Нѣтъ, обо мнѣ не забыли. Но мнѣ еще рановременно возвратиться. Понимаете, раповременно. Я сидѣлъ годъ, два, вотъ я досиживаю третій годъ. Я болѣнъ и безсиленъ. Я пропащій, погибшій, несчастный человѣкъ. Мнѣ остается немного времени до смерти. Я просилъ, чтобъ отпустили мою душу на покаяніе. Но мнѣ отвѣчали: рановременно. Да, именно, voilà le mot! Рановременно! — Однако-же, возвратимся къ прерванному разказу.

Обвинительный актъ конченъ. Приглашаютъ адвокатовъ, назначаютъ судъ. Вы можете быть воображаете, что это судъ присяжныхъ? Вы ошибаетесь. Это „особое присутствіе правительствующаго сената“, а это громадная разница.

Встаетъ прокуроръ и читаетъ свое знаменитое издѣліе: „О противуправительственной пропагандѣ въ Имперіи.“

Оказывается, что русская земля была въ опасности. И отъ кого-же? Отъ этихъ блѣдныхъ, обезсиленныхъ людей, которые съ такимъ унылымъ видомъ сидятъ на скамьяхъ подсудимыхъ. Да и какъ имъ не быть унылыми! Вѣдь они присутствуютъ при финалѣ позорнаго фарса, при послѣднемъ актѣ пасквильной комедіи. Ихъ обвиняютъ и защищаютъ. Судъ выслушиваетъ съ глубокомысленнымъ видомъ. Да вѣдь это позорное, нахальное лицемѣріе. Вѣдь судьба этихъ блѣдныхъ, обезсиленныхъ людей рѣшена напередъ!

Адвокаты говорятъ много и краснорѣчиво, хотя не слишкомъ смѣло. Но все-же говорятъ. Они объясняютъ, до какой степени незаконно велось все дѣло, до какой степени бессмысленны улки прокуратуры. Они указываютъ на то, что вѣдь обвиненные вынесли длинную агонію одиночнаго тюремнаго заключенія, что треть обвиняемыхъ умерла въ заключеніи. Они прямо смѣются надъ прокуроромъ, когда тотъ начинаетъ идиотически объяснять, что обвиняемые должны понести не только кару закона, но еще должны будутъ отвѣчать на страшномъ судѣ (!). Они указываютъ на ни съ чѣмъ несообразныя обвиненія въ „хулѣ противъ славимаго во единой тройцѣ Бога“.

Но къ чему весь этотъ громъ адвокатскихъ рѣчей? Это вовсе лишній аксессуаръ. Все дѣло заключается въ прокурорскомъ краснорѣчьи, которое даже одна русская газета назвала „сомнительнымъ“.

Фарсъ сыгранъ. Занавѣсъ опущенъ. Актеры сорвали парики и вымыли лица. Остальное дѣло администраціи.

Администрація выжидаетъ окончанія суда, какъ звѣрь въ циркѣ нѣкогда выжидалъ свою жертву.

Вотъ онѣ, жертвы. Это она, измученная, обезсиленная молодежь.

Горе тѣмъ, кого не осудили! Горе и тѣмъ, кого осудили. Но второе горе иногда бываетъ меньше перваго.

Какъ такъ? Очень просто. У насъ все просто.

Дѣло въ томъ, что иногда обвиненныхъ приговаривали лишь къ нѣсколькимъ мѣсяцамъ ареста. Бывали случаи, что этимъ арестомъ дѣло оканчивалось. Человѣкъ выходилъ на свободу, то есть, на относительную свободу, именно подъ надзоръ полиціи, очень назойливый надзоръ.

Но горе тѣмъ, кого не осудили. Ихъ тутъ-же, у зданія суда хватали, садили въ кибитку и везли. Куда?

Въ административную ссылку.

Да за что-же? Помилите! Вѣдь это разбой!

Какъ за что? Да вѣдь они „участвовали“ въ политическомъ процессѣ. Слѣдовательно, они „политическіе преступники“.

Пусть еще будутъ благодарны, что ихъ судили. А если ихъ оправдали, то что за важность! Нѣтъ, нѣтъ, необходимо отправить ихъ, шельмецовъ и безбожниковъ, въ административную ссылку.

И ихъ отправляютъ. Да какъ! Массами, большою гурьбой, безъ разбора. Ихъ отправляютъ умирать медленною смертію въ захолусты административной ссылки.

Зачѣмъ тутъ лишнія слова? Вѣдь это фактъ! Это фактъ, извѣстный каждому русскому мальчику, но особенно русскимъ матерямъ. О, русскія матери! Кто изчерпаетъ море слезъ, которыя вылились изъ вашихъ глазъ? Кто изслѣдуетъ глубину вашей скорби?

Не станемъ говорить объ этомъ. Это можно лишь вообразить себѣ въ тѣ минуты, когда душа раскрывается для сочувствія, когда сердце дѣлается способнымъ биться для чужаго горя.

Итакъ, читатель, вы путешествуете по русскимъ селамъ и городамъ. Не забудьте вы вести списокъ политическимъ ссыльнымъ, такъ какъ русское общество не знаетъ,

сколько у него политических ссыльных. Оно как будто и не заботится об этом. Верно лишь то, что мы не имеем официальных отчетов о числе административных политических ссыльных. Это наша тайна. Мы сами боимся, стыдимся нашей тайны. Она должно быть ржетъ намъ глаза, потому что не можетъ не рзать нашихъ глазъ такая возмутительная по нашему времени несправедливость. Однако-же мы поживаемъ себѣ довольно спокойно. А число административныхъ ссыльных все увеличивается да увеличивается. Какъ это дѣлается, о томъ будетъ рчь ниже.

„Sagt, wo soll das enden? Wer
Den Knäul entwirren, der, sich endlos selbst
Vermehrend, wächst?“

* * *

Что-же однако это за административные ссыльные? Каковы условія ихъ жизни?

Обыкновенно для административныхъ ссыльных губерній, куда ихъ имѣють сослать, назначается еще на мѣстѣ, откуда они высылаются. Послѣ долгихъ странствованій по безконечнымъ пустынямъ, послѣ основательнаго ознакомленія съ тюрьмами, кутузками, пересыльными замками, мнимый „политическій преступникъ“, въ непремѣнномъ сопровожденіи двухъ жандармовъ или солдатъ, въ случаѣ, если жандармовъ оказывается недостаточно (въ нашей жандармской странѣ случается и такой казусъ, потому что слишкомъ много ссыльных), — мнимой преступникъ пріѣзжаетъ въ губернскій городъ. Продержавши его, преступника, въ различныхъ канцеляріяхъ, отводятъ его въ тюрьму, „на казенную квартиру“. Здѣсь онъ ожидаетъ, пока не будетъ определено, въ какой именно уже уѣздный городъ выслать его. Такимъ образомъ изъ тюрьмы мнимый преступникъ переходитъ въ руки уѣзднаго исправника, высшей полицейской власти въ уѣздѣ. Въ полиціи мнимый преступникъ обязанъ дать письменное обѣщаніе, что не станетъ отлучаться за черту города, что будетъ представлять всю свою корреспонденцію на прочтеніе исправнику, что не будетъ заниматься преподаваніемъ уроковъ. Послѣ этого мнимаго преступника выпускаютъ изъ полиціи на улицу: иди моля и не грѣши.

Вотъ вы на улицѣ. Предположите, что теперь зима. Васъ схватили неожиданно и отвезли въ той одежѣ, въ какой вы были въ моментъ ареста. Если вы передъ тѣмъ сидѣли въ тюрьмѣ, то навѣрно вы человекъ больной, измученный. Кромѣ того, вы человекъ бѣдный. Когда вы были въ университетѣ, средства къ жизни доставляли вамъ занятія уроками. Вы не обучались никакимъ ремесламъ. Словомъ, вы обыкновенный интеллигентный человекъ, какихъ въ Россіи тысячи.

И вотъ васъ оторвали отъ вашей среды, вывезли какъ зачумленный товаръ изъ вашей родины, измучили, оскорбили и наконецъ-наконецъ выгнали на улицу какъ паршивую собаку. Если вы больны, ступайте въ больницу, къ счастью, тамъ васъ примутъ. Если вы слабы и безсильны, можете лечь у полиціи отдохнуть. Вѣроятно, вамъ никто не помѣшаетъ. Если вы голодны, поищите въ карманѣ денегъ. Если у васъ денегъ нѣтъ, никто вамъ не препятствуетъ умирать съ голоду. Предположите, что у васъ нѣтъ ни отца, ни матери, что вы сирота. Что вамъ дѣлать? Куда дѣваться? Гдѣ приклонить голову?

Чешская пѣсня гласитъ, что «слованъ све братри вшуде ма». Хорошо, если въ захолусты, куда васъ выслали, есть вашъ «братъ», то есть, такой-же ссыльный какъ и вы. Ступайте къ нему. Онъ навѣрное поможетъ вамъ, если только это въ его силахъ.

Кто вы такой? Вы называетесь административнымъ, «политическимъ» ссыльнымъ. Вы человекъ опасный. За вами зорко слѣдитъ полиція день и ночь. Вы подъ надзоромъ. Съ вами рѣдко кто захочетъ имѣть сношенія, такъ какъ это весьма и весьма небезопасно. Вы что-то запрещенное, вы зачумленный человекъ. Вотъ кто вы такой.

Будемъ однако справедливы. Если вы подадите формальное прошеніе, вамъ, послѣ долгихъ проволочекъ, станутъ выдавать «кормовыя» деньги. Если вы человекъ изъ непривилегированнаго сословія, вамъ будутъ выдавать 1½ рубля, а если вы «привилегированный», вамъ будутъ выдавать 6 р. въ мѣсяцъ. Вамъ не позволяютъ заниматься трудомъ, къ которому вы привыкли. Но за то вамъ даютъ «кормовыя» деньги. Да и нельзя не давать. Иначе вы могли бы умереть съ голоду.

И вот вы живете въ административной ссылке, за тысячи верстъ отъ вашей родины. Хорошо, если вашъ исправникъ не слишкомъ крутаго и строгаго нрава. Но вообразите, что онъ именно крутаго нрава. Это бываетъ.

Поймите, что вы во власти вашего исправника.. Онъ можетъ сдѣлать съ вами что пожелаетъ. Если-бы ему понравилось заморить васъ въ кутузкѣ, онъ можетъ сдѣлать это какъ нельзя легче. Вы вздумаете жаловаться? Но вѣдь ваши жалобы не пойдутъ изъ города. Ихъ перехватятъ на почтѣ. Всѣ ваши письма перехватываютъ на почтѣ. Что изъ нихъ можетъ не понравится исправнику, то обыкновенно уничтожается.

Вотъ что называется административной ссылкой.

Все-ли это? Нѣтъ. Въ рукахъ исправника есть еще одно чудное средство: это высылка мнимаго преступника въ волость, т. е. въ деревню, въ мертвое и пустынное захолустье.

Какъ это дѣлается? Очень просто. Исправникъ сноситъ письменно съ губернаторомъ, и васъ, безъ суда, безъ разбирательства, словомъ, безъ объясненія причинъ везутъ въ захолустье. Это называется умерщвлять *par simple ordre d'administration*. Это наше девятое чудо свѣта.

Нужно знать, что такое наша деревня на сѣверѣ. Это не нѣмецкая и не австрійская деревня, гдѣ вы легко найдете газету, прочтете новую книгу, можете поговорить и погоревать съ понимающимъ васъ человѣкомъ. Нѣтъ, это совсѣмъ другаго сорта вещь. Тутъ идетъ вѣчная, неутомимая, безпощадная борьба за существованіе, борьба съ холодомъ, болѣзнями. Тутъ административный произволъ разыгрывается съ небывалымъ безстыдствомъ. Это наша несчастная, забытая деревня, гдѣ половина жителей завидовала-бы судьбѣ итальянскихъ *lazzaroni*, судьбѣ французскихъ нищихъ. Это нѣчто, угнетенное бременемъ налога, изнывающее въ путяхъ недоимки, гибнущее въ позорѣ невѣжества.

И вотъ васъ высылаютъ сюда. Хорошо, если вы человѣкъ твердо установившійся, вполне развитой умственно, всесторонне разработывавшій нѣкогда, на школьной скамьѣ, многочисленные вопросы, которые заѣдаютъ нашу жизнь своею нерозрѣшенностью. Если это такъ, вы быть можетъ найдете въ вашемъ захолустьи много предметовъ достойныхъ наблюденія и изученія. Но держите ваши наблюденія и изу-

ченія втайнѣ. Это пока мертвый и бесполезный балластъ, котораго вы не можете сообщить другимъ. Быть можетъ онъ вамъ пригодится впоследствии.

Но вѣдь въ большинствѣ случаевъ это вовсе не такъ. Въ большинствѣ случаевъ административные ссыльные народъ молодой, неустановившійся, слабый, неопытный и главное разбитый нравственно и физически. Эти молодые люди съ самыми лучшими надеждами уже успѣли перегорѣть на огнѣ разбитыхъ ожиданій, уже успѣли испытать всѣ униженія и оскорбленія ликующаго произвола, они вынесли на своихъ исхудалыхъ шеяхъ весь гнетъ торжествующей реакціи. Можете-ли вы ожидать, что эти молодые люди, по большей части схваченные со школьныхъ скамей, — можете-ли вы ожидать, что эти молодые люди будутъ неустанно идти впередъ въ своемъ умственномъ и нравственномъ развитіи, будутъ крѣпнуть характеромъ, возвышаться духомъ, учиться уважать идеалы и презирать неправду? Если вы на это надеетесь, то вы должны предполагать, что русская молодежь какое-то чудо. Но она вовсе не чудо. Она по просту добрая, благородная, благонамѣренная въ лучшемъ смыслѣ молодежь, какъ всякая молодежь, — французская, австрійская или итальянская.

Что-же это такое? Какъ назвать это?

Вѣрнѣе всего будетъ назвать это систематическимъ истребленіемъ молодежи, систематическимъ отупленіемъ, идиотизированіемъ нашей подростоющей интеллигенціи. Это рѣзня, это человѣческая бойня. Спросите каждаго русскаго, заключается-ли въ этихъ словахъ хотя капля преувеличенія, хотя крупнца лжи. Если этотъ русскій человѣкъ честный и искренній, онъ вамъ скажетъ, что это сущая, неподкрашенная дѣйствительность.

Зачѣмъ васъ, измученнаго и разбитаго морально чловека, держать въ ссылкѣ? Какія цѣли у этого безстыднаго, безсовѣстнаго и безотвѣтнаго произвола?

Догадывайтесь сами.

Сколько здѣсь гибнетъ людей, сколько здѣсь впадаетъ въ тихое умопомѣшательство, про то и сказать невозможно.

Если ссыльный потерялъ одно легкое, если его захватилъ злой недугъ, можетъ случиться, что его переведутъ на югъ или даже отпустить домой.

Кого отпускаютъ домой? Мумію, мертвеца. Большею частью это уже человѣкъ, потерянный для нашего общества, человѣкъ, заживо отошедшій въ лучшій міръ. Онъ живетъ, движется. Но не прикасайтесь къ нему. Вамъ будетъ отъ этого больно.

Измучивши, выжавши всѣ соки, умертвивши, оставляютъ-ли этого человѣка въ покоѣ? Нѣтъ, онъ числится между подозрительными, онъ находится подъ неусыпнымъ надзоромъ полиціи.

Почему? Зачѣмъ? Да вѣдь онъ „участвовалъ“, да вѣдь онъ „былъ сосланъ“, да вѣдь это шельма и безбожникъ, государственный преступникъ, измѣнникъ отечеству и т. д.

Вотъ это называется административной ссылкой.

Долго-ли она продолжается?

Судите сами. Если вы, ни въ чемъ неповинный человѣкъ, пробудете въ ссылкѣ годъ и попросите, чтобы смилосердился и освободили васъ, вамъ отвѣтятъ изъ Петербурга: рано временно. Пробудьте еще годъ, — и васъ быть можетъ куда-нибудь переведутъ, но быть можетъ также отвѣтятъ: рано временно. Та-же исторія можетъ повториться и дальше, въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ. Чѣмъ руководствуются, когда рѣшаютъ вашу судьбу? Это неизвѣстно. Это тайна. Напрасно вы будете просить. Они безжалостны. Зачѣмъ имъ ваше несчастье? Вѣдь вы уничтожены, вѣдь вы уже человѣкъ ни для кого неопасный. Вы однимъ словомъ живыя мощи, двигающійся мертвецъ. Зачѣмъ имъ ваши кости, ваши несчастные останки, вашъ скелетъ? Зачѣмъ имъ вы? Незачѣмъ. Вѣдь дѣло сдѣлано. Вѣдь человѣкъ уничтоженъ.

Все равно, читатель. Рановременно. Поймите вы это слово: ра-но-вре-мен-но.

IV.

Не такъ давно, именно въ эпоху сербской войны, воспитанники нашихъ гимназій съ увлеченіемъ распѣвали слова пѣсни:

„Тамъ жены и дѣты въ позорѣ, слезахъ,
Несчастья оковы на сербскихъ сынахъ!“

То было хорошее время. Насъ охватила минута чистаго увлеченія, теплой симпатіи. Добровольцы шли при громкихъ крикахъ одобренія. Такія минуты рѣдко случается испытывать обществу, и мы потомъ очень и очень охладѣли. Охладѣли потому, что нельзя-же постоянно думать о чужихъ страданіяхъ и забывать свои. Пусть на сербскихъ сынахъ лежали и несчастья оковы, и рабства позоръ. Да у насъ то, у насъ что за лимоны и апельсины разцвѣтають въ зеленѣющихъ рощахъ! Какъ мы обозначимъ наше собственное положеніе? Не пора-ли наконецъ приступить къ леченію своихъ ранъ, къ ампутаціи своихъ ноющихъ болячекъ?

Чешская пѣсня гласитъ: „Праго, Праго! Праго мати! Закрывемъ те, сынове!“

Великія слова, святые слова! Но развѣ-же у насъ нѣтъ своей Праги, которую должно отстаивать сыновьямъ? Сыновьямъ!

Да вѣдь сыновья наши — это наша мартирологія.

Да, именно мартирологія. Это слово самое подходящее.

Когда вы, читатель, будете путешествовать указаннымъ выше способомъ, когда вы будете посѣщать деревни и города, то знайте, что тамъ гніють наши сыновья, знайте, что это мученики нашей внутренней неурядицы. Это наша живущая, воплощенная мартирологія.

Спуститесь южнѣе. Обѣзжайте города. Поживите въ нихъ, наблюдайте, изучайте. Васъ поразитъ затхлость, мертвое затишье нашей жизни. Здѣсь вы найдете удушливую атмосферу задавленной мысли, вынужденнаго молчанія, боязливыхъ слезъ, неизвѣданныхъ страданій. Вы найдете, что надъ каждымъ городомъ виситъ дамокловъ мечъ. Вы услышите какіе-то неясные намеки, темный и боязливый говоръ. Вы узнаете, что многія семейства не досчитываются своихъ сыновей, дочерей, братьевъ, сестеръ. Вездѣ, на каждомъ шагу вы встрѣтите ясные признаки, очевидныя жертвы нашей мартирологіи.

Мы находимся въ осадномъ положеніи. Мы изображаемъ собою крѣпость, которую со всѣхъ сторонъ окружаетъ врагъ. Мы не въ силахъ бороться и даже не хотимъ бороться. Мы живемъ въ осажденной крѣпости.

День за днемъ, часъ за часомъ изъ нашей крѣпости исчезаетъ одинъ, два, десятки человекъ. Гдѣ они? Мы не зна-

емъ. Надо думать, что они въ административной ссылкѣ. Слѣдовательно, они стоятъ внѣ закона? Да, они стоятъ внѣ закона? За что-же? А развѣ-же мы знаемъ за что? Неизвѣстно, за что. Безъ объясненія причинъ. Просто, безъ причинъ.

Извѣстно, что за границей есть русская эмигрантская литература. Разными путями доходить она и до насъ, жителей осажденной крѣпости. Чѣмъ она страшна? Кому она желаетъ зла? Для кого она наконецъ опасна? Развѣ-же не очевидно для всякаго, что она не всегда едина въ своихъ мнѣніяхъ, что она служитъ отголоскомъ слишкомъ различныхъ по своимъ принципамъ фракцій и партій. Если намъ удастся читать ее, то значить-ли это, что мы всецѣло проникаемся ея мнѣніями? Развѣ у насъ нѣтъ ни малѣйшаго критическаго смысла? Развѣ мы идіоты? Развѣ мы дѣти, которые нуждаемся въ заботливыхъ дядькахъ? Да, заботливые дядьки воображаютъ, что мы дѣти. Они тщательнѣе оберегаютъ насъ отъ „тхетворныхъ“ вліяній эмигрантской литературы. Если у васъ найдется одинъ листокъ, одинъ ничтожнѣйшій экземпляръ изъ этой литературы, — горе вамъ. *Vae legentibus!* Вотъ нашъ національный девизъ. Мы дѣти. Намъ нельзя читать всего, чего мы ни пожелаемъ. У насъ есть садовникъ, который съ удивительною, отеческою заботливостію ухаживаетъ за нашимъ умомъ. *Vae legentibus!* Найдись у васъ запрещенный листокъ — и вы несчастный человекъ. Васъ продержатъ долго-долго въ крѣпости и затѣмъ или отошлютъ въ административную ссылку, если не удастся смастерить какого-либо процесса-монстра, или-же выпустятъ на „относительную“ свободу.

Спрашивается: съ чѣмъ это сообразно? Гдѣ здѣсь человѣческой смыслъ, гдѣ здѣсь совѣсть, стыдъ, гдѣ здѣсь чья-либо выгода?

Если-бы эмигрантская литература не преслѣдовалась, если-бы за чтеніе ея не ссылали, то отъ этого дѣло нимало не измѣнилось-бы. Жизнь текла-бы такъ-же спокойно, какъ теперь, съ тою разницею, что не было-бы столько невинныхъ и бесполезныхъ жертвъ.

Для кого опасная эта литература? И не гораздо-ли опаснѣе преслѣдовать ее? Вѣдь честный человекъ не боится того, что о немъ станутъ говорить. Онъ честный человекъ,

и всё это знают. Если кто-либо станет распускать про него ложь, она ему, честному человеку, нисколько не повредит. Напротив, солнце правды станет еще светлее от контраста.

Итак, если мы видим в государстве ярое, беспощадное преследование мысли, мы должны заключить, что или государственная власть сама усомнилась в своей честности, потеряла веру в правоту своего дела, утратила нравственный компас и теперь летает без весла и кормила по бурному морю произвола и насилия, — или же мы должны объяснить все это недоразумением, архаическими воззрениями на общественные вопросы, хронической неспособностью усвоить себе новейшие идеи века, прикинуть к этим идеям, переработать себя их в плоть и кровь.

Мне кажется, что второе объяснение будет в значительной степени больше подходить к истине, с одною впрочем поправкой. Именно, эта неспособность понять идеи века, неспособность уразуметь свои прямые интересы и выгоды осложняется какой-то паникой, какой-то трусостью перед наплывом новых идей и нарастанием новых потребностей.

Мы всегда жили под опекой. Мы всегда сидели в осажденной крепости. Но зачем же нам изучать историю, если она не преподает нам никаких уроков? Зачем нам история, если мы не способны понять, что то, что могло иметь место во время Татарского ига, во время борьбы с Литвой и Польшей, во время немецкого террора, — что все это как-то даже неприлично для 1878 года, что это просто невыгодно, нерасчетливо для самой государственной власти. Если история доказывает что-либо несомненно, то это именно то, что никакие ухищрения администрации, никакие оргии насилия не могут атрофировать нарождающихся потребностей. История нам доказывает, что слишком сильно натянуты возжи опеки над народом в конце концов лопаются, и самонадеянный возница летит под копыта лошадей, под колеса несчастной колыхаги, которая управлялась так неблагоприятно, так нерасчетливо.

Факты на лицо. С начала XVIII столетия европейские идеи, получая по милости администрации некоторый доступ в нашу осажденную крепость, вдруг ни с сего ни с того

начинали быть подавляемы. Мы второе столѣтіе живемъ между волнами медленныхъ акцій и бѣшеныхъ реакцій. Съ нами шутили, заигрывали, намъ давали чуточку отвѣдать сладкаго плода свободы мысли, чтобъ потомъ всячески терзать и калѣчить насъ за то, что мы смаковали этотъ плодъ съ такимъ увлеченіемъ, съ такимъ восторгомъ. Сколько мы вынесли мученій, какіе претерпѣли издѣвательства, какіе понесли потери, то можно представить себѣ съ превеликимъ трудомъ. Не было мѣры произволу, не было границъ наслію. Терроръ прошолъ черезъ нашу сознательную исторію широкой, о, какой широкой лентой.

И что-же? Потеряли мы вкусъ къ свободѣ мысли и слова? Потеряли мы способность различать сладкое отъ горькаго? Правду отъ неправды? Добро отъ зла? Нѣтъ. Факты на лицо. Наша мартирологія доказываетъ это какъ нельзя лучше. Съ опасностью для свободы и даже для жизни наши юноши, наша подрастающая интеллигенція читаетъ свободное слово. Неужели ничего не доказываетъ этотъ бьющій въ глаза фактъ? Неужели ничего не значитъ это удивительное упорство, этотъ неослабѣвающій интересъ къ чтенію? Какъ-же объяснить это, если не дѣйствительную потребностью? Но развѣ благоразумно стараться искоренить дѣйствительную потребность, развѣ не выгодыѣ пойти съ готовностью на встрѣчу ей, стараться удовлетворить ей возможно полиѣ и лучше? О, Геркулесовы столбы человѣческаго неразумія, о, великая бездна человѣческаго отупѣнія и самонадѣянности! Спросите каждаго мало-мальски развитаго русскаго человѣка — что онъ вамъ скажетъ? Скажетъ-ли онъ, что ему страшна свобода мысли? Скажетъ-ли онъ, что она можетъ поколебать власть, правительство, ниспровергнуть троны? Нѣтъ, онъ этого не скажетъ, потому что онъ знаетъ, что свобода мысли укрѣпляетъ хорошее правительство, научаетъ уважать либеральную, желающую добра подданнымъ власть. Онъ знаетъ, что лишь нерозумное упорство, самонадѣянное коснѣніе въ средневѣковыхъ идеяхъ дискредитируетъ, позоритъ власть, дѣлаетъ ее посмѣшищемъ всего свѣта, устроиваетъ изъ нея притгу во языцѣхъ!

Все это азбучныя истины для русскаго интеллигентнаго человѣка. Но власть, вопреки собственнымъ интересамъ, не желаетъ слушать голоса этихъ истинъ. На кого-же она

надѣяться можетъ послѣ этого? Имѣть-ли она послѣ этого право ожидать къ себѣ любви, уваженія?

Признаюсь, это было-бы весьма странно. Какъ можетъ внушать уваженіе человѣкъ, который, желая долго жить, губить себя очевиднымъ для всѣхъ образомъ, собственно-ручно? Который истребляетъ тѣхъ, съ кѣмъ долженъ идти за-одно? Который ненавидитъ своихъ лучшихъ совѣтниковъ? Который собственноручно копааетъ себѣ яму, не желая сдѣлать ни малѣйшей уступки? Вѣдь это дѣтское упорство, вѣдь это старческое, разслабленное неразуміе!

А между тѣмъ мысль идетъ своей дорогой, потребности растутъ, не находя удовлетворенія. Да какъ не расти имъ? Вѣдь говорятъ, что въ шестидесятихъ годахъ мы далеко шагнули въ области мысли. Развѣ этотъ шагъ могъ исчезнуть безслѣдно? Развѣ могъ безразслѣдно исчезнуть разцвѣтъ нашего самосознанія? Нѣтъ, это было немислимо. Дѣло лишь въ томъ, что этотъ токъ чистой ключевой воды остановила плотина политической реакціи. Теперь идетъ ясная и ужасающая борьба, ужасающая потому, что при этомъ гибнетъ множество молодыхъ силъ, гибнетъ тихо, безъ громкихъ криковъ и фразъ. Зачѣмъ они гибнутъ, эти силы? На нашъ позоръ, на наше поношеніе, на наше горе въ будущемъ. Это такъ сказать Иродово избіеніе ни въ чемъ неповинныхъ младенцевъ. Это безпощадное, безсовѣстное истребленіе живыхъ человѣческихъ силъ. Это милліоны подвиговъ башни-бозуковъ, опричниковъ, застрѣльчиковъ, сикаріевъ, подлыхъ, безсовѣстныхъ, безжалостныхъ убійствъ. Это насмѣшка надъ стыдомъ, совѣстью, честью. Это профанация. Стыдъ и позоръ!

V.

Если вамъ, читатель, по вашей спеціальности пришлось производить опыты надъ растеніями и животными, то вы знаете, что дерево, встрѣтивъ на пути препятствіе, уклоняется въ сторону, но все-же продолжаетъ расти, пока наконецъ не дойдетъ до предѣла своего роста и не начнетъ упадокъ, разложеніе. Вы знаете, что растеніе, лишненное солнечнаго свѣта, утратитъ свой окрашивающій пигментъ, сдѣлается блѣднымъ, прозрачнымъ, больнымъ. Небезыз-

вѣстно вамъ и то, что если сбрить съ живаго кролика шерсть и обмазать его кругомъ лакомъ, то несчастное животное черезъ нѣсколько дней умретъ. Все это факты необходимые, и вы можете предсказать ихъ въ каждомъ данномъ случаѣ. Не тоже-ли случается иногда въ обществѣ?

Извѣстно, что мысль, полученная отъ извѣстнаго вишняго импульса, стремится выразиться въ дѣйстви, стремится сама произвестъ импульсъ на другіи предметы. Эти три термина взаимно другъ друга дополняютъ, они связаны неразрывно. И такъ, если вы станете стараться, чтобы мысль, которая составила въ человѣкѣ совершенно, необходимо и естественно, — если вы станете стараться, чтобы эта мысль такъ и осталась мыслью, чтобы она не пыталась выразиться въ дѣйстви, чтобы она была мыслью инертною, бездѣятельною, пассивною, — если вы станете пытаться сдѣлать это, то какъ вы думаете, — можете-ли вы достигъ своей цѣли? Нѣтъ, не можете. Это было бы все равно, какъ если-бы вы хотѣли бороться съ закономъ природы. Вы можете дать ему слегка иное направленіе, но вы не въ состояніи уничтожить силъ, которыми располагаетъ природа. Мысль также имѣетъ свои законы. И такъ, если вы будете поставять препятствія на пути ея естественнѣйшаго выраженія, она пойдетъ по окольнымъ путямъ, но уничтожиться не можетъ. Возможно, что она останется въ потенциальномъ состояніи, но скорѣе она пойдетъ по окольнымъ путямъ, ища удовлетворенія.

Я говорилъ выше, что у насъ мысль задавлена, несвободна. А между тымъ думать есть о чемъ. Масса несправедливостей, которыя насъ угнетаютъ, не могутъ не вызывать мыслей отрицанія, протеста. Все это законно и понятно. Но вотъ наши мысли подавляются. Мы можемъ искать побочныхъ путей. Такъ, на примѣръ, въ нашемъ обществѣ царитъ полицейскій произволъ. И вотъ въ обществѣ являются протесты противъ произвола въ видѣ убійствъ и другихъ насилій. Не станемъ стоять здѣсь на точкѣ зрѣнія абсолютной справедливости. Припомнимъ впрочемъ разсужденія Дюринга о мести*). Несомнѣнно лишь, что это явленія чрезвычайно естественныя и понятныя. Они не должны возмущать

*) Dühring, Werth des Lebens. Breslau. 1865 Ueber die transcendente Befriedigung der Rache. S. 222 und 59.

нась. Нась должны возмущать вызвавшія ихъ причины. Конечно, если мы станемъ объяснять ихъ „испорченною и порочною волею“, то это даже весьма удобно, но вѣдь объяснять такъ это можетъ лишь идіотъ.

Факты на лицо. Кто не помнитъ дѣла Засуличъ? Кто забылъ убійства въ Петербургѣ, въ Кіевѣ, въ Одессѣ? Этого забыть невозможно. Это слишкомъ ужасно, ужасно потому, что показываетъ до какой высокой степени достигъ интеллектуальный гнетъ въ нашемъ обществѣ, до какой степени попрана свобода личности и мысли. Кто не помнитъ ужасающихъ подробностей процесса Засуличъ? Кто забылъ, какъ безопасно и невинно преслѣдовали эту дѣвушку? Кто не бѣлся, кто не проклиналъ, слушая эти рассказы о безпринципныхъ утѣсненіяхъ ни въ чемъ неповиннаго существа?

Засуличъ была оправдана. Вся мыслящая Россія ликовала. Это былъ слишкомъ рѣзкій фактъ, это слишкомъ ясно дало понять правительству, что его система стоитъ ниже всякой критики, что это позорящая, презрѣнная, подлая система. Что-же, послушала власть этого голоса? Нимало. Администрация желала вырвать Засуличъ изъ рукъ восторженныхъ петербуржцевъ, чтобы отправить въ административную ссылку. Къ счастью, этого не удалось. Несмотря на это, власть не постыдилась кассировать приговоръ присяжныхъ и опредѣлить новый судъ надъ несчастной жертвой притѣсненія. Это неслыханное, безстыдное, позорное нахальство не возбудило ни малѣйшаго протеста ни съ чьей стороны.

Измѣнилась-ли послѣ этого система? Ни мало. На другой день послѣ оправданія Засуличъ были высланы 30 кіевскихъ студентовъ въ административную ссылку, да 120 было разослано съ жандармами по домамъ. Фактъ поразительный.

Система, говорю, ни мало не измѣнилась. Начались извѣстныя убійства. Кто были убійцы, — неизвѣстно. Быть можетъ это были совершенно изолированныя личности. Ничего неизвѣстно.

Какъ-же воспользовалось русское общество этими фактами? Дало ли оно замѣтить, что оно понимаетъ причины этихъ фактовъ и не желаетъ болѣе, чтобы эти причины продолжались? Нѣтъ. Оно воспользовалось этимъ для акта грязнаго лицемѣрія. Оно воспользовалось этимъ, чтобы выразить свои вѣрнопопуданническія чувства.

Зачѣмъ въ адресахъ Государю сказано было, что Россія „процвѣтаетъ“? Не былъ-бы Государь болѣе благодаренъ, если-бы ему прямо указали на наши болячки? Во всякомъ случаѣ, не было-ли бы это болѣе честно и сообразно съ дѣйствительными отношеніями? Я думаю, что это такъ. Если-же общество не признаетъ нашего положенія ненормальнымъ, то тогда какъ объяснить ликованіе по поводу Засуличъ и унылую тишину по поводу казни Ковальскаго? Что-же, развѣ это была комедія, зудъ въ рукахъ, которыя хлопали, судорога въ горлѣ, когда плакали? Вѣдь значило это что-нибудь.

Единственное объясненіе этой видимой непоследовательности можетъ быть то, что адреса къ Государю выражали лишь одну сторону чувствъ, охватившихъ общество, чувствъ безпредѣльной скорби по поводу нашихъ внутреннихъ язвъ, но что въ адресахъ не указывалось на то, что общество понимаетъ хорошо наши язвы и желаетъ ихъ уничтоженія. Да и вообще трудно въ официальныхъ адресахъ ожидать выраженія мнѣній мыслящаго общества. Адресы писались земствами да дворянствомъ. Это плохой выразитель общественнаго мнѣнія. Тутъ скорѣе можно ожидать разгула лицемерія, чѣмъ слова правды. Такъ оно и вышло. Но все таки намъ окончательный выводъ не измѣнится. Все таки очевидно, что даже тѣ, кто могъ-бы выразить свои мнѣнія, побоялся выразить ихъ и предпочелъ лицемѣрить. А быть можетъ все это просто слѣдствіе непониманія важности минуты, непониманія связи и взаимодѣйствія различныхъ факторовъ общественной жизни.

Какъ-бы то ни было, приходится сознаться, что даже официальные представители нѣсколькихъ классовъ общества не сумѣли стать на высотѣ своей задачи, высказали нетвердость, шаткость мысли, показали себя людьми древняго образа мыслей, — или-же нарочито продали общество.

Выводъ печальный въ высшей степени.

Какъ отнеслась литература извѣстнаго сорта къ тому-же факту, было говорено выше. Сказать однимъ словомъ, это было слошное, подлое лицемѣріе, лъстивая и презрѣнная ложь, отвратительное низкопоклонничество. Не забыть никогда этихъ науськиваній, этихъ чуть не доносовъ, этой идиотской ироніи, которую изрычали листки нашихъ газетъ извѣстнаго сорта. Но окончательный выводъ — сумбуръ поня-

тій, безсмыслі, непониманіе важности минуты, трусость и лицемѣріе-лицемѣріе безъ конца. Словомъ, полное отсутствіе идей, полный упадокъ мысли и чувства.

Вотъ этимъ-то упадкомъ идей, этимъ пониженіемъ интеллектуальнаго и моральнаго уровня, этимъ измелечаніемъ интересовъ характеризуется наше современное положеніе.

Оно и понятно. Въ нашу реакціонную эпоху лучшія силы, лучшія идеи не могутъ находить себѣ примѣненія въ важнѣйшихъ областяхъ жизни. Посмотрите на молодежь. Куда она стремится изъ университета? Тѣ, которые остаются незатронутыми администраціей, идутъ главнымъ образомъ въ медики, потому что это сравнительно независимое поприще, гдѣ почти не приходится унижаться и подличать. Еще меньше идетъ въ юристы, а меньше всего въ учителя, на педагогическое поприще. Удивительно сказать, что на нашихъ историко-филологическихъ факультетахъ собираются всѣ больные духомъ или тѣломъ, всѣ нервныя и слабыя, разбитые люди, которые или готовы равнодушно переносить всякія невзгоды и неправды и молча терпѣть весь цинизмъ нашей средне-образовательной системы, касающейся гимназій, — или которые вовсе не имѣютъ въ виду никакихъ твердо-намѣченныхъ нравственныхъ цѣлей. Странно сказать, но справедливо, что филологъ-студентъ считается между другими студентами чѣмъ-то страннымъ, слегка смѣшнымъ, слегка презрѣннымъ и вообще чѣмъ-то гетерогеннымъ, инороднымъ, не-студенческимъ. Это совершенно понятно впрочемъ. Вѣдь эти юноши-филологи въ большинствѣ случаевъ принуждены служить орудіемъ народнаго оглушенія посредствомъ нашей бессмысленной классической системы, позаимствованной у нѣмцевъ, но принесшей у насъ ни съ чѣмъ несообразныя плоды. Выходитъ неученіе, не учебная система, а позоръ и поношеніе учебной системы. Словомъ, это нѣчто тенденціозное, лицемѣрное, предназначенное служить мнимо-государственнымъ цѣлямъ.

Такимъ образомъ, наши лучшія силы, наши богатѣйшіе таланты, вслѣдствіе неблагоприятныхъ условий, или падаютъ жертвами административнаго террора, или избираютъ поприще дѣятельности слишкомъ узкое и одностороннее, а часто и не слишкомъ почтенное. Высшія-же общественныя

функции исполняются или людьми, воспитанными въ частныхъ, привилегированныхъ заведеніяхъ, съ ихъ затхлымъ духомъ и аристократическими поползновеніями, — или-же людьми вовсе необразованными.

Такимъ образомъ мы стоимъ на мертвой точкѣ. Свѣжія и энергическія силы отливаютъ отъ общественной дѣятельности, обставленной невозможными условіями. Полуобразованность, бездарность и рутинна царить вездѣ. Для лучшихъ силъ нѣтъ прямого исхода.

Спрашивается теперь, можно-ли при такихъ условіяхъ надѣяться, что жизнь будетъ идти правильно, что на нашемъ пути не будутъ ежечасно возникать тормазы, которые станутъ очень сильно задерживать наше развитіе? Можно-ли ожидать, что насъ не постигнетъ общее нравственное разложеніе, когда интересы измельчаютъ, когда уже не придется сотнями губить молодежь въ казематахъ и въ захолустьяхъ ссылки? Не придется ли намъ горько каяться, что мы такъ мало дорожили нашими молодыми силами, что мы такъ безпощадно и необдуманно старались подавлять и истреблять ихъ?

Нѣкоторые недоброкачественные симптомы разложенія замѣчаются уже и теперь. Въ самомъ дѣлѣ, что-же означаютъ всѣ эти процессы Гулакъ-Артемовской, Ковальчуковой, всѣ эти безчисленные и позорныя разхищенія общественныхъ кассъ? Что означаютъ тѣ многочисленные факты подкупа правительственныхъ лицъ, которые выяснились даже въ процессѣ Гулакъ? Что означаетъ эпидемія взятки, которая снова разцвѣла у насъ съ удивительною интенсивностью? Что означаетъ произволъ, который такъ сильно угнетаетъ насъ? Что означаетъ развитіе спекуляціи, биржевой игры? Что означаетъ наша удивительная отсталость и особенно наше арханческое упорство, наша неспособность къ всестороннему обсужденію общественныхъ вопросовъ, вялость нашихъ идей, мертворожденность нашихъ проектовъ? Что означаетъ все увеличивающееся да увеличивающееся высокомеріе и неспособность власти, которая никакъ не хочетъ помириться съ идеями вѣка, не хочетъ понять, что не въ ея силахъ совмѣщать въ себѣ всѣ высшіе и благороднѣйшіе интересы общества, которая не желаетъ дать обществу никакихъ гарантій отъ произвола, которая, словомъ сказать, не

желаетъ понимать, что ея сила, ея престижъ, ея почоть заключается въ уваженіи со стороны всѣхъ элементовъ общества, коего часть она составляетъ, сообразно желаніямъ котораго она призвана служить? Власть не желаетъ уступать, не желаетъ понять, что интересы общества всегда впереди, а не назади, что общество съ большою готовностью станетъ поддерживать новыя, а не старыя идеи и порядки. Власть намѣтила себѣ мнимаго врага въ обществѣ и неутомимо, безчеловѣчно истребляетъ его. А зачѣмъ? Почему? Единственно по своему неразумію, по своему старческому упорству которое никогда никому не приносило пользы. Власть не хочетъ понять, что если она никого не станетъ обижать, то и ее никто не обидитъ; она не хочетъ откровенно признать, что ея настоящее хозяйничанье есть сплошная обида, сплошная несправедливость. Подумаешь, сколько вредитъ челоуѣчеству упорство и неразуміе. Инѣтъ средствъ этому неразумію доказать, что оно именно неразуміе, а не глубокая и тонкая мудрость. Скажите ей это, и она прославить васъ измѣнникомъ, врагомъ Россіи, врагомъ общества. А литература извѣстнаго сорта начнетъ умилительно звонить въ унисонъ. Скажите власти, что есть-же наконецъ мѣра въ дѣлахъ, есть границы терпѣнію челоуѣческому, — и она объявитъ васъ преступникомъ, врагомъ Россіи, шельмой, безбожникомъ, извергомъ. О, неразуміе, о, лицемеріе, о, бѣдное, жалкое, убійственно-жалкое непониманіе!

Что-же означаютъ всѣ эти явленія? Ужъ не симптомы ли это общественнаго разложенія? Отчасти. Извѣстно, что реакція всегда характеризуется такими явленіями. Мы можемъ скорѣе ожидать нашихъ Праленовъ, нашихъ Базеновъ, нашихъ Сентъ-Арно, нашихъ Морни, словомъ, всѣхъ разновидностей, которыя знаменуютъ собою реакціи. Теперь-же мы имѣемъ много воровъ, съ одной стороны, и много опричниковъ, радѣтелей мнимо-угрожаемой общественной безопасности, съ другой.

Гдѣ-же причины всего этого? По крайней мѣрѣ гдѣ ясныя, очевидныя причины? На это можно отвѣтить съ трудомъ. Вторыя причины тѣ, что молодья, лучшія силы изгоняются, преслѣдуются, и въ обществѣ царитъ бездарность и неспособность.

Мы утратили окрашивающій пигментъ, мы поблѣднѣли, мы очень больны. А за что и зачѣмъ? Богъ знаетъ!

„Но позвольте-же, г. Хамходера! скажутъ мнѣ быть можетъ: — вѣдь у васъ есть богатая литература и не только газетная. Вѣдь у васъ есть великіе таланты публицистическіе и беллетристическіе. Наконецъ, у васъ есть наука, есть университеты! Не унывайте, г. Хамходера!“

На сіе отвѣчаю: да, у насъ есть богатая литература и великіе таланты. Можно сказать, что много жизней питаетъ эта литература, много поддерживаетъ падающихъ духомъ. Но это только одинъ изъ отдѣловъ нашей мартирологін. Трудно понять, какъ изобижена, какъ убійственно оскорблена и придавлена наша литература. И все таки должно сказать, что это единственное, что питаетъ, что поддерживаетъ, что спасаетъ насъ отъ мрачной бездны отчаянія. Повидимому, вы не встрѣтите въ честныхъ органахъ ясной постановки и рѣшенія общественныхъ вопросовъ. Но вѣдь этого и ожидать нельзя. Но взгляните въ фізіономію русскаго литератора, прослѣдите его исторію и потомъ принимайтесь читать настоящія его писанія, — и васъ какъ громомъ поразитъ, васъ обольетъ свѣтъ пониманія. Вы поймете, что это за герой — этотъ русскій литераторъ. Не скажу, чтобы такихъ было много. Я льстить не намѣренъ. И такъ, если вы способны понимать русскаго литератора, благо вамъ. Но я сомнѣваюсь, чтобы такихъ понимающихъ было слишкомъ много. Скорѣе можно сказать, что ихъ слишкомъ мало. На что вамъ лучше? Вотъ на сцену выступилъ человѣкъ, до того неизвѣстный въ публицистической литературѣ. Какъ видно, это человѣкъ съ лучшими намѣреніями, хотя не всегда твердо опредѣленными. Повидимому, этотъ человѣкъ желаетъ даже примирить непримиримое, слить несоединимое. Но все-же видно, что человѣкъ чего-то хочетъ, къ чему-то стремится, что человѣкъ ищетъ миролюбія. Вотъ этотъ человѣкъ совѣтуетъ новоназначенному шефу жандармовъ Дрентельну выпустить изъ ссылки административныхъ ссыльныхъ. Если-бъ вы знали, какъ скромно, какъ боязливо и почти льстиво заявлялась такая элементарная просьба, очевидно справедливая и умѣстная. Литераторъ ссылался и на слезы матерей, и на милосердіе вообще. Онъ даже готовъ былъ признать, что въ административной ссылкѣ нѣтъ ничего безбожнаго, без-

человѣчнаго, просто, анархическаго. Сколько онъ сдѣлалъ боязливыхъ оговорокъ, про то даже смѣшно вспомнить для посторонняго человѣка. И что же? Этотъ невиннѣйшій изъ невинныхъ литераторовъ за свою можно сказать благонамѣреннѣйшую просьбу получаетъ „предостереженіе“. Это значить, что повтори онъ еще два раза свою просьбу, — и его газета будетъ приостановлена примѣрно на полъ-года, а быть можетъ и на всегда.

Запишите этотъ ничтожный фактъ, читатель, въ вашей записной книжечкѣ. Такимъ образомъ у васъ соберется удивительная коллекція, которую вы пошлете на будущую римскую выставку. Вы своей коллекціей изумите Европу.

Отсюда слѣдуетъ, что даже г. Дрентельнъ, человѣкъ образованный, не сумѣлъ понять самого простого, самого незамысловатаго русскаго литератора. За что избыдѣли этого литератора, — про то вѣдаютъ боги. Во истину, приходится вспомнить слова Эдгара Кине: Jacques a le teint hâve et plombé; ni pain, ni gîte assuré; l'air lui manque dans sa soupenle, d'où il ne voit qu'un point du ciel. Il a faim, il a soif, il maigrit à vue d'oeil. Jacques, dites-vous (m-me la censure!), est un matérialiste.

Именно, этотъ несчастный Жакъ матеріалистъ! Нужно его предостеречь! О, срамъ и поношеніе здраваго смысла!

Говорятъ, что у насъ есть наука и даже великіе ученые. Во первыхъ, всѣхъ нашихъ великихъ ученыхъ легко пересчитать по-пальцамъ. Во вторыхъ, представьте себѣ, что намъ-бы не позволили вовсе читать иностранныя книги и переводить ихъ (и теперь мы можемъ читать далеко не все, что пишется за-границей). Спрашивается, какъ тогда, мы обошлись-бы съ собственной ученостью? На это ужасно трудно отвѣтить. Достаточно сравнить наши научныя изданія съ нѣмецкими, французскими, англійскими, чешскими, наконецъ, — припомнить нашу громадность территоріальную, чтобы удивится нашей отсталости въ ученomъ отношеніи. Посмотрите на эти тощія и безсодержательныя книжки, которыя выпускаютъ наши университеты, прочтите эти толстые томы нашей академіи наукъ, — найдете-ли вы тамъ живую общественную мысль, найдете ли вы тамъ попытки къ рѣшенію социальныхъ проблемъ, надъ которыми такъ много и упорно трудятся заграничныя философы? Найдете-ли вы въ

этомъ отношеніи что-либо, что вы могли-бы сравнить съ европейскими *chef-d'oeuvre*-ами? Неужели социологія, напримеръ, не достойна живаго вниманія человѣка науки? неужели въ этомъ отношеніи наука ничего не имѣетъ сказать специально для насъ, русскихъ? Если угодно, вы можете отыскать множество хорошо обработанныхъ частей, но общей, связующей мысли въ вопросахъ даже чисто историческаго вѣдѣнія вы не найдете. Обратитесь къ нѣмцамъ или англичанамъ. Гдѣ наши философы? Много-ли у насъ философскихъ кафедръ? Гдѣ наши великіе юристы? Много вы вынесете изъ слушанія этихъ безчисленныхъ „правъ“? Гдѣ наши знаменитые лингвисты? А вѣдь у насъ въ одной Россіи сколько различныхъ нарѣчій. Укажите мнѣ хоть одного учонаго, который-бы специально разработывалъ ту науку, которая на западѣ получила названіе социологін и которая весьма и весьма достойна научной разработки? — Но быть можетъ у насъ ученые, въ виду развѣдающихъ общественный механизмъ язвъ, занимаются популяризацией, публицистикой? Чрезвычайно какъ мало. Но быть можетъ у насъ хоть славы новѣдѣніе изучается основательно? Странно сказать, что такъ называемый „славянскій“ или „славяно-русскій“ отдѣлъ нашихъ филологическихъ факультетовъ взваливается на плечи какихъ-нибудь всего двоихъ профессоровъ. Кто насъ поучалъ касательно славянскаго вопроса? Люди, посторонніе университету. Университеты какъ будто не обращаютъ вниманія на литературу, на вопросы, которые она выдвигаетъ (въ этомъ отношеніи лишь за послѣднее время можно указать нѣсколько отрадныхъ фактовъ). Справедливо разсуждаютъ нѣмцы, что профессора университетовъ должны двигать науку, науку въ собственномъ смыслѣ, а не литературу. Но вѣдь то нѣмцы, у которыхъ множество силъ, готовыхъ разрабатывать всевозможныя стороны человѣческаго вѣдѣнія. У насъ же дѣло обстоитъ слишкомъ иначе.

Оставивъ въ сторонѣ студентовъ, которые безъ сомнѣнія много получаютъ знаній въ университетахъ, спросимъ себя: кто у насъ питаетъ и поддерживаетъ общественную мысль? кто пробуждаетъ, не даетъ заглухнуть этой мысли въ болотѣ политической реакціи? Отвѣтъ одинъ: литература. Много-ли даютъ университеты литературѣ? Крупицу.

Вина-ли это университетовъ?

Человѣкъ, желающій разсуждать безпристрастно, никакъ не можетъ признать, чтобы это была вина университетовъ.

Судите сами, читатель.

Можно сказать, что до начала настоящаго столѣтiя у насъ не было университетовъ, понимаемыхъ въ нѣмецкомъ смыслѣ. Было что-то неизмѣримо чуждое, задавленное, насажденное извнѣ. Эти слабыя насажденiя полны довольно печальныхъ катаклизмовъ, какъ о томъ можетъ судить всякiй, кто прочтетъ хотя-бы изслѣдованiе Иконникова о нашихъ университетахъ. Университетъ оставался чуждымъ народной жизни, да и не до того было ему. Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ намъ былъ университетъ, когда мы почти непрерывно были погружены въ болото злобной и въ тоже время боязливой реакцiи? У насъ не было и въ поминѣ того, чѣмъ наслаждались нѣмцы въ XVIII столѣтiи, именно, у насъ реакцiя не оставляла въ сторонѣ высшихъ школъ, не представляла имъ извѣстной доли свободы въ изслѣдованiи всевозможныхъ вопросовъ. Нѣтъ, наши университеты были полной игруппой въ рукахъ власти, которая выносила эти школы лишь потому, что онѣ давали своего рода „государственныхъ ремесленниковъ“. Послѣ долгаго скитанья по дебрямъ произвола, который губилъ лучшiя силы, который дискредитировалъ нашу высшую школу передъ иностранцами, университетъ казалось прибылъ въ пристань въ началѣ этого вѣка. Появились свои профессора, свои мыслители. Казалось, школа будетъ развиваться. Но надежды погублены были опять тѣмъ-же призракомъ; который безпощадно и неугомимо преслѣдуетъ насъ, — политической реакцiей, бѣлымъ терроромъ. Лучшiе профессора были изгнаны изъ университетовъ, предметы преподаванiя сдѣлались какой-то игрушкой, которая, какъ мячикъ, по произволу перебрасывалась отъ одного ремесленника, совершенно неподготовленнаго къ дѣлу, къ другому, столь-же мало подготовленному. Религiозный, чисто инквизицiонный гнетъ опуталъ наши университеты, на которые стали смотрѣть, какъ на гангрену, на гнойную, заразительную язву, грозящую погубить богоспасаемую русскую землю. До чего доходила насмѣшка надъ судьбами русской образованности, видно, на примѣръ, изъ того, что еще въ

1875 году возникла мысль о совершенномъ закрытіи университетовъ. Что это за безцеремонное было хозяйничанье, объ этомъ можно прочесть въ вышеуказанномъ изслѣдованіи.

Говорятъ, что съ 1860 года университеты наши пошли по новой дорогѣ, что уставъ 1863 года превосходить во многихъ частностяхъ уставы университетовъ нѣмецкихъ. Говорятъ, что съ тѣхъ поръ мы сдѣлали дѣйствительно большіе шаги. Пусть такъ. Противъ этого невозможно спорить.

Но чѣмъ мы можемъ объяснить то систематическое подкапыванье подъ свободу университетовъ, подъ самостоятельность студентовъ, которое замѣчается со времени вступленія въ дѣйствіе настоящаго министерства народнаго просвѣщенія? Чѣмъ объяснить, что многіе лучшіе профессора принуждены были во время извѣстныхъ петербургскихъ „студенческихъ беспорядковъ“ оставить катедры? Чѣмъ объяснимъ мы, что и теперь изгоняются изъ университетовъ лучшіе профессора, отъ которыхъ можно услышать болѣе живое слово? Чѣмъ объясняется, что студентъ перешелъ изъ вѣдѣнія университетскаго начальства и перешелъ въ вѣдѣніе полиціи, не переставая быть въ то же время подъ юрисдикціей своего суда? что онъ отданъ въ руки двухъ властей, изъ которыхъ одна можетъ изгнать его изъ университета, а другая уконопатить куда лишь ей угодно, совершенно не увѣдомля первую власть? Студентъ сдѣлался теперь субъектомъ, надъ которымъ всякое лицо имѣетъ нѣкоторую власть. Всѣ ему начальники, но особенно полиція. Студентъ не имѣетъ права составлять сходы, онъ не можетъ устраивать кассы, бібліотекъ, столовыхъ, для всего этого ему нужно специальное дозволеніе со стороны администраціи, которая, когда ей то будетъ желательнымъ, можетъ закрыть эти кассы, столовыя, бібліотеки, розогнать членовъ или отправить ихъ въ ссылку, — словомъ сдѣлать что угодно. И студентъ не можетъ имѣть нигдѣ защиты. Университетъ ничего не можетъ для него сдѣлать: онъ, видите-ли, студентъ лишь въ стѣнахъ университета, а внѣ стѣнъ онъ не студентъ. Поэтому, можетъ случиться, что онъ — полъ года или годъ сидитъ въ тюрьмѣ или находится въ ссылкѣ, — и университетъ даже не обязанъ знать это.

Университетъ нашъ стоитъ поотдаля отъ жизни. Это такъ. Но причина этому та, что въ эту то именно сторону и желаетъ направить его власть, вся цѣль которой — рас-

пространять среди молодежи политической и общественный индифферентизмъ. Университетъ плохо разрабатываетъ науку. Но можетъ-ли онъ разрабатывать ее лучше, если онъ остается безъ притока свѣжихъ силъ, если эти свѣжія силы, вслѣдствіе неблагоприятныхъ обстоятельствъ, устремляются въ совершенно другую сторону или же гибнутъ отъ произвола администраціи?

У насъ мало университетовъ, профессоровъ, мало научно развитыхъ людей, мало специалистовъ. Совершенно вѣрно. Но со стороны можно подумать, что ихъ слишкомъ много.

Въ самомъ дѣлѣ, кѣмъ-же наполнены захолустья сѣверныхъ губерній? Кто эти административные ссыльные? Это большею частью студенты, схваченные со школьныхъ скамей. Значитъ, ихъ слишкомъ много? Нѣтъ, не слишкомъ для нашей великой страны. Значитъ, это какой то особенно порочный, испорченный классъ, эти студенты? Должно думать, что такъ.

Въ самомъ дѣлѣ, почему эти люди, студенты, кажутся опасными? Это по большей части юноши, прилѣжно изучающіе избранную науку, юноши съ живымъ чутьемъ и пониманіемъ общественныхъ вопросовъ. Вотъ это-то чутье, это пониманіе ставится имъ въ обвиненіе. Оно ничѣмъ почти не проявляется, оно остается въ потенциальномъ состояніи. Но это ничего не значитъ. Здѣсь грунтъ нашей нарастающей интеллигенціи. Нужно этотъ грунтъ разорить. И его разоряютъ. Да какъ разоряютъ. Это трудно вообразить себѣ. *Prosto animus meminisse horret.*

Вотъ одинъ изъ многихъ фактовъ. На мою долю выпало счастье заѣхать проездомъ въ г. Кіевъ, какъ разъ въ то время, когда тамъ разразилась „университетская исторія.“ Какъ извѣстно, было изгнано всего до 150 человекъ студентовъ, часть на три года, до 75 — на два и до трети — на годъ. Круглымъ счетомъ было уворовано у науки 300 лѣтъ! 300 лѣтъ! о, tempoга!

Но должны-же виновные быть наказаны, скажутъ мнѣ.

Безъ сомнѣнія, виновные должны быть наказаны. Кто можетъ отрицать это? Судите сами, читатель.

За что были изгнаны эти студенты? За что было украдено у науки 300 лѣтъ? Вотъ за что.

Случилось въ Кіевѣ какъ-то покушеніе на жизнь мѣстнаго прокурора. Кто покушался на жизнь его — до сихъ поръ неизвѣстно. Незвѣстно также, какая была къ тому причина. Замѣтите-же, что на другой-же день послѣ покушенія было арестовано до десяти студентовъ. Ихъ допрашивали. Съ какой статьи ихъ арестовали? Развѣ подозрѣніе за всякое убійство въ городѣ должно падать именно на студентовъ? Надо думать, что такъ. Надо думать, что это извѣстные изверги, разбойники, убійцы. Администрація именно такъ къ нимъ относится. Однако-же послѣ допроса пришлось выпустить ни въ чемъ неповинныхъ людей, которые даже не могутъ жаловаться на оскорбительныя подозрѣнія и произволъ администраціи.

Прошло нѣсколько времени, и начались аресты снова, все по тому-же поводу. Между прочимъ арестовали одного студента — медика, Подольскаго. Похожъ ли этотъ П. на убійцу и разбойника, судить не могу, такъ какъ мнѣ не случилось видѣть его. Говорятъ, что это очень невинный, болѣзненный и слабый юноша. За что-же его арестовали? По подозрѣнію. Именно, въ его квартирѣ, какъ рассказываютъ, была отыскана деревянная доска, изстрѣленная пулями. Не очевидно-ли отсюда, что онъ приготовлялся къ убійству и упражнялся въ стрѣльбѣ именно съ цѣлью умертвить кіевского прокурора? Да это ясно, какъ божій день. Необходимо арестовать его. Тамъ разберутъ.

И его арестовали и посадили въ крѣпость, въ заключеніе, какъ опаснаго разбойника. Держать мѣсяць, другой. Товарищи безпокаются за исчезнувшаго человѣка. Но университетское начальство о немъ нимало не безпокоится. Тогда студенты собираются въ лекторіи и обсуждаютъ, что имъ предпринять, чтобъ помочь несчастному юношѣ, которому на носу предстоитъ полукурсовый экзаменъ; приготовляться-же къ экзамену въ казематѣ неудобно. Говорили, что П. человѣкъ съ слабой грудью, чахоточный. Рѣшились обратиться къ ректору. Ректоръ отправился къ жандармамъ, которые не отвѣчали ничего опредѣлительнаго и вообще лгали не въ одно. Именно, одинъ говорилъ, что П. держать не по подозрѣнію въ убійствѣ; другой говорилъ, что его держать именно по подозрѣнію въ убійствѣ. Словомъ, здѣсь нечего было ждать правды. Прошло два дня. Сходки въ лекторіи

продолжались. Студенты посылають депутатовъ къ попечителю. Попечитель говоритъ, что это не его дѣло, что это дѣло администраціи. Онъ, попечитель всѣхъ учебныхъ заведеній округа, ничего не можетъ тутъ сдѣлать. Студенты просятъ попечителя ходатайствовать передъ начальствомъ за Подольскаго или по крайней мѣрѣ разузнать, за что его держать въ тюрьмѣ. Но попечитель не можетъ этого сдѣлать. Это не его дѣло. Тогда студенты посылають депутатовъ отъ факультетовъ къ кievскому генераль-губернатору г. Черткову. Г. Чертковъ отдѣльвается насмѣшливыми замѣчаніями и довольно угрожающими намеками. Студентамъ приходится удивляться, что г. Черткову очень подробно извѣстно все, что происходитъ на сходкахъ, до того подробно, что ему грезятся вещи, о которыхъ студенты на сходкахъ и не думали говорить?

Г. Чертковъ дѣлаетъ намеки, что студенты затѣваютъ бунтъ, политическое преступленіе. Но зачѣмъ-же онъ принялъ депутатовъ? Вѣдь онъ зналъ, что по закону студенты не имѣють права ни посылать депутатовъ, ни просить о чемъ-либо коллективно. Однако-же онъ принялъ депутатовъ. Его просили поинтересоваться Подольскимъ, ходатайствовать, чтобъ его отпустили на поруки, и больше студентамъ ничего не нужно. Они не жалуются, они просятъ, просятъ униженно, кланяются

Депутаты и тутъ воротились ни съ чѣмъ. Хорошо, что хоть ихъ не арестовали. Говорятъ, что студенты очень боялись, что арестуютъ депутатовъ. Однако-же, депутаты возвратились цѣлы и невредимы. Что-же дѣлать дальше? Вѣдь просили кого только можно было просить, и получили что называется кукишъ съ масломъ. Что-же дѣлать? Разойтись? Такъ многіе совѣтовали сдѣлать. Но было рѣшено испробовать послѣднее средство, именно взять П. на поруки, подъ денежною отвѣтственностью. Нашлась добрая душа, которая согласилась взять П. на поруки, если студенты поручатся за него честнымъ словомъ. Говорятъ, что студенты готовы были поручиться за Подольскаго такъ-же, какъ за самыхъ себя. Теперь оставалось обсудить подробности дѣла, взять на поруки несчастнаго студента и разойтись такъ-же тихо и смиренно, такъ-же спокойно и мирно, какъ велось все дѣло. Это было уже на четвертой день послѣ начала сходокъ. Уни-

верситетское начальство четыре дня не обращало вниманія на эти сходки.

Вдругъ, среди этихъ мирныхъ розсужденій о томъ, какъ взять на поруки Подольскаго, въ лекторію вбѣгаетъ, именно вбѣгаетъ ректоръ Матвѣевъ и громко кричить: „Шапки долой! Уходите! Пора словъ прошла, наступила пора дѣла. Зачинщики будутъ наказаны“. Такъ кричалъ Матвѣевъ.

Студенты резонно замѣтили ему, что зачинщиковъ никакихъ тутъ не было, что они всѣ, студенты, начали дѣло, что они ограничиваются просьбами. Неужели-же имъ, студентамъ, нельзя просить за своего товарища? „Все равно! Зачинщики будутъ наказаны“. Студенты говорятъ, что разойдутся, если только не будетъ никакой рѣчи о небывалыхъ зачинщикахъ. Матвѣевъ говоритъ, что пожалуй, рѣчи о зачинщикахъ не будетъ, но только студенты должны разойтись. И прекрасно! Вѣдь все равно Подольскаго можно будетъ взять на поруки. Почему-же студентамъ не разойтись? Они разойдутся, но только пусть ректоръ общается, что ни о какихъ зачинщикахъ не будетъ и рѣчи. Матвѣевъ смущенъ. Тутъ на сцену выступаетъ проректоръ Митюковъ, этотъ удивительный хамелеонъ. Онъ начинаетъ объяснять студентамъ, что они ошибаются думая, что власть можетъ вступать въ какіялибо условія съ подчиненными. Выводъ тотъ, что студенты должны разойтись безъ всякихъ условій. „Какъ? Такъ значитъ вы отыщете у насъ мнимыхъ зачинщиковъ и накажете ихъ?“ Ни ректоръ, ни проректоръ не желаютъ отвѣчать. „Разойдитесь, говорятъ они, кто не уйдетъ, тотъ будетъ преданъ суду, какъ зачинщикъ“. А если такъ, то мы всѣ зачинщики, отвѣчаютъ студенты, и ужъ если судить, то нужно судить всѣхъ насъ.

Судите сами, читатель, кто здѣсь дѣйствовалъ честно, благородно и кто дѣйствовалъ глупо, непослѣдовательно, грубо, трусливо и подло. Начали составлять списокъ тѣхъ, кто оставался въ лекторіи. Студенты составляли списокъ собственноручно, сами вписывали свои фамиліи. Приходили и подписывались даже многіе студенты, которые во все не были на сходкахъ и до тѣхъ поръ не интересовались этимъ дѣломъ. Можно-ли было ожидать, что-либо иное, когда университетская власть поступила такъ безчестно? Четыре дня составлялись сходки, онѣ уже кончались мирно, и вдругъ

власть вмѣшивается такъ грубо и некстати! Она воображала, что это бунтъ, что это политическое дѣло? Она не могла этого воображать, потому что субъ-инспектора, какъ говорятъ, присутствовали на всѣхъ сходкахъ и могли выслушивать всѣ рѣчи, которыя говорили студенты. Значитъ власть университетская была направлена на студентовъ полиціей, подлыми тайными шпионами и доносчиками. Полиція была давно недовольна студентами и воспользовалась удобнымъ случаемъ, чтобъ дорѣзать ихъ. Университетское начальство послужило ей орудіемъ.

Списокъ былъ составленъ. Между тѣмъ ректоръ отправился къ попечителю. Ожидали даже губернатора и команду солдатъ. Посудите сами, читатель, была-ли въ этомъ нужда. Вѣдь это было самое мирное, простое обыкновенное дѣло, исключая развѣ необыкновеннаго идиотизма университетскаго начальства. Однако-же попечитель прибылъ въ лекторію. Что ему нужно было здѣсь? Сирѣсите его самого. Онъ и самъ не будетъ въ состояніи отвѣчать на это. Своимъ приходомъ онъ изъ несложнаго факта создалъ пассажъ, произвелъ сензацію въ обществѣ. Рассказываютъ, что онъ спрашивалъ, чѣмъ недовольны студенты. Студенты ему объяснили, что они недовольны своимъ положеніемъ вообще (еще-бы имъ быть довольными), но что въ данномъ случаѣ они хотѣли просить отдать на поруки Подольскаго, и за это ихъ теперь имѣетъ судить университетскій судъ. Вотъ и все. Тутъ нечего больше толковать. Попечитель спросилъ: кто вамъ позволилъ собирать сходку? Студенты отвѣчали, что они имѣютъ полное право собираться въ лекторіи, но не имѣютъ права ни о чемъ просить, и за это ихъ будутъ судить. Тогда начались между попечителемъ и студентами мирныя и даже дружелюбныя разсужденія.

Въ концѣ концовъ попечитель выразилъ увѣренность, что студентами руководили самыя благородныя намѣренія и что если они разойдутся, то ничего не будетъ, никто не потерпитъ ничего. Онъ даже прибавилъ, что у него, попечителя, сердце обливается кровью, при видѣ несчастій, въ которыя студенты должны попадать совершенно роковымъ образомъ, ни за что, ни про что. Ему многіе рукоплескали. Онъ даже плакалъ. Говорятъ, что то были крокодиловы слезы. Но это не совѣмъ такъ. Вѣрнѣе думать, что онъ въ самомъ дѣлѣ ничѣмъ не могъ помочь.

За попечителемъ разошлись и студенты. Однако-же попечительское обѣщаніе не исполнилось. Студентовъ судили. Что это былъ за судъ, о томъ пусть поразмыслятъ судьи. Это былъ секретный, одиночный инквизиціонный судъ, производить который не взялся-бы честный человѣкъ. Я человѣкъ посторонній кievскому университету, но я ногу назвать его судей безчестными людьми. Если я лгу, они легко могутъ оправдаться. Но они не могутъ оправдаться. Судите сами, читатель. Студенты, привлеченные къ суду, всѣ подписались на списокъ, всѣ признавали, что они совершенно одинаковое принимали участіе въ дѣлѣ Подольскаго и сходокъ. Тутъ не было и не могло быть зачинщиковъ. Это яснѣе дня. Почти всѣ студенты заявили, что не желаютъ давать отвѣты секретному, тайному суду, съ глазу на глазъ, что такой судъ, при томъ-же безапелляціонный, позоритъ университетъ. Однако судъ состоялся. Вызывали по одиночкѣ, для формы, на секунду. Это былъ судъ версальскій. И что-же? Судьи умудрились раздѣлить 150 студентовъ на три категоріи „по степени ихъ яко-бы виновности.“ Какъ такъ: Я вамъ скажу какъ: по секретнымъ документамъ. Что это за секретные документы? Это такіе документы, содержаніе коихъ извѣстно лишь кievской полиціи да судьямъ, — Романовичу-Славутинскому, Ващенко-Захарченкѣ, да Демченкѣ. А университетскій Совѣтъ? Развѣ онъ не протестовалъ, не возмущался? Нѣтъ. Судьи объявили, что категоріи установлены на основаніи „секретныхъ документовъ, содержанія которыхъ они, судьи, не могутъ сообщить совѣту.“ Это фактъ. Пусть опровергнутъ его, если осмѣлятся. Я-же, хотя человѣкъ посторонній кievскому университету, утверждаю, что судьи и совѣтъ, не потребовавшій объясненія, не протестовавшій всѣми силами и безропотно подтвердившій нѣслыханный приговоръ, внушенный секретными документами, — я утверждаю, что и судьи и совѣтъ поступили въ высшей степени нечестно, въ высшей степени низко. Пусть они защищаютъ свой приговоръ, если хотятъ, пусть они обнаружатъ свои секретные документы!

Вы видите, читатель, какъ дорожатъ наши профессора своимъ дѣломъ, какъ они цѣнятъ свою науку и студентовъ. Пусть-же позоръ падетъ на ихъ голову. Другіе университеты навѣрное погнушались-бы такого мерзкаго дѣла. Это

по-просту рѣзня, хладнокровное полицейское убійство. И кто же совершаетъ его? Профессора. Вотъ оно, разложеніе, деморализація!

Финаль извѣстенъ, До тридцати студентовъ было обманнымъ образомъ заташено въ полицію, арестовано и отправлено на гауптвахту, откуда ихъ, neodѣтыхъ и необутыхъ, отправили черезъ нѣсколько дней въ ссылку административную. Разослали, какъ говорятъ, въ Архангельскую, Олонецкую, Новгородскую, Вологодскую и Вятскую губерніи. За что-же, за что, скажите мнѣ, читатель!? И замѣьте, что этихъ студентовъ схватили еще за день до произнесенія приговора, который очевидно былъ услужливо сообщенъ полиціи прежде, чѣмъ студентамъ. Остальныхъ 120 студентовъ разослали съ жандармами на мѣста родины, подъ надзоръ полиціи.

За что-же все это, читатель? За то единственно, что студенты осмѣлились просить униженно, умолять! Они не имѣютъ права просить. Нужно ихъ отправить въ ссылку. Это народъ безпкойный, это шельмы, безбожники! Кто знаетъ, — быть можетъ они затѣвали что-либо неблагонамѣренное! — О, бедна человѣческой глупости и лицемѣрія!

Говорятъ, что студентовъ отправили въ ссылку какъ „главныхъ агитаторовъ“. Какіе это агитаторы? Противъ кого и чего они агитировали? Ни противъ кого, ни противъ чего. Они всѣ просили одинаково, просили, умоляли. А изъ нихъ сдѣлали козловъ отпущенія. Для чего? За чѣмъ? зъ какою цѣлью? Невозможно, немислимо, невѣроятно. Однако справедливо. Все это случилось въ послѣднихъ числахъ Марта 1878 года. Пишутъ теперь, что для первыхъ двухъ категорій приговоръ смягченъ. Только смягченъ! Кого общество должно благодарить за такое, снисхожденіе? Я не знаю. Но спасибо и за то.

Что Подольскій былъ ни въ чемъ невиненъ, доказывался тѣмъ, что и его черезъ нѣкоторое время отправили въ административную ссылку, не нашли противъ него ни одной улики. Такимъ образомъ, все дѣло кончилось очень просто — ссылкой и высылкой. У насъ все просто. Право, такихъ безсовѣстныхъ, и ничѣмъ, да, ровно ничѣмъ не заслуженныхъ убійствъ не приходилось мнѣ видѣть въ моей жизни даже въ старыя времена нашихъ университетовъ. Но что особенно

поражаетъ меня, это роль, которую разыграли здѣсь профессора.

Позоръ, о, позоръ!

Пусть они опровергнутъ мои слова! Пусть они докажутъ, что знали, за какія такія преступленія осудили студентовъ! 150 студентовъ! Слыханное-ли это дѣло? Въ университетѣ всего 700 студентовъ, — и вотъ это кажется много, — вышлемъ четверть! Вѣдь это навозъ, вѣдь это Administrationsfleisch.

Въ первыхъ числахъ Апрѣля я уѣхалъ изъ знаменитаго университетскаго города. Что тамъ теперь творится — я не знаю. Пишутъ, что были снова убійства! О, конечно, въ этихъ убійствахъ вѣроятно подозрѣваютъ студентовъ, хотя они виновны въ этомъ вѣроятно столько-же, какъ мы съ вами, читатель.

Судите-же теперь сами, въ какомъ положеніи, при какихъ невозможныхъ условіяхъ подрастаетъ наша молодая интеллектуальная сила. Рѣшайте, должно-ли это влечь за собою пониженіе общественнаго уровня, измельчаніе интересовъ, оскудѣніе идеаловъ. Оцѣните-же послѣ этого по достоинству газетныя вопли противъ общественной деморализаціи. Оцѣните наконецъ по достоинству полемику, которая начинается разгоряться между литературой и нѣкоторыми профессорами. Оцѣните наконецъ положеніе нашего университета, этого несчастнаго кролика, который, будучи обрѣтъ чужими руками, самъ покрываетъ себя лакомъ, чтобъ окончательно захирѣть въ медленной агоніи.

Вотъ она, наша система. И съ этою-то системою мы взваливаемъ на себя непосильныя задачи, мы беремъ насаждать свободу, мы погибающіе и издыхающіе отъ произвола. О, бездна человѣческаго лимфріа! Когда-же будешь ты исчерпана до конца?

Не можемъ-ли мы воскликнуть теперь вмѣстѣ съ Фаустомъ: „Alles deckte sich rings mit Nebel umher!“

Гдѣ-же, наконецъ, гдѣ это должно кончиться? Кто долженъ развернуть клубокъ, который, увеличиваясь самъ собой, все растеть да растеть?

Кто, мудрецъ, можетъ отвѣчать на этотъ вопросъ?

1878 года. Ноябрь 20.
Веселый Овражекъ.

Николай Ханходера.

Гляджу какъ безумный на черную шаль
И хладную душу терзаетъ печаль.

Пушкинъ.

Когда легковѣренъ и молодъ я былъ,
Младую дѣвицу я страстно любилъ;

Однажды, помню я, сидѣлъ я при ней
И въ небо всмотрѣлся блестящихъ очей,

И въ ея ланиты — два пучечки розъ,
И уста, усточка полны сладкихъ грезъ;

Подала мнѣ ручку бархатну свою,
Я ее цѣлую, съ жаромъ къ сердцу жму;

Паду на колѣни, — она не бранить,
Но сладко, любовно въ глаза мои зрить,

И кажетъ съ распѣвомъ: „скажи-ко мнѣ ты
Жалованья сколько берешь изъ казны?“

„Лишь триста . . .“ сказалъ я, „да я не богатъ,
„Но сердцамъ любящимъ не надо палатъ;

„Мы станемъ трудиться, а благость любви
„Труды осладить намъ, озарить пути“.

„А . . . такъ? . . .“ прошептала любезна моя,
И выскользла съ моихъ рукъ рука —

„Вы очень нахальны! . . . ужъ прошу я васъ
„Вѣжливыи со мною...“ — и уйшла сейчасъ . . .

Что было потому? ахъ, лысый подлець,
Богатъ, и съ орденомъ повелъ подъ вѣнецъ

Мою красавицу; — и сталъ сконфуженъ,
Разсматривалъ пятна у стеколъ оконъ,

Потомъ я помчался — лишь не на конѣ,
А пѣшкомъ и — жалость молчала во мнѣ!

Съ тѣхъ поръ я поклялся до смерти своей
Не вѣрить ужъ небу блестящихъ очей;

Съ тѣхъ поръ ужасаюсь любовныхъ оковъ
И сладкаго яда прельщающихъ словъ.

Т. К. Влонскій.

ВІДІЛ МАЛОРУСЬКИЙ.



Передне слово.

Збірник сей має подати читателям деякі твори літературні у всіх язиках славянських.

Щиро ми бажали - истинно виступити перед громадов славянських с таким совершенним літературним концертом, та тяжко було з денекотрих сторін придбати заступників-а затім и літературних праць. Томуж на тепер даруйте.

При тім всеж ми думаєм, що виданье сего діла бодай краплиною причинит ся до пізнаня язика, духовних окремин и взаємин славянського люду. Приймесь и сподобаєсь діло в такім напрямку, може в будуще станесь периодичним - зладит и доповнит, що му нині недостає.

Тож иди - иди у світ - ти перше славянське діло. Росходись по всіх країнах широкого славянського поля-повертай й гости, где тільки звук свого слова учуєш. Най ти проводят щирі наші бажаня, чиста й добра воля. Коб тя с таким серцем приймали, с яким ми тя виправляєм!



Думки.

I.

Давно слабим ся чую,
Небаром и мені
Там висплют могилу
Під церквов на горі.
Нажився досить в світі
Наситив ся біди,
Минали тяжко — важко
У горю ночі — дни.
Но заків у сорочку
Біленьку уберут,
И навхрест сухі руки
На лаві мні складут,
То ще одно сповнити
Я радби, — кобим міг —
Тоді, — бігме аж втішно
У домовину б ліг.

От радбим хочь на старість
Щоб звонарем я став,
И вилив звін, якого
Сей світ ще не видав . . .
Для того звона страви
До воліб я знайшов,
Як в шир, неперек світом
Я руским би пійшов.
Від нььки тут старої
Червінчик бим дістав,
А там-би из намиста
Карбованець припав ;

Тут легінь из реміня
Пряжки меніб вділив
Из того всього я би
Великій звін излив.

Не штука звони лити,
Но щоб він голос мав
Звінкий, грімучий, сильний —
Над тим-би я думав!
И як из глини форму
Я раз би вже зліпив,
То все в одно лиш Бога
От так би я молив:

„Дай милий Боже звуку
Щоб сильний був, звінкий,
Щоб вворохнув ся кождий
Великий и малий;
Як голос той зачувби
Щоб кождому казав:
Щоб кождий любив нарід
И свогось не встидав.
А руский, любий нарід
Над всё щоби любив
И дбав, щоб божим раєм
На ново ся розцвнив;
Щоб руске миле слово
Гуділо мов молна,
А слава наша й воля
Росла від дня до дня“

От се зробить бажаю —
Но годі, смерть уже
С косою за плечима
До себе мя зове. —
Умру, загину, втішно
В надії я жию,
Що хочь я світ покину,
Хочь бідний я умру,
То моя думка гадка
Во віки не умре.

**Звоняр такий ся знайде
Як більше нас припре
Недоля — н с скромних датків
Излив гарний звін —
Він стражею ся стане
Для руских поколінь.**

**И як у криси вдарят,
Як грімко загудит,
То голос гуті буде
Від гір аж де шумит
Глибоке чорне море
И обинмут ся всі
Як діти одной семії
Великі н малі**

II.

**Коло хати, де мя мати
На сей світ родила,
Стоїт липа, на всі боки
Віти розпустила.**

**Під тов липов дитиною
Гуляв я н грався,
Під тов липов я с хорошов
Дівчинов пізнав ся.**

**Під тов липов нам в любові
Мило дни минали; —
Що у світі суть злі люде
Не снили, не знали**

**Но злі люде в світі всюди,
Вни нас розлучили,
В молодії серця трути
Аж по верх налили.**

**З жалю діва ся минула,
Я бідний остав ся,**

Щоб на білім краснім світі
З бездольем карався.

Відтогди щоби гілисту
Липу я не бачив ,
Як подивлюсь, нагадаю,
И вяну н плачу.

Над тов липов от так радбим
Сирота пімстити-сь,
Щоб из неї домовину
Міг для себе збити.

Щоб у липі, під котрою
Любов щира, мила
Світ узріла . . . щоб любов та
В ній на вік спочила . . .

III.

Засмутилось, зажурилось
Серденько мов
Бідне в грудях, у кривавих
Ледви тьохка, бье.
„Що с тобою серце стало-сь
Прошу тя, скажи ?
Чом сумувш як ластівка
Котра в осени
Зісталася, бо злетіти
В ірій немогла,
Чорні крила в низ спустила —
Нещасну зима
Придавила н обняла —
Она ніби спят,
Що щасливі в теплих краях
Товариші спят;
Ціпне, мерзне завмерав
Гниє, без часу

Таж тебе не придавили
Сніги як малу
Ластівоньку, чом сумуєш
Прошу тя, скажи ?
Твоє горе и твій смуток
Коротают дни. —
Ще-сь недавно ти було
Мов птичка мала,
Що ся тішит, бо настала
Божая весна —
А из тебе крізь верх лили-сь
Радість втіха шум,
И цвіточки, що збирав я
До тих пісень — дум? «
„Деж ми втішно в грудях бити
Бідне надточив
Черв напасний и мов гад той
Круг него-сь обвив.
Привитати я думало
Лучшу долю й час,
А тимчасом лиш бездоле
Настало у нас . . .
Зрада ненависть панують,
А правда лягла
Вічно спати, як під снігом
Ластівка мала.
Непитай мя чом сумую,
Досить знавш ти,
Всі бажаня що я мало
Розплили-сь як сні.

IV.

В церковці маленькій
Нас обох хрестили,
В церковці маленькій
Обох подружили;
В церковці маленькій
На марах лежала-сь

Бідне серце в грудях
В двоє розірвала —
Під церквою близько
В яму тя спустили,
С тобов мою долю
Землею зарили
Ходжу нуджу світом
Без щастя без долі,
Вяну як та цвітка
На сонці у полі . . .
Церковця звалила-сь
Нову змурували,
На горі и цвинтар
Новий заснували.
Телята пасут ся
По милих могилах,
Все-все ся змінило,
И я впав на силах,
И волос русявий
Білим мхом укрит ся,
Бач с тугого мужа —
Сивий дід зробив ся;
Серця біль горячий —
То лиш не змінив ся
Він як рак точливий
Гірш ще розширив ся
И точит душу мою
Хоч мя придавили
Роки . . . хочь лиш пядь ще
Мені до могили . . .

Данило М.ака.

Весна-чарівниця.

V.

Через зиму дуб дуплавий
Тяженько сумував:
„Конец тепер зо мною!“
Столітний так думав.

„Минув час мові сили,
Сумні настали дні;
Трищу, скриплю як виют
Північні вихри.
Розпадок ся зближав,
Вже корінь мій зігнув,
Не жаль мні умерати —
До волі в світі жив;
Одно и друге бачив,
Зазнав добра и зла,
Пора — щоб в своє лоно
Приймила вже земля!“

Збудив ся теплий вітер
И світом ся пігнав,
Природу з сна твердого
Будити він почав.
И все ся пробудило
Все дише и живе,
Ци велит ци комашка
Велике и мале.
И дуб старий и дряхлий
У собі щось почув
Щось — ніби — незвичайне
Про гибель, смерть забув.
Почав ся розвивати
В зелений лист дрібний
Забув що він похилый
Дуплавий и старий.

Таке зо мною було:
Бігме — що я желав:
„Щасливий був бим Боже
Як я в землі-б дрімав
Той сон солодкий тчхій . . . ,
Бо світ не тішит мя,
Любов и згода зникли —
Він повен горя зла!
Брат брата утопивби
У лижечці води,

А діти славной Руси
На ніщо ся звели . . . «

Не знаю як то стало-сь
Все злоє я забув,
И в моім дряхлім серці
Щось — мов весну почув.
И став знов молодіти,
Любити божній світ
Хоть сідь покрила волос
А мні близь сотце літ!

Данило Малака.

Народні обряди весільні

списані в Підберіцях, коло Львова.

Коли родичі загадали посватати яку дівку для свого сина, послають до неї старосту, т. є. старшого віком и поважного газду, що бував вже у всяких бувалицяхъ тай не першина му ходити за такими справами. Заосмотрений в потрібні до того інструкції иде він, звичайно вечером, до родичів усмотреної невістки та, привитавши-сь зі всіма як слід, зачинає балакати с-першу о всіляких річах, а віттак зручненько наворачтає на свою орудку та розказує, яке в него діло. Але дівчина не в тімь бита — доповіли їй вже давно люди, що той а той гадає до неї „посилати ся“ — скоро йно отсе заздріла старосту, зараз шусть за двері та „на сусіди“ — так и нема с ким говорити. Тож родичі просят звичайно старосту на инший раз, и як-дівчина не дуже гороїжит ся та всё гаразд укладає ся, запрошують „старих“ жениха и умовивши-сь з де-більшого та запивши могорич, дають на заповіди и стають прибирати-сь до весіля. Між тим парубок — що від тепер називає ся князь або молодий — еднає собі бояр, то вєть дружбу, піддружбого и хорунджого, двох старіст (мало коли лишає ся той, що ходив сватати), дві свасі (жінки старіст) и свашку (сестра молодого або сусіда, заступаюча місце дружки у молодого). Молода-ж („книгині“) шукає собі дружбу, дружки (котрою не може бути

ві сестра рідна) и двох старіст, с котрих оден бував отець дружки. Яке діло при весілю має кождий с тих старшин весільних, побачимо нисше.

На три неділи перед весілєм відбували-сь ще до недавна слівнини, а то у княгині в суботу, а в князя в неділю. Слівнини тоті обходились в той спосіб, що старости князеві несли в суботу вечером до княгині дарунки: розмайран, котрим від тепер закосичувала-сь княгиня в неділі и свята; стонгу широку бинду и кобелю колачів. Родичі спрошували гостей и забавляли ся до пізної ночі.

На другий день, в неділю, відбували ся слівнини так само у молодого, лишень що старости від молоді не приносили ніяких дарів.

Від якогось часу понехаю справляти слівнини, котрі відав мали значіне заручин.

Вінкоплетини.

В пятиницю перед суботов, котрої має зачинатися весіля, йде княгиня з дружкою до ліса по барвінок.

В суботу скоро-день, або ще й до-світа, йде молода з дружкою по сусідах спрошувати до вінків.*) Кого нно здіблют, кланяюг ся обі до ніг тричи, говорячи: „просили тато й мама, вашеці прощу: приходіт до вінків!“ Віттак до княгині сходят ся лиш дівчата та, засівши навколо стола, плетут вінки: два більші гладкі для молоді и молодого, чотири менчі для бояр, а для старіст також малі, але борухаті, або вяжут барвінок в пучки — співаючи:

1. Благословя, Боженьку,
и ти рідний батеньку **);
світа Пречиста Мати,
що вступила до хати
вісіле зачинати
тї віноньки вести,
довго в них не ходити:
в суботу від полудне,

*) Давніше відбували ся вінкоплетини в четвер.

***) Де в пісні стоїть «батенько», там повтаряють кладут «матінька». — Місцевий виговір лишє ся в піснях ненарушено.

- в неділеньку всю диньку,
в понеділок годинку.
2. Хрищений барвіноньку,
в чора-с був в городоньку;
а нині на стolonьку,
в Марусинім домоньку.
3. Рімняйте, дівоньки, барвінок
кнєгнини на вінок;
рімняйте рімненько,
щоби було красненько;
бо піде межі люде:
наші славонька буде.
4. Чекала-с, Марусенько,
сумної суботоньки,
шлюбної неділеньки.
Сумная суботонька
шлюбний день —
сумувала Марусенька
цілий день . . .
5. Де ти ріс, барвіноньку,
що-с такий барзо красний?
Й-а в лісі при криници,
при студеній водици,
вода мене підходила
все мене холодила;
вітрец мі не завіяв,
сонце мі не пригріло;
прийшов чис-годинонька,
виризала Кнєгиненька;
виризала Кнєгиненька:
молода Марусенька.
6. Молода Марусенька
воротонька вхилила,
стадо своє виганєла:
стадо мов воронов,
видопчи зіле мов;

ой най сі не дістає
батеньку на жиленько :
ой що батенько глвне,
то все мене спомине:
десь мов дитятонько,
що садило зіленько ? . .
Садило, підливало,
в него сі не вбирало;
нно си єден ввило,
що сі в нім заручило.

7. А в городеньку рутка —
будь Івасеньку тутка
будут дівки вінки вили,
будут собі говорили:
Івасенька не виділи.

8. Ходила Марусенька
сім літ по лісі;
(*) ой лісом, лісом,
хрищетим барвінком!
прийшов до неї
батенько єі:
Ходи, Марусенько,
чис до домоньку!
— Ой ні, не піду,
вітру сі бою;
вітру сі бою,
сонце сі хороню:
вітронько повіє —
косоньку розвіє;
совенько пригріє —
личенько змарніє . . .

9. Вила Марусенька віночок
с крутої рутн сердчок;
ой вила-вила, перевивала,
в середину Яскір клала;

Стихи, означені зіздкою (*) повтаряють ся яко рефрени.

покотила го по столу
свому батеньку на славу:
прийми, батеньку, віночок,
с крутої руті сердочок!
— Ой ні, дитятко, не прийму:
через же листів не могу,
перед слёзками не виджу . . .

10. Ходи Марусенька попід садочок,
склонивши головоньку;
ріже барвінок собі на вінок
на свою головоньку.
Не стало її вінка довести
с хрищетого барвінку —
слала батенька по калиноньку
в зеленую діброву.
Батенько пішов, калини не знайшов —
тихий вітронько віє;
вітронько віє, соненько гріє,
калинонька процвітає.

11. Пішла Марусенька в вишнів сад
тай заблудила в виноград:
(* Ой хтож мі знайде
в тім винограді,
тому-ж я сі дістану!
Пішов батенько — не знайшов,
ино заплакав тай прийшов.

(Так само співають прикладаючи до „матіньки,“ „братінька,“ „сестроньки;“ до „миленького“ -ж змінюють послідні два стихи:)

Пішов миленький тай знайшов,
взев за рученьку тай прийшов.

12. Там по горі ф'явоньки зацвили,
там всі гори, долиноньки прикрили.
Тамтуда Марусенька ходила,
зеленую рутовьку садила.
За нею батенько близенько:
сади, сади, Марусенько, борзенько!

— Не ходи ти, батеньку, за мною,
не люба ми бесідонька с тобою!

(Так самісінько відповідає, „матиньці, братинькови, се-
стровьці;“ „миленькому-ж:“)

Ходи, ходи, мій миленький, за мною:
люба мені бесідонька с тобою! . .

13. Під дібровою, під зеленою
там росонька припала;
там Марусенька молоденькая
красоньку росівала.
Вийшов до неї батенько ві:
що дівш, Марусенько?
— Ой дію, дію, красоньку сію,
з рукавцв росіваю:
ой як ми Бог дасть добру доленьку —
то я їй позбираю;
а як лихую, а як лихую —
то я їй занехаю. . .

Десь тепер приходит дружба з могоричом та почесту-
вавши домашних, — вже занстальований. Ёму співають
на зустрічу:

14. Нема дружби до хати,
пішов в солому спати:
а в яку? — в ячмінную;
а в чію? — в сосідную.

Перечестувавши-сь з дружною, дівки співають дальше,
а музики грают ім під голос:

15. Ой там в поли винонька,
в виноньці Марусенька;
попід тую виноньку
битая дороженька.
Ой іхав же нею
статочний старостонько
и запукав в виноньку:
вийди до нас, Марусенько,
ой дай нам напити сі
зелененького вина!

А наші Марусенька,
умненька-розумненька,
дала сі їм напити —
водиці ис кирниці.

(Так само другому старості; милому-ж:)

Ой там в поли винонька,
в виноньці Марусенька;
попід тую виноньку
битая дороженька.
ой іхав же нею
Молодий Івасенько
и застукав в виноньку:
вийди до нас, Марусенько,
дай же нам сі напити
водиці ис кирниці!
А наші Марусенька,
умненька-розумненька,
дала їм сі напити —
зелененького вина.

16. Там Марусенька молоденькая
зелене зіле рвала;
зіленько рвала, зіленько рвала,
з зазулею розмовляла:
ой перестань же, сивая зазуленько,
в тім садоньку кувати!
— Ой перестань же, молода Марусенько,
зелене зіле рвати!
Ой перестану в саду кувати:
сніги-морози будут.
Я перестану зіленько рвати,
як від батенька піду.

17. В Кракові вінки вели,
ві Львові малювали,
в тім домі дарували:
дарував Івасенько
молоду Марусеньку;
ой дарував він її
золотими ремноньками.

Вона ремнів не брала,
по столу посувала:
Ой ремни-ж мої, ремни,
ремнюнки*) золотії!
Полежіте-ж ви собі
на тім тисовім столу;
я піду послухаю:
що мій батенько мови?
А мій батенько мови:
„най ті Бог благослові!“
Мій перловий віночку,
лежи-ж си в прискриночку;
хоть ті батенько руши,
перлоньки не поруши! . .

18. Книгини-смо вінок вили,
бо смо її горівку пили;
а як смо довивали,
мід-горівку розливали.
Князьови не тре**) вінка,
бо не вго горівка;
князьови батіг вплести —
най иде коні вести.

Підчас вінкоплетин молодята в церкві сповідають ся и причащають ся. По Службі Божій приходять всі, що були спрошені до церкви, до дому княгині на „п'оминки“. Заким прийде священик, садовлят молоду на стілець, отець и мати розв'язують їй кісники, а віттак дружка с подругами росплітають коси, співаючи:

Благослови, Боженьку,
и ти рідний батеньку,
світá Пречиста Мати,
що вступила до хати;

*) == гривнюньки? (в перейшло на-и, як в словах: рівний, ремний, кремний, замість: рівний, ревіний, кривний). В збірнику Вацлава з Олеська (Pieśni polskie i ruskie ludu Galic . . .) помічена подібна пісня (стор. 7.), в котрій слово „гривня“ задержало-сь в первістій чистоті: „Обдарувала Касуеньця

гривнями золотими,
таллярами битими,
она гривнів не брала“ и т. д.

**) == не треба.

що вступила до хати
косоньку розплітати.

19. Дай, матінко стільця,
стільчика, гребінчика:
косоньку розчесати;
по селу походити,
родиньоньку спросити;
родиньоньку до короваю,
дівоньків заспівати.
20. Приїхали Марусенько паничі,
взели твою косоньку під мечі:
взели твою косоньку рубати,
взели твої матінька плакати. . .
21. Вбирай сі, Марусенько,
в посажнов зільню,
що Івасенько вкупив,
без старостоньків прислав,
22. Під вікном черешенька,
під нею Марусенька
росу косу чесала,
на дунавц пускала:
плини, косо, з водою,
я піду за тобою. . .
Там далі спочинемо,
три листи напишемо,
до батенька пішлемо:
най же батенько знає,
за кого мене дає:
малую, молодую,
ягідку червоную.

Розплівши коси, берут вилетений вінок, обшивають навколо стонгами и вкладають княгини на голову, затикаючи навколо розмайраном та барвінком. Так пристроєна молода клякає перед священиком, а сей її благословит и кропит свяченою водою („водицею“), Вігтак з дружкою кланяє ся трини родичам (котрі сидят на ослоні, засланім чорним кожухом),

говорючи за кожним разом: „Вашеці прошу о благословення!“ на що они відповідають: „Най Бог благословит!“ —

Підчас тих поклонів, молодиці (дівчата вже пішли домів) співають:

23. С ким мі, батеньку,
с ким мі, рідненький,
на село вириджиш?
— З Богом, дитетко,
з добрими людьми
и зі всіма світими.

Сироті:

24. Кому-ж ти сі, Марусенько кланьш,
коли ти свого батенька не маеш? —
— Поклоню я сі чужому *)
жаль буде серденьку мовму . . .

Перекланявши-сь всім притомним идут на село по всіх хатах. Кланяючи-сь старшим тричи, просят їх наперед о благословеня, а знов тричи на весіле, жінок до короваю а молодіж лиш на весіля. Жінки-газдині даруют молоду кількома жреїцарами „на варешку“.

Коровай.

Над вечером сходять ся жінки, так у молодой як и в молодого, до короваю. Кожда приносить кварту горівки або миску муки и кількоро яец, або курку. Привитавши-сь з газдинею, сідають за стіл и співають:

25. А в суботоньку на відвечіроньку
година;
ой зійшла же сі вся Марусина
родина.
Принесла вона колоду муки **)
в коровай:
ох милній Боже, тож богатая
родина! . .

*) Коли у молодого або у молодой нема рідного вітця або матери, то їх місце заступає при благословеню пайблисш рідня.

**) Співаючи в-друге, прикладают на сім місци: „фаску масла“, віттак „копу яец“.

26. Забавляє сі красна Марусенька
та в далеченькім краю:
нема жоночок, ні сусідочок
до її короваю.
За нею батенько, за нею рідненький
три післи послав:
Ой вертай-вертай, мов дитвонько,
та з далекого краю:
'Же є жоночки, є й сусідочки
твого короваю.
27. Сама тополі, сама зелена
в чистім поли стояла;
на нюю вітри зі всіх сторон віяли,
вона на тов, зелененькая, не дбала,
но осінного морозоньку чекала.
Сама Марусенька, сама молоденькая
при батеньку гуляла;
на нюю люди зі всіх сторон мовили
вона на тов молоденькая, не дбала,
до чису росу косу чесала,
на молодого Івасенька чекала.

Сироті:

28. Пішлю ворону в чужу сторону,
соловєя до матіноньки.
Ище соловєй не долітає,
'же матінонька знає . . .
Матінько встань-же, поридок дайже
твоему дитвоньку!
В твого дитвтка подвіре не метене,
столи не стелені.
— Рада бим встати, поридок дати
своему дитвоньку:
сирая земле дверці заперла,
віконці заслонила . . .
29. Ой знати, знати тай Марусеньку,
що матіньки не має:
ств не стелений, двір не метений,
родина не спрошена.

Пішлю соловей по родиноньку
в чужую сторононьку;
а зазуленьку під сну земленьку
по рідную матінку . . .
Ище соловей не прилітає,
вже родинонька знає.

Коли молода поверне вечером с села, співають їй на зустріч:

30. Прийшла Марусенька с села
сумная-невесела;
де стала-заплакала,
з двороньком говорила:
ой дворе-ж мій, дворе,
тоже-м ти тежененька!
Ой не так дворонькови,
як своему батенькови . . .
31. Діставлю вам, діставлю,
стеженьку до кирниці,
що-м ходила водниці,
слёзоньки по столови,
слідоньки по дворови.
32. Ой стеле ми сі стеле
довкола двора хмельом,
а по сінюх барвінок,
по світлоньці васильок;
по столу повноньками,
по-за стів дівоньками.

Входячи в хату, молода каже: добрий вечер! и витає ся
чис всіма коровайничками. Віттак коровайниці забирають ся
до короваю, а тая, що місит тісто на коровай, співає:

33. Я коровайничка була,
я коровай місила —
трохи-м сі не вдушила;
а ви сі догадайте:
міні горівки дайте.

Замісине тісто, „плескают“ и саджают в піч, співаючи:
Благослови, Боженьку,
и ти, рідний батеньку,

свіга Пречиста мати,
що вступила до хати;
що вступила до хати,
короваец плескати.

34. Короваю-короваєньку,
ой вдай же сі нам красний,
як місиченько ясний;
бо підеш межі люди:
наші славонька буде!
Будь, короваю, румений,
бо підеш межі панни:
під злоту магеречку,
під мальовану хустечку.
35. Коровайная пара
по припічку сі грала,
в пец загледала:
ци хороше місце, мала
ци хорошов місце
де має коровай сістн.
36. Ой знаю-ж бо я знаю,
що в нашім короваю:
а в нашім короваю —
водиці из Дунаю.
37. До бору, дружбонько, до бору,
рубай сосноньку до дому:
треба нам сосноньки на загніт —
славний наш коровай на весь світ.
38. Наші двері походящі,
а вікна світлущі;
а пец сі регоче,
бо короваю хоче;
н кацюба сі реготала,
бо пец вимітала;
н помело сі реготало,
бо пец вимітало.

39. Ой де сі діла, де сі поділа,
матінька зо світловьки?
Ой най гїде, ой най принесе
водиці й-а с кирниці:
най си обмиют, най си обмиют
коровайнички руки.

Всадивши коровай в піч, чіпают ся коровайниці лопати
и скачут по сінях гей навіджені, роздаючи навколо коцюбою
штуханці, хто їм лишень під руки навине ся. Вискакавши-сь
та погарцювавши до волі, співають:

40. Дали сте нам роботу,
дайте-ж нам и вохоту;
далисте нам руки вмити —
дайте й горівки пити:
а ще якої — не гиркої,
но солодкої.

Господиня приносить горівку підправлену медом и ча-
стує коровайниць. Окрім того дістає ся кождїй по одній
„гусці“, т. є. по малому хлібцеви з муки коровайної. Тут кін-
чит ся їх роля и вони сидят вже тихо — між тим як моло-
дїж танцює — аж коли їх запросят до вечері, починают
знов співати:

41. Дали нам з замку знати
о городоньку вісти:
несут нам істи;
с перціми-шифринами,
дорогими приправами:
ци с перцьом, не с перцьом,
аби зо щирим серцьом!

42. Післали смо вчора
по перец ді Львова,
а по Ямбір до Гданьска:
буде вечері паньска.

Але принесених страв не рухають ино чекают, аж їх
припросят:

43. Ой гідно-ж бо нам, гідно,
що батенька не видно:

ой дали нам їсти-пити —
нема кому припросити.

Господар приходит и припрошує: „вашéці прошу, поживіт сі!“ Но вони и темер вще не зачинають „живити ся“, але прикликують, співаючи ту саму пісню, „матіньку“, кнегненьку, старостоньку и т. д. и аж всі їх припросят та принукають, стають їсти, передражняючи-сь з дівками:

44. Загледали дівоньки
а с сіний до світлоньки;
ми си ту заробили,
бисмо сі поживили.
Не загледайте по-за двері,
не псуйте нам вечері!

(По вечері:)

45. Встаньте, жоночки, встаньте,
честь Богу, хвалу здайте!
Подекуйте господарови,
господиноньці й кнеггивноньці
за красний дар вечеру.

46. Ми вітти не підемо,
поки го*) не виймемо;
бо хто всадив, той вийме,
бо сі другий не прийме.
Хто сі буде приймати,
будемо позивати
до пані молоді,
бо ми служеньки єі.

Віттак идут виймати коровай, а молода „засаджує“ за стіл дівчат.

Межи тим у молодого вибирают ся старости с хорундим до княгині с подарунками. Їм приспівуют свахи:

47. Наказуван Івасенько
й-а своїх старостоньків:
ой не бавте сі довго,
а в тестенька мого,
вертайте сі борзо;

*) т. є. короваю.

подарунки роздайте,
до дому сі вертайте :
з віноньком зелененьким
и с фартушком біленьким.

Коли прийшли до молодої, співають їм дівки на зустрічу:

48. Ой летит-летит два старостоньки,
ой ідут-ідут два старостоньки,
Ой везут-везут трое подаре:
Перше подаре — чобітки на ніжки,
друге подаре — кований поясок,
третє подаре - тоненький рантушок.

Ввійшовши в хату и привітавши-сь, кладут на миску дари від князя: нові чоботи, підв'язані червоною китайкою и рантух (перемітку) и подають княгини, а хорунджий віддає колачі, котрі роздають ся по парі на всю родину. Мати-ж княгинина приносить яко дарунок для молодого: сорочку, що єї сама молода шила — вишивала, фартушок и вінок, подає свому старості, а сей положивши на миску віддає старостам князевим. Окрім того дає молода для братів молодого („дівірів“) по дві мірі полотна, а для сестер („зовиць“) по хустці.

В часі єї заміни дарунків співають:

49. Ой до нас, Боже, до нас,
бо в нас тепер гаразд:
в нас тепер дари дають
житнії пшенишні,
щобн бул велнчній.

50. Що-ж бо ти, Марусенько,
вчинила,
що ти той рубочок
приймила? . .
Ой гой-же, гой-же мій милий Боже,
що-ж бо я учинила? —
Ой кого-ж бо я вірие любила,
той стоїт за плечима;
а Івасенька з-роду не знала —
и єму кошуленьку вшила.

Дружка пришиває старостам и бояриновн (хорунджому) до шапок віночки, за котрі їй платят аж на другий вечер; для дружби и піддружбого передає віночки через хорунджого, щоби їм сваха дома пришила. Дівчата співають:

51. Дай, матінко, говки
и тоненької шовки
пришивати віночки
старостам до шипочки.
Шипочка сторогачка,
готуй, старосто, шустачка;
не шустачка, а всі гроші
та за той вінок хороший.

(Так само хорунджому).

52. Фалила сі кнегні,
же дарів повна скрині:
підіте, принесіте,
боярів прикрасіте!

53. Перебачий, родоньку,
що не стало дарунку:
пшениці дорогая,
а міронька скупая.

Коли старости засіли за стіл:

54. Здригнули сі стіни,
де старостоньки сіли;
а ще ліпше сдригнут сі,
як старости напют сі.

Випивши могорич, старости вечеряют, а їм дівчата при-
співують:

55. Ідьте, старости, пийте,
веселенькіі будьте;
веселі-веселенькі,
як в небі янгеленькі.

56. Ідьте, старости, юшку,
свгайте по петрушку;
петрушка с корінцема:
досвгайте пальцема.

Ідьте, старости, сухий сир,
а ми будемо горобці,
щоби нас любили молодці.

57. Ой хто, хто вечере?

Старостоньки вечернют:
під вінцьом, барвінцьом,
під кудеривим деревцьом,
під зелененьким явірцьом.

Ім кухароньки доношуют,
іх красенько припрошуют:
під вінцьом, барвінцьом,
під кудеривим деревцьом,
під зелененьким явірцьом.

58. Или старости, или,
цілого вола звіли:
на столі ні шкірочки,
під столом ні кісточки.
Цілого вола вбили,
для старостів зварили;
ще й барана рогатого
и когута косматого.
Бійте сі, старости, Бога:
було сі наїсти в дома! . .

По вечери:

59. Ой встань, старосто, не сиди,
возьми кнєгнню проведи,
а як не зможеш, найми си —
а на той час постав сі!

Одси староста бере кнєгнню и танцює з нею, а віттак другий; але молода танцюючи, зачинає „кривати“ (налягати на ногу). Староста став и, дивуючи-сь, допитує ся, звичайно с-польска, що їй таке? Дівки регочучи-сь вигадуют всякі придибашки та загалюкавши старосту, що він відав не вмів танцювати, прикликують хорунджого: „Ой встань, візнице, не сиди“, и т. д. (п. 59.) Коли „візниця“ (хорунджий) танцює, співають:

69. Вийди, старосто, на підсінько,
ой подиви сі на місіченько.

Місіць високо, ще день далеко:
забав сі, старостонько!

Колиж хорунджий перестав танцювати:

61. Вийди, старосто, на підсіненько,
ой подиви сі на місіченько:
місіць низенько, вже день близенько —
чис до дом, старостоньки!

62. Молодий дружбонько,
засвіти ліхтароньку,
випровадь старостоньків! . .

Тогди старости берут дари, що дістали від молоді та повертают до молодого. Ім свахи (молодого) співають на зустріч:

63. Ой де-ж бо ви, два соколоньки, бували?
Ой де-ж бо ви, сивсенькіі бували?

Старости:

Ой бували смо на сивсеньких возерах.

Свахи:

Ой що-ж бо ви, два соколоньки, видали?

Старости:

Ой видали смо сіру утоньку на воді.

Свахи:

Чому-ж бо ви її, сивсенькіі, не взяли?

Старости:

Як полетимо за другим разом, возьмемо.

Свахи:

Ой де-ж бо ви, два старостоньки, бували?

Ой де-ж бо ви, два статочненькі бували?

Старости:

Ой бувалисмо в красної Марусеньки за столом.

Свахи:

Чому-ж бо ви її, два старостоньки, не взяли?

Старости:

Ой як підемо за другим разом, возьмемо.

Посаг.

Коли відійшли старости молодого, ведуть свахи молоду до комори, вбирають їй в чоботи подаровані від молодого и пристроюють до посагу. За той час дівчата співають:

64. Ой де сі діла, де сі поділа,
Марусенька з вечера?
Положила ключі с кімнат идучи
в світлоньці на стolonьку;
а сама пішла свому батеньку
службоньку издавати:
„Чим же я тобі, а мій батеньку,
вірненько не служила?
Ой ци в ходоньку, ци в походоньку,
ци в прудкій роботоньці? . .
— Всім же ти мині, мов дитвонько,
вірненько нслужила:
ой як в ходоньку, так в походоньку,
так в прудкій роботоньці.“

С комори йде княгиня плачучи до хати, а за нею несе дружба коровай. Прийшовши до сіней, кладе дружба на порозі хустку та говорить тричи: „Отец и Син и Дух світій!“ почім княгиня переступає хустку и входить в хату. Староста веде її перед родичів, що сидят на ослоні (розумів ся, засланім чорним кожухом) и зачинає річ: „Стало дитв перед вами, як свічка перед образами; може воно вам в чім домовило, може вас в чім прогнівило“, и т. д., а кінчит прозьбою о благословенє. Княгиня кланяєсь тричи до ніг родичам, которі її за кождим разом благословлят. Віттак кланяє ся всій родині, а в конєць всім гостям — „близькому й далекому, малому й великому“.

Дівчата співають:

65. Припадали соколи
до камєнної гори:
припадай, Марусенько,
Батеньку до серденька . . .
66. Молода Марусенько,
стань собі на билиноньці,

подиви сі по родинноньці:
ци вся твоя родиннонька
близькая й далекая,
малая й великая? . .

67. По столу голуб скаче —
чось Марусенька плаче:
приїдь, приїдь, Івасеньку,
приголуб Марусеньку!
— Я її приголублю,
бо я її вірне люблю.
68. Марусенько, оберни сі,
всій родині поклони сі:
близькому й далекому,
малому й великому.
69. Чого, Марусенько, плачеш? . .
Чом си красоньку тратиш?
Коли ти не з любости —
не трать си молодости;
коли-с го не любила,
було му відповісти:
першими післоньками,
тихими словоньками.
— Не була-ж бо я в дома
на моїх заручинах:
в сусідоньки я була,
рушнички-м мережила, —
на матіньку-м сі здала —
сама-м не відповідала . . .
70. Перше-с ми казав, кленів листочку,
що не будеш падати —
а тепер падаш, земельку вкриваш:
тугу зимоньку чувш.
— Ой ци тугая, ци не тугая,
такн то не лігенько . . .
Перше-с казала, красна Марусенько,
що не будеш плакати —
а тепер плачеш тепер вмівавш:

лиху свекроху чуєш.
— Ой ци лихая, ци не лихая,
таки то не матінька . . .

Сироті п. 24. и:
71. Отвори, Боже,
ворота,
бо йде на посаг
сирота! . .

Коли молода всім перекляняла-сь, дружба „благословит
ся до старости“, мовлячи: „Пані старостуню, вашеці прошу
о благословеніє: аби завести за тисовий стів, и за ленні во-
бруси и за щенишний хліб и за зелене вино и за повні пов-
ночи!“

Староста: „Най Бог благословит!
Дружба: „И по-друге!“
Староста: „Най Бог благословит!“
Дружба: „И по-трете!“
Староста: Най Бог благословит!“

Віттак подає молодій кінець хустки и веде ві за стів,
причім гасит хусткою свічку, но зараз и назад засвічує.

Дівчата ладкають:

72. Ладо! Ладо! Брат сестроньку за стів веде;
Ладо! Ладо! ведучи її научне;
Ладо! Ладо! Будь, сестронько, розумненька;
Ладо! Ладо! Май свекорце за батенька.

Ладо! Ладо! Брат сестроньку за стів веде,
Ладо! Ладо! ведучи її научне;
Ладо! Ладо! Будь, сестронько, розумненька;
Ладо! Ладо! Май свекрошку за матіньку.

Ладо! Ладо! Брат сестроньку за стів веде,
Ладо! Ладо! ведучи її научне;
Ладо! Ладо! Будь, сестронько, розумненька;
Ладо! Ладо! Май дівіра за братінька.

Ладо! Ладо! Брат сестроньку за стів веде,
Ладо! Ладо! ведучи її научне;
Ладо! Ладо! Будь, сестронько, розумненька;
Ладо! Ладо! Май зовицю за сестроньку.

73. Ой мій любий батеньку,
засадив ти мене,
пий же тепер до мене:
с повною повнонькою,
с повною повнонькою,
з доброю доленькою! .

Отець приходит з величезною фляшкою горівки або пива и „пе до кнегині“, вона цюлює го в руку и доторкнувши-сь устами кнішка, ставит на столі. Вітак отець ві дарує, т. є. кладе через стіл на тарілку кілько-там грошей, а вона знов го цюлює в обі руки. Так само дарує ві мати и родина, а опісля всі гості. Дружба кожного даруючого честує горівкою або пивом, вигукуючи:

74. Натвгайте кіньми-волами,
даруйте панну молоду:
червоним золотом,
щистьом-здоровльом,
доброю долею!

Дружка ссипає даровані гроші в хустину, лишаючи на тарели лиш оден крейцар.

Дівчата співають:

75. Приступай, родоньку,
тисовому стolonьку,
даруйте кнегиненьку:
червоним золотом,
щистьом-здоровльом,
доброю доленькою!

76. Молодці гроші мають,
бо кнегиню даруют:
що посвгне в кишенью —
витвгне грошей жменью.

(Так само: „Панвники гроші мають“ и т. д.)

Коли гості не дуже кваплят ся дарувати:

77. Де сі дівки поділи? —
По смітю сі розсіли;
не хотє дарувати,
бо хотє сі гаразд мати.

Сироті:

78. Марусина матінка
перед милим Богом стоїт,
щире сі Богу молит:
„Пусти мене, Боженьку,
хмаронькою на село,
дрібним дощом на землю;
най же я сі подивлю
на своє дитягонько:
чи хорошенько вбране,
на посаг засаджене? . .
чи в віночку з барвіночку,
чи в своїм сукманочку?“ . .
І Боженько мовит:
„Най її Бог благословит!
Не треба-ж там тебе:
вбирут її без тебе
и в віночок з барвіночку
и в свою сукманочку“ . .

Як княгиню всі обдарували, востромлює дружба ніж у
коровай и, поблагословивши-сь до старости (як висше), крає:
в одну миску „на домашних“, в другу — „на сосіди“, при
співі дівчат:

79. Орали смо раницю,
сіяли смо пшеницю:
по горі, по долині,
щоби було всі родні.
80. Наш дружба коровай крає,
золотий ніжик має;
срібную тарілочку,
паненьську ручечку.
81. Рімно, дружбонько, рімно,
край короваец дрібно:
щоби го подробити,
роднну поділити.

По вечері дівчата ще дрібок танцюют та розходят сі
домів.

Подивім ся-же тепер, що діє ся в молодого
Старости, повернувши від молодої віддають принесені
подарунки матери князя. Віттак свахи вбирают молодого в
коморі на посаг, співаючи:

82. Світліт, зори, до комори,
де Івасуневі вбьори,
що Марусенька дала,
без старостів прислала.

83. Вбирай сі, Івасеньку,
в посажну кошуленьку:
мила кошуленька, мила,
що Марусенька вшила;
була би щє милішша,
коби була тонішша.

Убравши го в сорочку, оперізуют фартушком, а на
шапку закладают вінець. Віттак ведут го до хати на посаг,
співаючи:

84. Ой росточено-поволочено по сінбох,
а ще ми крашше лєнні вобруси по столу;
туда ми ншов красний Івасенько на посаг,
звідуючи сі, питаючи сі батенька:

„Ой від кого посаг постав, батеньку?“

— „Ой від Бога, від старих людей, дитетко“ . .

До хати вводят го с такими самими церемоніями, як
княгиню, а коли всім переклянив ся, зачавши від тата-мами,
засаджуют го за стіл до дарованя. В часі тих всіх обрядів
свахи співають по більшій части ті самі пісні цю у молод і.

Вінчанє.

В неділю рано молодий кланяє ся своїм родичам и отри-
мавши благословенє іде з боярами и старостами до молодої.
Тут родичі молодої сідают на ослоні (застелені чорним ко-
жухом), а старости приводят перед них молодята. Оден з них
починає довгу річ, котра кінчит ся словами: благословили-
сте під зелений вінець, благословіт же и під царский!“ Моло-
дята падают до ніг родичам, а свахи співають плачучи:

85. А в городеньку квіти —
ой кланейте сі, діти! . .

Квіти сі похилили,
діти сі поклонили . . .

(Коли одно з них сирота):

86. А в городеньку рожі —
благослови го (її) Боже;
благословіт го (її) люде,
бо батенько (матінька) не буде!

87. Летіли лебеді понад став,
вдарили крильцєма о воду,
збудили матіньку из гробу:
Ой встань, матінько, до суду,
виведи дитєтко до шлюбу!*)

(71.) Отвори, Боже,
ворота,
бо йде до шлюбу
сирота! . .

Коли молодята всім перекляняли ся, кропит їх мати «водицею» (священною водою) и виправляє до церкви. При шлюбі (по хвалі Божій) стелит дружка молодим під ноги рушник, під котрий кладе кілька крейцарів. По шлюбі идут оба весіля с своїми музиками, котрі чекали під церквою, до корчми. Тут погулявши де-що, идут гості молодої до дружки на друщини, а князеві до свахи на свашини.

Идучі на друщини співають:

88. Хто хоче дружечку вєсти,
тре**) її стеженьку вєсти:
мети, дружбо, полюю,
я піду за тобою.

89. Ой славна-славна
яблонька в городі;

*) Сеся сцена перед шлюбом буває дуже трогательна, так що звичайно всі присутні гості аж заносят ся від плачу, особливо ж коли старості вдаст ся промовити до чувства, або коли при благословеню нема рідних родителів. — Установа, брати шлюб в неділю, є так стара, що відступлене від неї уважалось до не давна за найбільшу кару. Я так, коли одній дівчині лат. обряду назначив єї парох шлюб на віторок, то такі підшла заводи, що годі єї було втихомирити. «Ой головонькож моя бідная! . . . То-ж для мене нещизливо и неділеньки вже нестало!» . . . ридала по всім селу.

**) — треба.

по чім же вона
так дуже славна?
— По червонім яблоньку,
— по широкім листоньку.

Ой славно-славна
дружечка в батенька;
по чім же вона
так дуже славна?
— По великім родоньку,
по богатім батеньку.

90. Варила дружечка пиріжки
тай завивала в три ріжки;
не с самим сиром, с крупами,
веди, дружбо, дружку до мами.

91. Наші дружечка, наші панночка
богатого батенька має:
трома бобрима, трома бобрима
подвіренько вмітає,
на праві руці, на праві руці
золотий перстінь має.
Идут до неї хлопці-молодці
перстінце купувати;
а вона-ж бо їм, молоденькая
ні дає ні продає —
ино свому дружбетонькови
великим даром дає.

По обіді потанцювавши дрібок, вертают від дружки до
молодої, авід свах до молодого, співаючи дорогою:

92. Радуй сі, матінонько —
взело шлюб дитетонько;
як едно так другов:
'же твої обидвов.

93. А ми в свашеньки були,
мід-горілоньку пили;
и зеленое вино,
и червоное пиво.

94. А в неділеньку рано
ягідки опадають;
журила сі Марусенька;
с ким я їх позбираю?
Просила би-м батенька:
Батеньку не до того —
до збираньєвка мого . . .

(Так само прикладають до „матіньки“ и „миленького“, котрий але відповідає:)

А мині до того:
до збираньєвка твого.

Переносити.

Пізно з вечера вибирає ся князь с своїми боярами по княгиню. Свахи вбирають два короваї: в оден встромлюють двійчасті, в другий трійчасті вилючки („ріски“), обвинені барвінком, на кінчиках по яблуці або колачу. Ті короваї несе дружба и піддружбій, а міхоніш“ (малий хлопець, звичайно син свахи) в пішві с подушки різанки, т. в. малі, круглобкові хлібці. Князь бере с собою два хліби.

Свахи співають:

95. Ой помаленьку, наш короленьку
с подвіри,
най сі на тебе а твій батенько
надиви;
най-же він тобі в Бога доленьки
випроси.

(23.) С ким мі, батеньку,
с ким мі, рідненький
по дівоньку вириджнеш?
— З Богом, дитетко,
з добрими людьми,
и зі всіма світими. . .

96. Ой де-ж ти сі, Івасеньку,
вибиравш,
що ти собі кониченька
сідлавш?

— Поїду я, батеньку,
в поділе,
на красній Марусеньки
подвіре:
там я собі дівоньку
полюбив,
там мені Господь Бог
присудив.

97. Соньньо сходи и грає,
Івасенько кониченька сідлав,
ого сі батенько питає:
Де ти сі Івасеньку, збиравш?
Вороного кониченька сідлавш?
— Поїду я, батеньку, в Люблину:
там я собі полюбив дівчину.

98. Ой не вий, вітре, в поле,
но повій по дорогах:
повій на короговцю, *)
най короговці бренит
най тещенька почув,
най же сі приготув:
на коні ставноньку,
на бояри світлоньку;
на коні воронії,
на бояри молодії.

Хорунджий випереджає похід весільний молодого и „дає знати“ до молодої, що йде „кнєзь“: за першим разом приходит до воріт и бе „короговцею“, віттак вертає назад и знов иде по раз другий на подвіре, даючи такий самий знак, а коли покаже ся с короговцею в сінях, засідают дівчата що до тепер гуляли, чим борше по-за стіл та стают співати:

99. Пташику снігорнику,
вилети в чисте поле:
ци ідут боярове?
— Ідут бояре, ідут,
напротив старостоньки;

*) Повзд аж короткого держака поприслиювані дзвінки и подзвінки, а на верхку хустка — отсе короговця, відзнака хорунджого.

а межн ними іде
мій завезаний світ:
завезав росу-косу,
відібрав мою красу. . .

100. А в лузі калинонька
білим цвітом зацвила.
Пішли їй дівки рвати,
не дала сі вломати.
Пішла Марусенька сама,
гільцю си виломала;
принесла до світлоньки
межн красні дівоньки,
поставила на столі
протнв красоньки свої,
питає сі батенька:
„ци буду я така,
як калинонька тая?“ . . .
— „Будеш, дитятко, будеш:
поки йно в мене будеш;
а як підеш від мене,
спаде красонька с тебе:
з личенька, з румвного,
с тіленька, з біленького“ . . .

101. Ишла Марусенька по воду
до камєнного броду;
ще й по воду не дійшла,
в поли ігроньку вчула,
до дому сі вернула;
строснула коновками,
сплеснула рученьками:
„Ой батеньку-душенько,
велика віна іде:
будут нас воювати,
мене с собою брати,
малую-молодую,
ягідку червону“ . . .
— Марусю, дитє моє
сховай сі до світлоньки,
межн красні дівоньки“ . . .

— „И там мене пізнають
по мої головоньці,
по росії косоньці:
бо всі дівоньки в косах
и в рутених віноньках;
йно моя росплетена,
барвінком обложена“ . . .

102. А в неділеньку рано
соненько сі купало;
купало сі, купало
на тихім Дунаєньку
при скрутім береженьку.
Его Марусенька ймала
тай сама в воду впала,
на батенька кликала:
Ой батеньку-душенько,
на-ж бо тобі рученьку;
та на-ж бо тобі вобі,
возьміт си мене с собов,
малую-молодую,
ягідку червоную.

103. Зеленая рутонька, дрібная —
ой не сиди, Марусенько сумная,
отвори кватироньку, погляни:
ци хорошиі Івасенько на кони?
Ой хорошиі-хорошенький над люди,
либонь же він, батеньку, мій буде . .

104. Зеленая рутонька, жовтий цвіт —
чомусь нема Івасенька довго в ніч;
післала бим післоньків — не смію,
писала бим листенько — не вмію;
пішла би я сама — бою сі:
бистрая річенька — втоплю сі.

105. Далеко чути, далеко славно,
що старостоньки ідут.
Без поле ідут —
на павоньки стріляют;

без село ідуть —
підпороньки рубають;
до села входить —
перепелоньки ймають;
до світлоньки входить —
шиночок не здоймають;
за стів сїдають —
з нами сї не витають.

106. Наші сваненьки з міста
з міськими колачима,
с красними молодцema.

Коли похід весільний князя перед воротами:

107. Ой батеньку-душенько,
замикай воротонька,
не впускай короленька,
красного Івасенька.
— Якже го не випустити,
коли сї вмів просити.

108. Що-ж то ми наїхало
повное подвіренько:
ци с села селяне?
ци з міста міщане?
Най-же будемо знати:
кому Марусеньку дати
малую-молодую,
ягідку червоную . . .

Прийшовши перед хату, співають свахи прихожі:

109. А в нашой свахи *)
пахне горівка с-під пахи . . .

Свої відповідають:

Ми-ж би сї сподівали,
жеби сте нам свої дали!

Прихожі:

Ми іхали понід гори —
відібрали лівізори **) . . .

*) т. є. матери княгині — **) — ревизори.

Свої:

Було добре сковати *),
лівізорам не дати.

110. Вийди, матінко, до нас
в кожусі пелехатім,
щоби був зеть богатий.
Стоїт зеть за вороги
на зеленій папороти,
на зетє мітіль мете
и дробен дощик иде.
Не ласкава тещенька . . .
на свого зетенька . . .

Мати виходит в кожусі оберненім на виворіт пелехами, з хлібом, могоричом и варехою. Привитавши-сь ис свахами, міняє з молодим хліб та дуи го варехою по чолі; коли-ж він хитрий та встигне ухопити вареху, та перекидає ві через хату. Тогди мати честує го, но він перший и другий килишок виливає по за себе, аж третий випиває.

Свахи співають:

111. Не пий, Івасеньку не пий молоденький
першого перепою;
бо в тім першім перепою —
трутизонька з водою . . .

Так само співають при другім перепою; при третім же:

- Ой пий, Івасеньку, ой пий молоденький,
той третій перепій,
бо в тім третім перепою —
дружинонька с тобою.

Коли мати почастивала всіх прихожих, виходит княгиня и переклянявши-сь всім, вертає назад на своє місце, а всі прихожі, зачавши від князя, идут ві дарувати. Як приходит черга на свашку, співають:

112. Покажіте нам свашку,
ми вам покажем дружку.
Наші дружечка красна
яко зоронька ясна:

*) == сковати.

в що, Богу хвалити,
дружбоньці полюбити.

Прихожі свахи, стоячи в сінях, звивають дівок, аби ся їм вступили:

113. Гайда, дівки, до дому:
парити свиням полову! . .

Але дівки не дають собою кунірувати, та відрізують:

(В)же-ж бо ми напарили —
перед свахи поставили . . .

Сли хорунджий не дуже квапит ся дівок скупляти, то в подібний спосіб передражують одні других дальше. Аж побачивши, що злим способом годі що вдіяти, зачинають свахи з иншого боку:

114. Дівоньки-пансионьки,
просимо вас красенько:
пустіте нас борзенько;
бо ми свахи з дороженьки,
боль-ж бо нас ноженьки.

Дівчата:

Ми-ж би сі вам вступили,
коби сте нас скупили.

Тогди хорунджий кладе на столі дві різанці, пробнті ножом, в середині с кількома крейцарами, и бе по столі короговоцею. Сли дівчата всніють короговоцю зловити, то не віддають, доки не викупит. Віттак зазирають с всіх боків до різанок, якни в них викуп? — але хрань Боже взяти в руки, бо то би значило, що приймили викуп. При тім співають:

115. Перші після прийшли,
не вміли говорити:
дайте їм золи пити! . . .
Скупіте, не дуріте,
клепачів не кладіте:
ми дівки — не смаркачі,
не беремо клепачів! . .

116. А наш хорунджий пелєхатий
бігав коло хати:

голова гонтьом побита,
борода сніпков пошита . . .
А наш хорунджий на двері —
очи му, як тарелі . . .

Хорунджий докладає кілька крейцарів и викуп прий-
має ся :

117. Тихая вода з брода —
же межи нами згода:
просимо вас сваненьки,
до нової світлоньки;
до тисового столу,
до Марусиного дому!

Тепер прикликують дружбу князевого, щоби скупив
дружбу княгининного, котрий засів коло неї та не припускає
князя.

118. Війди, дружбо, до хати
паненки привитати.
Ци смільности не мавш,
ци людскости не знавш? . .
Ой людскість бо я знаю —
но смільности не маю.

(12.) Нема дружби до хати,
пішов в солому спати;
а в яку? — в ячмінную;
а в чію? — в сусідную.

Свому дружбі:

119. Не дай сі, братіньку, здурити,
не дай си сестроньки взети:
в нас сестра дорогая,
коса її золотая.

По скупленю:

120. Татарин, братінько, татарин:
продав сестроньку за таляр;
русу ю косу за шустак,
румєне личенько таки й так . . .

Так само скупають одні других старости и музики, по-
чім домашнє весіля забирає ся на двір гуляти. Дівчата вихс-
дячи з за стола, співають:

121. Зробіте, дівки, славу:
зломіте свахам лаву . . .
Ходи, Маруненько, з нами,
не зіставляй сі з бабами!

Но княгиня з дружкою лишаєт ся на своїх сідалах.
Дружка ладкає:

122. Ладо! Ладо! Ладо! Гостеньки садіте:
Ладо! Ладо! Ладо! коло сваненьки старостонька:
Ладо! Ладо! Ладо! против дружечки дружбонька;
Ладо! Ладо! Ладо! коло Марусеньки Івасенько.

Князь лізе верх столом и сідає побіч княгині, що звичайно сидит на північнім кінці стола під образами. Коли всі посідали, приносить мати рушники для всіх весільних гостей. Староста княгинини бере по одному, підносить на палици д горі и говорить: „То є від Бога! — Просили тато й мама, молода и ми старости, єден и другий, вашеці просим на той дарунок!“ С сею промовою роздає всі рушники, а свахи співають:

123. Повідали нам люди,
що ту рано вставали,
на рушнички придали;
на рушнички біленькі,
на торочки тоненькі.

124. Ладо! Ладо!
Червоная калинонька
всі луженьки прикрасила
Ладо! Ладо!
червоними ягідками.
Ладо! Ладо!
Молодая Марусенька
всі бояри прикрасила.
Ладо! Ладо!
червоними китайками,
біленькими рушничками.

Коли всі рушники роздані, благословит ся“ дружка до старости (як висше) и накриває хусткою коровай. Свахи співають:

125. Зажурив сі дружбонька,
що дорога хустонька:
треба йти заробити,
хустоньку викупити.

Дружба, скупивши хустину, встромлює в коровай ніж але дружка в-млі ока вихоплює му и не дає краяти доки не викупит. Покрайний коровай роздають старости на всіх домашних и на сусіди. Свахи докладають до кожного кусника по одній різанці, співаючи:

126. Наш дружба коровай крає,
золотий ніжик має.
Подиви сі, дружо, за себе:
там твоя жінка іде,
семеро дітйй веде . . .
Прийшли діти с торбами,
весь коровай забрали . . .

По вечери виходят всі зза стола, ино дружка лишає ся. Аж як и сі дружба скупит, виходит и розбирає княгиню из всего дівоцкого строю, в якім до тепер ходила, та вложивши княгинин вінець собі на голову, співає:

127. Вклони ми сі, Марусенько низенько,
бо и тобі служила вірненько:
тобі хусточка и чопец,
мині стонжочка и вінец.

Княгиня ій кланяє ся и поцілювавши-сь обі танцюют. Віттак свахи завивають княгиню в перемітку и вона кланяє ся наперед родичам, потім всім гостям, просячи о благословенє. За нею кланяє ся так само молодий.

Свахи співають:

128. Смутіт сі кутн-лави:
йде Марусенька з нами;
смутіт сі и кутечки,
де стояли починачки.

129. Гоца, бояре, гоца!
Допоминайте сі коца:
будем в поли ночувати,
будемо сі накривати.

130. Ой же сонінько низько-низенько,
ой же-ж бо над модами:
вибирай же сі, красна Марусенько,
бо же поїдеш з нами!
— Ой як я маю, добрії люди,
з вами сі вибирати?
Не хоче мині а мій батенько
пару волоньків дати;
ані волоньків, ні коровоньки,
ні білої постілоньки.

131. Марусенько, сідай же з нами:
стоя коні, стоя вози —
юж ти той плач не поможе:
сідай же з нами!
— Як же я буду з вами сідала,
колим ще батеньку не дєкувала:
Dziękuje ci, a mój wojeze,
Mawys ze mno często gości,
a teraz nie będziesz.
Дєкую ти, моя матко,
ховала-с мі барзо гладко —
a teraz nie będziesz.

132. Сідай, Марусенько, з нами
на мальованії сани:
у нас гори золотії,
а травоньки шовковії,
а річеньки міднії.
Надлетіла зазуленька:
не слухай їх, Марусенько,
всюда-ж бо я облігала —
золотих гір не видала:
всюда гори каменії,
а річеньки воденії,
а травоньки зеленії.

Свахи и бояре забирают дрібніші річи, як зеркало, образи, дві мисці, дві ложці, два полумиски, терлицю, прясницю, тай више знадібе, котре й не входить в посаг княгинин та котре віттак на другий день назад приносят. Княгиня бере

Фляшку горівки з медом, миску печені и коровай. Князь з боярами вертає ся тричи зза воріт дякувати родичам молоді: „Дякуємо вам за честь, за хліб, за всё добре, за молошну кашу и за Н. Н. вашу!“ Дорогою співають розличні пісні „підскоцькі“, як ось :

133. Котили сі баривки
з гори з горівками,
журили сі богачі
бідними дівками.
Не журіт сі, богачі,
бідними дівками,
но журіт сі, богачі,
своїми синами.
134. Ой на що мі видаєте,
мої рідні тату,
ой ци я вам завадила
молоденька хату?
На що мене видавати,
мною сі журити,
коли мині ще подоба
дівкою ходити . . .
135. А я в свої мамуненьки
сама єдна була,
я по воду не ходила,
в саду вода була.
Я по воду не ходила,
я волів не пасла —
мене мати виховала,
щоби-м була красна.
Мене мати виховала:
в папір завивала;
за богача обіцяла —
а за діда дала . . .
136. И наісти сі я
и напیتی сі я,
до роботи не я:
бо мі болит голова;

бо-ж то моя голова,
и клопоту зазнала:
и зварити и спечи,
ще й сі дїтьми клопочи . . .

Прийшовши перед хату молодого:

137. Роствори, мати, хату:
ведемо ти пелехату;
роствори, мати, ліску:
ведемо ти невістку;
роствори, мати, скриню:
ведемо ти господиню;
до комори клюшницю,
на поле робітницю.

В хаті засідають за стіл, а молода гостит їх тим, що с собою принесла. По вечері ладят молодятам постіль, співаючи:

138. Сидит кіт на полиці
в червоній нагавиці:
витріщив оченета
на наші молодета . . .

По соломі, свате:
чис молодетам спати.

Почіпчуванє.

В понеділок рано свахи садовлят молоду на подушку, укладають волосє як молодици и вбирають в чіпець („почіпчуют“), співаючи:

139. **Понеділок не неділенька,
вже Марусі не дівонька . . .
Зрадливий понедівку:
зрадив єс нам дівку.
Ой що-ж бо ми наважили,
тов ми и зробили:
с пирога вареницю —
з Марусі молодицю.**

Тепер молода кланяє ся всім гостям, зачавши від родичів, а всі „витають“ єї грішми. Віттак завивають єї голову в перемітку и ведут на вивід.

По виводі несут бояре коровай до священика, а підхочені старости вигукують йдучи:

Ми до вгомосьці йдемо,
короваец несемо.

Відаючи коровай, мовит оден староста: „Просили тато й мама, пан молодий и пані молода и ми старости еден и другий на той дарунок!“

Придани.

С полудня спрешуют родичі молодої своєю родину, звичайно лишень жінок. Кожда приносить с собою могорич и ві („збір“) идут разом до молодого „в придани“, співаючи:

140. Слідом матінько, слідом,
горою-долиною
за свою дитиною
зі всьою родиною.
Ледом, родоньку, ледом,
в свахи горівка з медом:

141. Ой що-ж то за новинонька настала,
що сваненька по свою сваненьку прислала?
Післала вона четири коні, пятий віз,
и шостого візниченьку, щоб привіз.

142. Послухай же, сватоньку:
ци дуднит дороженька?
Дороженька дуднит,
роднионька іде.
Жеби сватонько знали,
що роднионька іде:
ставили би мости
с калинної трости,
гатили би гати
аж до самої хати.

143. Не лькай сі нас теще,
не багато нас йде ще:
трийцітеро и трое
на подвіренько твоє.

Перед хатою:

144. Вийди, Марусенько, вийди:
ци не мавш ту кривди?
— Я кривдоньки не маю,
роскоши не зазнаю . . .
Вийди, Марусенько, с хати
з нами сі привитати;
стань собі на помості,
привнтай свої гості!

(Домашні відповідають:)

Нема Марусеньки в дома —
пішла прати хусти
за качин капусти,
за кавалок дині:
буде з неї господині . . .

В хаті прибирають дружбу в платє жіноче та висилают до гостей замість молоді. Але свахи, доглупавши-сь, що оно чось не так, співають:

145. То не наші дитина,
то якась відміна*);

— — — — —
ми такої не мали,
ми вам такої не дали.

Регочучи-сь поштуркують тоту псевдо-молоду та роблят всякі витвари, доки не вийде „справедлива“ княгиня, котру витають грішми. Єсли не видати господині, то співають:

146. Ци ви нас не видите,
що ви до нас не вийдете?
Присилали сте люди:
най ту сваненька буде.

*) „Відміною“ називають дитину, котру рекою підкинула „богиня“. Така штука може ся „богнии“ ино тогди вдати, як дитина ще, не охрещена та не горит світло в хаті. Тогди то богиня підкрадає ся ид колісці, виймає дитину а нчотомість кладе свою и чин борше втікає. „Відміна“ тота буває дуже погана, розлізла, неваісна та дуже пняво росте. Хотієши єї позбути ся, кладут від корито и січут різками і богиня вчувши плач воєі дитини, приносить и покидає чужу, а свою бере. Оповідают, що оден чоловік такий відміні повабивав ид ігті тоненьких скалочок, а коли дітище за для страшеного болю здорово розрипілось, надлетіла як вітер ега мати (богиня) з заміняков дитинов та заверещала: „Нате вам ваше невидальце! — То я коло него ходила, гей коло якого паняти, а ви мос мучите гей ті звірюки!“ . . . Та за тим слов и вергла чужу дитину а свою ухопила тай зникла.

Газдиня виходит с хлѣбом и могоричком, привитавшись честув гостей и просит до хати. Приданці співають:

147. А в нашого свата
воріховая хата;
а лавки с прилавки
с червоної кітайки.

(При обіді:)

148. Марусина родина
дорогу втолочила,
бо істоньки носила;
істоньки носила,
хорошенько просила:
Іджте, родоньку, пийте,
весолі — веселенькі —
як в небі янгеленькі!

149. Заберіте си тов,
дайте нам що еншов;
дайте нам що еншов,
а що раз то ліпшов.

По обіді танцюють, а забираючи-сь домів, співають:

150. Ой мій любий збороньку,
збирай сі до домоньку:
'же вози ладовані,
'же коні футровані.

На другий день, в вівторок, идут ті самі „придани“ до молодого „по склянки“. Ім на зустріч співають:

151. Придани, приданчики,
по що ви приїхали:
ци хліба відіідати?
ци чести відпивати?
ци свата відвідати?

Приданчики:

Ні хліба відіідати,
ні чести відпивати —
но свата огледати.

Після обіду идут враз з родиною молодого до родичів молодой, співаючи тоті самі пісни и:

152. Ходи садівник по садоньковн,
вишні-черешні лічи:
вж бо мої всі черешенькя,
но єдиная стета.

Ходи батенько по нові світлоньці,
всю челядоньку лічи:
вж бо моя вся челядонька,
їно єдиную взето . . .

На кінець в середу приходит родина молодого до родичів молоді також „по склянки“ та доправивши собі добре, розходять ся всі „веселі-веселенькі“ домів и — кінець весіля. Тільки музиканти, збідовані и невиспані, марикують та кривдують собі, що було їм за багато охоти, а за мало заплати; сврипки буцім терликають:

„Ні їлїсмо, ні пиїлїсмо,
їносмо сі веселїли“ . . .

а бас своє гудит:

„А я казав, що так буде!“

Сесі обряди весільні враз с піснями списані перед 8 роками. Вже тогди деякі часті весіля, як словини друщини, свашини вийшли були в тій місцевості з звичаю, так що дотичні пісні не були вже в цілості знані молодшому поколіню, зістали записані з уст осіб старших віком. В останніх же літах обкровоно вще дужше первістний обряд весільний, на пр. понехано справляти весіля „на дві руки“, т. є. у молодого и в молоді, скасовано печенє короваю, дарованє рушниками, „прїдани“, а в кінець ціле весіле, розложено тут після стародавньої установи на пять днів, обмежено на оден день. Сама річ, що по тій причині більша часть пісень свадєбних мусїла віднасти, а в недалекій будучности пїйдут они відав цілком в непамять. Хърактистичною при тїм є та обстановка, що ініціятивя до касованя сїх обрядів виходїла завждно від батьків-господарів, — а найсильнїща опозиция підносїлася из сторони газдинь-жінок. И як нас з одної сторони тішит тотя радїстна проява, що наші селяне, відсуваючи поезїю на бік, зачинають більше до голови собі брати чотири головні операції арифметичні, так знов годї нам се во зло вмїяти

жінкам, що підносять свій голос за охороною старих „установ“. Вони бо, уважаючи себе *par excellence* хоронительками старини — що постановлена не ось-то від кого небудь, але „від Бога, від старих людей“ (п. 84.) та від многих сотень літ переходила мов найдорожший скарб від покоління на покоління, не втерючи ані крихти не своєї первісної краси. — уважають всяке порушене сеї народної святині яко найпоганіше святотатство. Тож хоч іх партія в сій нерівній борбі мусіла в кінці яко слабша піддати-сь своїм сильнішим противникам, то стало ся се лиш по вичерпаню всіх можливих средств оборонних та з висказом голосного протесту.

О скільки нам звісно, такий процес касованя народних обрядів відбуває ся в многих околицях нашого краю, почасти з иницијативи самогж таки народу, по части під напором властей, особливо духовної, так що первісну іх чистоту та повагу мож хіба еще подибати між народом, живучим в одали від більших міст, як в сторонах гірських. Чи причиною сеї прояви є дух нашого часу, проникнутого наскрізь грубим матеріалізмом та не сприяючого поезії, чи сумний упадок матеріальний нашого народа — над тим не гадаю тут застановляти-сь, а констатую лиш сеї факт в тій цілі, — щоб звернути на него увагу любителів народних утворів та спонукати іх до тим пильнішого записуваня, щоби колись не було за пізно та щоби віттак исторія не видала на нас острого засуду, що з нашої вини запропастили-сь та пійшли в безвісти на й-красші цвіти нашої народної музи.

М. Цар.



Oddíl český.

Předmluva.

Knihou touto chtěli jsme čtenářstvu podati ukázky všech slovanských jazyků; nemůžeme-li se, jakkoli vřele jsme si toho přáli, prokázati literárními příspěvky všech slovanských národností, omluviž nás nedostatek zástupců a tudíž i práci s některých stran. Přes to doufáme, že vydávající toto dílo přispěli jsme poněkud k poznání slovanských jazyků a k utužení duševní jednoty a vzájemnosti slovanské. Přijme-li se kniha tohoto směru laskavě a příznivě, bude snad lze učiniti ji ročníkem a, co schází, doplniti.

Putuj tedy, milá slovanská kniho, provázena jsouc vřelým naším přáním, do všech vlastí, v nichž pod větlemi rozložitého slovanského kmene zvuky slovanské hlaholí! Kéž se ti dostane téže přízně, jak velká jest láska, s kterou jsme Tě vyslali.

Svobodě.

Jsi jenom orla snem, jenž větrů divé říši
a letcům křídlatým v jich nespoutané výši —
o tolik volnějším než země otroci —
svou silou vévodí a krutou svémocí?

Jsi duší pralesů, kde vlk a šakal rádí,
kde smrt se s životem rve v pustém bezevládí,
kde hyne v temnotách, co slabé zrozeno,
a vpíjí slunka zář jen obrů temeno?

Jsi sopky výronem neb vlasatice kružbou,
či tvorstva souladem a lásky lásce službou?
Jsi bouře rozmarem a blesků svévolí,
či poutem nejsladším, jež blažíc zabolí?

Tak snadno skročená proč přeháš z lidstva davu
neb divá opájíš tak běsně jeho hlavu,
že sotva výkřik tvůj v noc robství zavane,
již ráno z reků tvých jsou tvoji katané!

A vůdce vojů tvých, jenž korouhev tvou zvedá,
hle zmámen vítězstvím sám na tvůj stolec sedá,
tvých svatých zákonů již znaven tajemstvím,
sám otrok přeludů, chce vlásti jmenem tvým

Kdy člověk velikán své tužby s tebou snoubí,
cožť mu v té rozkoši do trpaslíků zhouby?!
on mocně kol a kol svou vůli rozhostí
a drtí, násilník, sto lidských volností.

A proto pidimuž tvým jmenem rovnost blásá
a mní se velikým a soudný meč si pásá,
ba marně ženou jej tví obři v kouty zpět, —
hle střízlik zmudřelý, on podmanil si svět!

On na stráž postavil si spravedlnost slepou,
a spousty jejich ran tě k jeho slávě tepou!
on krotí, srovnává, že stejný trží vděk
i smělý zločinec i smělý pravdy rek.

Ó z nízkých temnic těch kdo po tvém dechu zízní,
jak malých lidí moc jej umně stíhá trýzní!
Přes srdce zlomená a rozsápanou česť —
ó sladká svobodo! tak slaviváš svůj vjezd.

Dav křičí: Na pranýř! a zákon: K popravišti!
A přece národy tě ždají na bojišti;
přec na život a smř rve tvého pouta kruh
i věstec, mučeník, i srdce žár i duch!

A volá po tobě přec lidstvo víc a více,
ač nikdo nezná tě a neuzřel tvé líce;
kdy, odkud zavítaš, ač nikdo netuší,
tvůj pablesk od věků všem září do duší.

Ty nejsi orla snem, tys lidstvo vírou sladkou,
a vzejdeš, zaplaneš i nad chudinkou chatkou, —
hoj, což tam za tebe se krve utrácí,
kde jarní bouře tvá tam v jihu burácí!

O zoře, svobodo, tak těžkou žertvou vznatá,
tam pobratimcům buď tvá výsosť věčně svata,
tam křídlem sprostěným až volně zavíráš,
tam budiž domov tvůj, tam pravdy tvojí říš!

Tam odhaliž svou tvář, ty dcero rekovnosti!
dej slabým ochranu, dej volnost velikosti,
jen podlost zahubiž! Tam vztyč svou korouhev,
tam, svatá hádanko, tam, svobodo, se zjev!

E. Krásnohorská.

Česká sláva.

Měla naše sláva
křídla pěkně zlatá,
na východ i západ
hrdě rozepjatá,
a když boží slunko
večer do tmy kleslo,
jejím křídlem z rána
do výše se vzneslo.

Naše česká sláva
na polet se dala,
nad matičkou Prahou
chvilku odpočala,
však tu v černé sítě
vrahové ji jali,
a sekerou zlatá
křídla usekali.

Od té doby smutna
ukrývá se v noci,
s komoleným křídlem
nemůže se zmoci,
hněv jí ňadro truje,
bolest pálá v oce,
jen že drobnou píseň
někdy zaštěboce.

Však ta drobná píseň
sotvy ohlas vzbudí,
hned jí černá závišť
protkne bílé hrudí,
z její skvoucí řízy
loktus sobě robí
a sandálkem nožky
dravý pařát zdobí.

Bože zhoj tu slávu
dávné síly prostou,

ať jí kosinečky
v prvá křídla vzrostou;
aby mohla vzletět
perut' nyní kusa
pro rameno Žižky
a hlavěnku Husa.

Adolf Heyduk.

Východ slunce.

V horách noc jsem probdil, hlavu mijel sen,
rád bych býval zvěděl jak se budí den,
ihned touha moje lesní cestou chvatí,
po jezerním břehu, horském po úpatí,
na temeno skály teplou nocí ven.

Sedím, odpočívám, rád jsem tomu byl,
že jsem mladé jitro jednou obelstil,
a juž do oblak se toužně oko noří,
kolem něhož zlatá obruba se tvoří,
jako u motýla světlý pláště pyl.

Zachvěl sebou oblak, jiskry vrhal výš,
jako plivník vzletný když opouští skryš,
až pojednou vzhůru zlaté proudy vrže,
jako roztrfštěný pramen skalní strže,
diamanty nešší v rusalčinu skryš.

Juž se oblak nítí rudým zápalem,
chvěje se a blýská vzhůru, tam i sem,
kolem z ryza zlata, uvnitř jako z krve,
balvany své mění zlaté na ostrve,
v šípy v nebe letší, padající v zem.

Rozmahá se oheň v dálný záru vzmach —
líce šedých strání změnily se v nach,
zdivené mé oko, oslepeno skorem,
zří jak nový svět se tvoří nad obzorem,
jako věčná píseň citu na vlnách.

Hle, teď ohněm zžhato údolí, a stráž
rubínovou čelkou zdobenou má skráž,
a z té čelky k zemi skvostná přší krása,
na listech i kvítí leskne se a jásá,
deštěm drobných perel zachvívá se pláž.

A zdívené oko vidí v nebi plát
purpurného slunce žhoncej majestát,
ejhle, zlatý koráb světům život nese,
ptactvo písně zpívá v pláni, luhu, lese:
Vítej, živiteli, na sto tisíckrát! —

Týž.

Bůh.

Hledáš Boha v temné kobě?
nehledej ho tam,
nemiluje cetky jako robě,
stoupající v chrám.

Nemiluje dusnou vůni,
bubnů vír a třesk,
mrtvou vodu v kropěnkové tůni,
pluvialů lesk.

Z jeho vůle hlavu skládá
v tlapy řvoucí lev,
na kolena koráb pouště padá,
roste perly zev.

Jeho dechem vzrůstá v nebi
nových světů dav,
z malých zrn se velké rodí chleby,
věčnost z lidských hlav.

Mnicem prostoru a času
pověčný je Bůh,
rouháním mu chlubících se hlasů
pohacený ruch.

Vyjdí ven kde život vzrůstá,
bují les a stráň,
a kde květtů vůně plná ústa
něhu dýší v pláň.

Kde se hrdá skála modlí,
zbožně šepce hvozď,
kde v dojemném velebení prodlí
v mechu skrytý drozd.

Kde písenku samorodou
skřivan nese výš,
třebas svatou neskropil se vodou
a nedělal kříž.

Kde hossana všecko pěje,
tam pospíchej sám,
tam dech boží v ústret tobě věje
tam jest jeho chrám.

Jitro viz, když jemu včele
zlatá plane zář,
jíž bůh zemi ze sna probuzelé
líbá sličnou tvář.

Týž.

Večer ve žních.

Červánků zbytek nad vesnicí visí
a s chvěním svoje růže v řece zhlíží,
v ruch těžkých kol se biče praskot mísí,
vůz poslední se zvolna ke vsi blíží.

Jak zvolna jede, nastlán vrchovatě,
až země tknou se splývající klasy,
jak jede, zdá se, že se houpá v zlatě,
a za ním smích a hovor mladé chasy.

Než vyjde měsíc — v úplňku dnes bude,
duch na chvílku se v moře snění pustí;
svou píseň kdes pod mezí cvrček hude
v kol ruch, v hlas lidský stále klasy šustí.

Ty klasy rty jsou, jimiž země praví:
Já z klínu svého rozdala vám všecko,
klas plný muž měl, žena plachtu trávy
a koukol s chrpou do kytice děcko.

Juž první vítr letí po strništi,
vás k ohni mnohá přiláká báj známá,
v mé hrudi bude klíčit jaro příští
a v nocích zimních v sněhu budu sama.

A pluh zas moje věrná prsa zraní
a zlaté síně klesne v moje rány,
já kletbu vaši změním v požehnání
a krev svou vtělím v krvavý mák planý.

V mých ňadrech síla rodná nevymizí,
jsem božství symbol v práci neuvavný,
já neptám se, kdo zasil, ni kdo sklízí,
v mé hrudi hárá stvoření žár dávný.

Mám ráda hlas, jímž orač potah řídí,
a necítím krok skotu odměřený,
vždyť stále vidím pot na čele lidí
a roje much u koní úst a pěny.“

Tak zdá se mi, že hovoří ty klasy,
jenž s vozu visí, jenž juž do vrat stoupá;
V tom vyšel měsíc plný bledé krásy
jak cestou vůz, on po mracích se houpá.

Zhaš' červánek. Stín za stínem se střídá
a měsíc blesk u cesty tlumem stromů,
kde stádo volů, jak je Homer vídal,
šlo krokem houpavým a těžkým domů.

Jar. Vrchlický.

Té, jež čítá Apokalypsu.

Na bílém člku jako v těžkém snění
jak v modlitbě má bílé ruce spjaty
a v černou propast, jež se pod ní pění,
v tmy posílá své duše paprsk zlatý.
Co vedlo tebe, drahé dítě snivé,
k té rmutné knize? co zříš na dně jejím
pro šťastné svoje mládí dovádivé?
Nač unášet těm chmurným ku peřejím
svou útlu duši, bílou holubici?
Či v hlubině té víc a víc se tmíci
zříš, kterak z bezdna život na tě zeje
a jeho klamy, vášně, beznaděje
ti šklebně kynou z oněch potvor směsi,
jež kdysi Jan nad Pathmu vídal tesy?
Či duše tvoje, kde pučí snů kvítí,
v níž chaos myšlenek a citů zraje,
jen tam příbuznou svoji sestru cítí,
své vzdechy s vřením tím by v jedno slila,
by čarovněji potom k práhu ráje
na křídle báje k pravdě vystoupila?
Kol tebe svět i příroda jen plesá:
tys na počátku jara a přec nyní
tvé skráně ona chmurná perut' stíní,
tys zabloudila do tmy toho lesa,
kam barvou květin, luzným zpěvem ptáka
nás kouzelnice, poesie, láká,
by všecku naděj k návratu nám vzala.
Já znám ten les. Chlad, lahoda a vůně
tě ovane, tam zlatem hoří skála,
smích dívčí zvoní z houštin smaragdových
a neviděna z dálky flétna stůně;
a tisíc cest se plete stále nových
před zrakem tvým, necitíš unavení,
jdeš dál a dál — a slunce zapadává.
Ty nevidíš, že vlhne rosou tráva,
že k vřesu letí noční motýl bílý;

ty neptáš se, kde jsou, jenž s tebou žili:
ty všecko máš — jen žádné navrácení!

O záchvěvy, o propasti, o snění!

Týž.

Mizící loď.

Já vídal často na pobřeží moře,
když spalo pod závojem těžké páry,
jak v zamlžené dálce na obzoru
se objevily lodě tmavé tvary.

Vod nekonečná pláň oněměla;
i vzduch kol tichý, bez hnutí a ruchu,
loď v obrysech se nad vodami chvěla
jak fantom, jako sen, jak koráb duchů.

Teď zdálo se, již již se přibližuje,
já plachet lemy žrel i stožár dlouhý;
však v tom se koráb obrací, zpět pluje
a čím dál mizí, tím víc v srdci touhy.

Jak obraz vdechnutý na mlhy clonu
a jako fantom, sen a koráb duchů
se mihal, chvěl a tratil v nebe sklonu
a rozplýval se v hustém, kalném vzduchu . . .

O štěstí, ty jsi rovno této lodi!
Jak často jevíš se nám v mhavé dáli!
Co k břehům našich tužeb tebe vodí,
bys prchlo zas, jak jsme tě uhlídali?

Jak přelud na poušti tvůj zjev nás klame;
cos jako zář se mihně nad vodami,
ve slzách našich paprsk tvůj se láme,
loď mizí v tmách — a my jsme opět sami.

Týž.

Na přívoze.

Napsal Josef Penížek.

Po dlouhých letech dostalo se mi opět jednou o prázdninách navštívit rodný kraj, mohl jsem opět v kruhu příbuzných po- byti po nějaký čas na místech, na nichž jsem zažil blaženou dobu svého mládí. Okolí mého rodiště S . . . bylo mi z oněch časů ještě povědomým, volil jsem tudíž, došel v jeho poblíž, cestu pěšky tím spíše, jelikož střídavá rozmanitost útvaru půdy slibo- vala cestovní půvab.

Srpnový večer kladl první stíny své nad doubravou, po je- jíž úzké stezce jsem sestupoval, chráněn lesním stínem před vedrem tou dobou ještě silným, rychlým krokem, abych ještě před úplným soumrakem dostihl S . . . , asi půl hodiny vzdá- leného, když však jsem došel okraje lesa, naskytl se zrakům mo- jim překrásný obraz, jehož půvab na chvíli zastavil mé kroky: vzpomněl jsem si, jak jsem tudy, když mi bylo asi deset let, po- sledně jel s otcem, „na druhou stranu“ jak se říká. Leč od těch čas vytratil se obraz na kraj tento dávno z mých upomínek, nyní zjevoval se mi půvab jeho, jakoby nikdy v mysl moji byl ne- vnikl. Přede mnou, za travnatou lučinou, valily se tiše sporé toho času toky neširokým řečištěm, jež doleji, stékající s mlýn- ského jezu, volně šuměly, až opodále, s jekotem se odrážejíce o kolmé téměř stěny nahoře olším a nízkou lesinou porostlých skal, zrakům mojim mizely. Sprovodiv očima poklidný tok řeky pohledl jsem na druhý břeh, čekaje, brzo-li kdo, zočiv mě, přijde mne přepravit na druhou stranu.

Došel jsem k vodě: zraky mé zabloudily v pravo, kde na úpatí nevysoké, povolně se sklánějící straně stál malý, smrky téměř obklíčený, chudobný domek. Níže bělel se štít rozsáhlého mlýna, v němž, jak se zdálo. všečen život vymřel. Klepot mlýn- ských kol, jenž mi jindy již z povzdálí zněl jako líbezná melodie, utichl; nebyloť v době zní ni meliva ni vody s dostatek.

Marně čekav, brzo-li konečně odněkud objeví se zrakům mojim spasná loďka, záhoukl jsem silně, až se hlas můj hlubokou doubravincou rozlehl. Po chvíli vykročil ze smrkoví muž, vsko- čil do loďky a za krátko byl u mne. Vstoupil jsem. Silnou paží odrážel muž loďku, jež lehounce rychlým pohybem čeřila říční vlny. Byl asi čtyřicátník plných, osmahlých tváří, s černým ha-

vraním vlasem, a přiklonil-li ke mně, zvědavě mě prohlížeje, obličej, spatřil jsem dvě tmavých očí, za nimiž ukrýval se oheň, prozrazující povahu čilou, popudlivou.

V prostřed řeky pohledl jsem opět dolů za plynoucím tokem, a zraky mé neodvratně utkvěly na jednom místě: nahoře, na žulové skále vypínal smutné své téměř černožlatý kříž, kol něhož do kola zdělán byl z prostých kamenů nízký plot.

„Nemohl byste mi, přítelinku, říci, proč ten kříž nahoře jest postaven?“ tázal jsem se ukazuje nahoru.

Nedůvěřivě pohledl na mě muž; na vrásků plném čele objevil se mrak násilně zdržovaného hněvu a okem zašlehl blesk, jehož jsem se téměř ulekl. Matně drže tyč v levici pravil mi: „A proč se tážete?“

„Myslil jsem, že snad někomu ze mlýna přihodilo se tam neštěstí, a že na památku toho kříž ten tam postaven.“

Trpký smích pohrál po slovech mých rtoma mého průvodčího. „Že mlýna?“ pravil mi přízvukem, neobyčejně znějícím, „ze mlýna! nikoliv, těm se nikdy nic nestane“. Po té pohledl plaše ke mlýnu, vrásky na čele náhle zmizely, celý obličej pokrýl se mrakem posmušlosti, a oko pozíralo zpola hněvem, zpola žalem na mě: zahledl jsem v oku tom lesklou slzu.

Veškerá bytost mužova byla mi hádankou, a když nyní odmlčev se pohledl nahoru, tam na vrchol žulové skály, na níž u prostřed nízké ohrady zdvihal se jako smutné znamení osamělý kříž, bloudily zraky mé od skály k mému průvodčímu, a nepocítený dosud soucit pobádal mě, bych zvyvěděl, co halí muže toho v neproniknutelnou roušku záhadnosti, bych dotázal se ho, proč asi zašlehl plamen hněvu z oka jeho a proč že zároveň líce jeho zakrylo se smutkem při pohledu na onen tajemný kříž.

„Tázal Jste se mne po onom kříži“, pravil po chvíli s vyjasněnou tváří a hlasem úplně klidným. „Odpusťte, že jsem Vám hned neodpověděl. Nikoli, kříž nestojí na památku nikoho ze mlýna, ale to Jste uhodl, stojí na smutnou upomínku — ale to jest vše, co Vám mohu říci“, přerušil se náhle, teprv nyní pozoruje, že se loď téměř ani nepohybuje, „jest to dlouhá, smutná událost, a Vy, jak vidím, spěcháte.“

Nevím, čím to bylo, že jsem mu musil odporovati. Nevýslovná touha pudila mě, bych zvěděl původ onoho kříže. Pohledl jsem k západu: obloha rděla se červánky, v nichž letní den

odumíral, stíny, jimiž blížící se noc umdlelou zemi zahalovala, se dloužily, ale já zůstal.

Dorazivše ku břehu vystoupili jsme. Zaplativ převozné vyslovil jsem ihned svoji prosbu, by mi událost, jež pojila se ku kříži vyprávěl, řka, že do blízkého S . . . dnes ještě lehce dojdu, načež odvětil: „Nuže tedy, nemáte-li na spěch a přijmete-li za vděk mémi slovy, milerád. Tam, na místě samém bude se snáze vyprávěti“, dodal pak vřele a podívav se ještě do domku vyšel po chvíli, načež jsme vykročili.

Bylo mi hned z počátku divno, proč se průvodčí můj zjevně vyhnul mlýnu, kudy byla cesta ku kříži mnohem kratší a snažší.

Čeho jsem se na cestě a na posvátném místě tom toho večera doslechl, znělo mi v duši jako elegický, osamělý ton, jehož žal pocituju ještě nyní, kdy tyto řádky vkládám jako němý list památky na rov, pod jehož krytkou v tvrdém lůně skály odpočívá srdce, jehož bys marně hledal pod zlatolesklým, šustícím hedvábem v lesklých síních hrdopyšných bohatců. Slychal jsem častěji výčitku, že téměř vše, co psáno, vymyšleno, nuž této výčitky není se mi báti.

I.

Každý ve vsi ji znal Nevyzdobila sice příroda Bětušky Převozníkovíc, jak jí říkali, běloruměným líčkem, ale snědý její obličej slušel k celé její pohyblivé bytosti, o níž svědčily také jiskrné zraky, stinnými brvami zkrývané, a leporostlá postava spojovala veškerý půvab její v ladný, poutavý celek. Každý ji znal, a objevila-li se, což se pravidelně dělo ve svátek, v S . . . nahoře před kostelními dveřmi mezi družkami svými, spočívaly zraky všech na ní: mnohá matka pomyslila si při tom, jaká by to pro syna její byla hospodyně, ale Bětuška byla chudá; neměla ničeho mimo polospadlou chalupu při břehu stojící, již měla zdědit po otci, kterému pomáhala převážeti. Věděliť ve vsi nahoře, jak dobře zastává Bětuška svoji záhy zesnulou matku, s jakou oddaností miluje svého otce, jemuž byla jediným dítětem a jedinou útěchou v životě, ale to pro hospodářství nestačilo. A tak hleděli na ni jedni závistivě, jiní milostně, a mladíci říkali, že úpal její očí okouzluje.

V S . . . jest posvícení. Otevřeným oknem hostince zaznívá hudba, v níž v mísí se pochvilně jasný zpěv mladíků, any děti na trávníku na návsi zaučují se v tanci neb naslouchají, počíná-li v přestávce zpěv.

V kole mezi tančícími viděti též Bětušku; radost je na ni pohlednouti, jak se točí: teď právě usmála se tak upřímně, že i tmavé oko jevilo odraz smíchu toho, pohledla-li svému tanečníku v modré jeho oko, nad nímž vysoké, jasné čelo se klenulo až ku plavým hladce na zad zčesaným vlasům.

„Vidíte tamto Převozníkovice s Toníkem podělavkářem“, pravila k sousedce své se nakloňujíc v koutě hovorná vesničanka. „Těm to sluší! Byl by to z nich párek, ona divoká jako na poustce, on tichý jako beruška, to prý bývá v manželství dobře, aspoň jedna strana povolí“.

„Jen povolí-li přivozník“, odvětila oslovená. „Pravda, nemá také nic mimo tu svoji boudu, Bětka s Toníkem mají se snad rádi, ale to jich neuživí. Starý by ovšem Bětce mohl dátí nějaký zlaták, kdyby jich nebyl vydal v soudu s mlynářem o přivoz. Soud ovšem vyhrál, ale peníze jsou ty tam, leč že za ně má záští na všechno, co je ze mlýna“.

V témž okamžiku otevřenými dveřmi vstoupil muž asi třia-dvacetiletý, silného vzrůstu, plných tváří, černých vlasů na zad sčechraných. Jiskrnýma zrakoma přehledl plaše kolo a stoje u dveří hledil si černé své kníry.

Všechny zraky obrátily se po příchozím, mnohé páry se zastavily, ba sama Běta zalekla se a brzy bledla brzy se rděla v Toníkově náručí.

„Chval každý duch hospodina“, počala po chvíli probírajíc se ze svého úděsu první sousedka, „toť jsem se ulekla, jakoby po mně smřf byla sahla. Kde pak se tu vzal mlynářů Ferda?“

„Což jsem Vám to neřekla paňmámo?“ odpověděla společnice, „vida, vida, jak člověk může zapomenout. Nu, než! Ferda tedy přišel včera domů. Jak jsem to uslyšela, umínila jsem si Vám to povědět a zapomněla jsem. Ano, hezký synáček, rač pán Bůh chránit.“

„A proč pak přišel domů?“

„Proč přišel domů? Protože už nemá kde být. Doklepal se svými studiemi. Věřte mi, mám dobré srdce, ale tomu mlynářovi to přeju. Podívejme se, chce míti ze syna „studirovaného“ syna sedláka, ne jako jsou naši. A synáček umí prý již hezky s hospodářstvím zacházet. Tatík musil jedno pole za druhým prodávat, aby měl čím zaplatit dluhy svého mazánka, který raději díval se prý do očí nezvedených slečinek, než do knihy. Když prý letos přešla mlynářů trpělivost a když se rozzlobil ztrá-

tou přívozu, vzal syna domů, jak jej do města před třemi roky dovezl, když tak slavně ho vzal ze studií“.

Sousedka dala se sama své ironii do smíchu.

„A co počne nyní?“ tázala se opět první.

„Co počne? Bude pokračovat otcí pomáhat od peněz“.

Tu přestala hudba. Příchozí pokročil do jizby blíže, směle, jakoby si ostatních, kteří udiveně zpola a zpola zvědavě pozírali na pyšného muže, ani nevšiml, postoupil na protější stranu, kde stál v koutě Toník s Bětuškou.

Ferdík se hluboce uklonil a pozdravil.

„Dobrý den, Bětuško“, pravil k dívce, jež byla se nyní pustila levice Toníkovy.

Oslovená celá se zarděla.

„Jaké to štěstí pro mě“, pokračoval Ferdík, „všude, kam první kroky namířím, setkávám se s Vámi“.

Bylať včera Bětuška jej okresní silnicí z města se vracejícího převážela. nevědouc na jisto, kdo to, neboť ho kolik roků již nebyla viděla. Všude kolem ní šeptalo se tak hlasitě, že toho sama doslechla: „Ferdík mlynářů“.

Po chvíli zazněla opět hudba, a než se Toník nadál, byla Bětuška s Ferdíkem v kole. Z modrých očí jeho nevyšlehl žádný hněv, ale srdce mu svíral nevyslovitelný bol. Nemoha snést pohledu, jak se Běta na svého tanečníka jen jen usmívá, ustoupil do pozadí, nespouštěje s tančících ani oka.

„Tohle aby tak viděl převozník, starý soudí se s mlynářem a jeho dcera s mlynářovým synem se přátelí“, počaly opět sousedky hovor, spatřivše jak mlynářův syn vždy blíže tiskne svoji tanečnici a jak tiše jí něco do ucha šepotá.

„Co tomu jen asi říká Toník, vidíte ho, tamhle stojí jako opařený“, odvětila druhá.

„Co by tomu říkal, pomyslí si, že chudý musí ustoupit“.

„Věřte mi, je mi ho líto, je to dobrák od kosti. Bojím se, že Běta ani neví, co Toník je. Mně aspoň byl by milejší než ten nadutý mlynářů ničema“, šepotala pařmáma.

„Hm, Vám, ale to víte děvčatům to lahodí, má-li kdo hladounký obličej a umí-li jim sladkými slovy lichotit, a to snad Toník neumí. Což ten Ferdík, ten je mazaný —“.

Další slova byla přerušena. Ferdík tančil s Bětou právě okolo.

Po celé odpůldne se mladý mlynář své tanečnice ani nespouštěl. Běta si ani Toníka nevšimla, ba zdálo se mu vždy, když šla kolem něho, jakoby mu navzdor více se usmívala.

Hostinská světlice počínala se halití v první stíny.

„Musím domů“, pravila Běta k Ferdíkovi, „otec mne již očekává“. Po těch slovech chtěla od něho odstoupiti.

„Zůstaňte ještě chvíli“, pravil prosebně mladík.

„Nemohu, nesmím“.

„Půjdu tedy s Vámi, smím-li“, odvětil usměvavě Ferdík.

Za krátko opustili hostinskou světnici. Nedlouho po tom odešel i Toník.

Téhož večera, Běta přivedla právě kozy, jež byla na krátko na stráních popasla, domů, zavolal přívozník dceru do světnice. Běta se hlasu otcova téměř ulekla, zněl tak tvrdě a úsečně, že úzkostlivě vešla.

Otec stál chvíli mlčky proti ní, pak počal: „Viděl jsem Tě dnes, když's šla pěšinou domů. Víš s kým Jsi šla? Vidíš dítě, kdybys šla s kýmkoliv, ani bych se ti o ničem nezmiňoval. Mlč, prosím Tě“, pravil vida, že mu chce dcera odmlouvat, „jest synem svého otce, a není jeho lepším. Jeho otec sahl hříšnou rukou po mém právu a oloupil mě skorem všeho těžce nastrádaného majetku, syn sám sahá po mém posledním, nejdražším majetku, po Tobě. Otcí jsem odpustil, ale syna bych musil prokleti a Tebe — — — Bětuško“, pravil klidně přerušiv se, „poslechni svého otce, střež se Ferdíka, vyhni se mu z daleka, varuj se ho z úcty ku svému otcí. Kdybys však neposlechla upřímného slova mého, věz, že i já pak nebudu míti sluchu ku Tvým slovům. Nyní víš, čím se máš řídit, teď jdi po své práci.“

Ani slova neodpověděvši odešla dcera. Otec pak dlouho ještě do noci zanášel se touto myšlenkou: viděl opět, že hrozí mu ze mlýna nebezpečí, jež chtěl od svého dítěte odvrátiti.

Ale brzy zapomněla Běta, co jí otec byl kladl na srdce, hned den na to setkala se, sbírajíc chrástí v lese, s Ferdíkem, a od těch čas scházivali se často bez vědomí otcova.

II.

Jednoho nedělního letního odpůldne oblekl převozník sváteční svůj kabát, aby proti zvyku svému vyšel. Venku krásně svítilo slunce, ale převozník neměl dnes pro přírodní půvaby ani zraku. Mlčky, se sklopenou hlavou, oddán svým smutným

myšlenkám, kráčet ku mlýnu. Kolik roků již nebyl vkročil na tuto cestu! Zařekl se, že nikdy do mlýna nevkročí, a dnes šel tam přec, nastoupil s těžkým srdcem krátkou, ale proň trnitou pouť v dům svého nepřítele, svého škůdce.

Zastal mlynáře v světnici samotna, jak si byl přál.

„Toť musí býti nějaká důležitá příčina, že pan soused nás svojí návštěvou poctil“, pravil mlynář podávaje příchozímu židli.

„Ano, důležitá záležitost mě sem vede“, odvětil převozník usedaje, „týká se našich dětí“.

„Našich dětí?“ tázal se kvapně a udiveně mlynář.

„Našich dětí. Víím, že jest to nemilé Vám, jako mně, ale věc se již stala. Abych Vás dlouho nenechával v nejistotě, sdělím Vám ihned příčinu svého příchodu krátkými slovy. Vašemu panu synovi zalíbilo se shlednouti na moji dceru. Věda předobře, jaký jest mezi oběma rozdíl, vystřehl jsem dítě své, ale marně. Lehkověrné děvče, sputivši se varující rady svého otce, dalo se přemluvití lichotivými řečmi a pyká nyní za svoji neposlušnost ztrátou svého-poctivého jména a —“.

„Nač mně toto povídáte?“ přerušil jej, ledově se tázaje, mlynář.

„Nejste Vy jeho otec? Nejsem já jejím otcem?“

„Co z toho?“

„Přišel jsem se Vás otázat, co míníte učiniti, abyste poklesk synův napravil“.

„Já? Co míním učiniti? Hahaha! otažte se mého syna, právě přichází“.

Z venku donikal do světnice vždy více blížící se veselý zpěv. Po chvíli otevřely se dvéře a jimi vešel Ferdík.

Zraku převozníkova neušlo, že se patrně zarazil jej zočiv.

„Náš nedaleký soused přeje si s Tebou mluvití“, pravil mlynář opouštěje světnici

„Jsem věru zvědav“, odvětil lehce se usmívaje syn.

„Netřeba nám býti zvědavým, víme-li již, co se nám sdělí. Není vám neznámo, že Jste s mojí dcerou již delší dobu v důvěrné známosti?“

„Já? v důvěrné známosti?“ ptal se oslovený cize.

„Ba víc. Nebudete snad, pane, chtítí upřáti, že má dcera Vámi přemlouvaná poklesla. Tážu se Vás nyní, jak chcete dceři me nezkalené její čisté, čestné jméno opět navrátiti?“

Hlas převozníkův zněl téměř plačtivě při těchto slovech. Směle pohlížel na mladíka, jenž proti němu stál, jakoby se ho slova pronesená ani netekla.

„Vaší dceři? Nechť dbá, ať ztracené jméno opět získá.“

„Vy se tedy zdráháte, vyhověti žádosti otce, jenž jedná pro čest kleslé své dcery? Vy nechcete setřítí skvrny, kteroužto Jste dítě mé pokalil? Věděl jsem, že slova má nenajdou u Vás ohlasu, vždyť jsem vcházel k lidem, kteří se neostýchají hříšnými rukama sahati po posledním, nejdražším majetku chudoby, po cti, a od těch lidí nyní odcházím.“

Chvějícím se hlasem pronesl slova ta, načež opustil kvapně světnici. Povolným krokem kráčel k svému domku. Čeho se to dočkal! Snížil se, zapřel se, jda prosit k svému nepříteli pro svoje neposlušné, kleslé dítě. Ale vždyť byla přec jeho dítětem! A oni budou se domýšleti, že k nim přišel, aby užil dceřina poklesku a jim ji vnutil . . .

Zastal dceru svoji, ana sedíc u okna šla.

„Dceruška doma?“ oslovil ji příkrě.

„Kde bych byla?“

„Kde bys byla? Jdi, pospěš, leť svému milanovi do svůdné náruči, aby tě odstrčil a odpudil, aby Tebou povrhl, aby Tě zapřel, jdi, ten je lepší než Tvůj otec!“

„Já Ti nerozumím otče.“

„Nechceš mi rozuměti a nechtělas. Když jsem Tě varoval: „střež se mlynářovic“, řekl jsem Ti, že kdybys neuposlechla hlasu mého, že i já pak nepopřeju sluchu slovům Tvým. Ty's mě oslyšela, já ohluchl pro Tebe také. Ty's pormoutila svého otce, Ty's hanou svojí pokalila i jeho neporušené jméno. Můžeš nyní žádati, aby hana ta dále zůstala na něm? Nikoli! Jdi k němu, klekni před ním a volej k němu, vztahujíc prosebně ruce: „Vyslyš mě, dítě mé jest též dítě Tvé“, on se Ti vysměje a odžene Tě od svého prahu řka, že Tebe nezná, že's mu byla jen ženou a nic více. Pak ale nevracej se k svému otci, ten Tebe také nezná, poněvadž Jsi ho také nechtěla znáti. Pak jdi a volej k lidem: kdo se ujme mne, kleslé, zavržené, zapuzené, a kdo ubohého dítěte mé hanby? Kdo?“

„Já“, zazněl pod okny v smrkoví jasný hlas.

Převozník sebou trhl a kvapně přistoupil k oknu, ale nikoho nebylo lze spatřiti.

Sotva venku zazněl hlas, vztyčila Běta kleslou hlavu, oko její jasně pozíralo k otci, jenž pronášel nad ní hromovým téměř hlasem kletbu svou. Zнала ten hlas; kdysi blaholival jí mile, ale smí se nyní k hlavu tomu hlásiti? . .

Tu vstoupil do světnice Toník podělavkářů. Byl se, puzen touhou, aby spatřil Bětu, již dlouho, dlouho nebyl viděl, přikradl mezi smrky pod okny a byl nepovolaným svědkem otcovy výhrůžky. Z málo slov poznal, oč jde, rychle byl odhodlán. V též okamžiku zapomněl na vše, čeho zakusil v poslední době od Běty, doznal, že ji může jen milovati, i kdyby ho nenáviděla, i když klesla . . .

„Já“, pravil ještě jednou vstoupiv.

Udiveně pohledl naň převozník. Běta zahanbena sklopila hlavu a odvrátila obličej.

„Odejdi“, pravil klidně k ní převozník, načež Běta zvolna, neosmělujíc se na příchozího pozdvihnouti zraků opustila světnici.

„Slyšel jsem vše“, počal Toník, předcházejce převozníka, „šel jsem právě do mlýna koupit odřezů ze špalků, když jsem Vás ušel přícházejícího ze mlýna. Bylo mi to nemálo podivno. Uschoval jsem se do smrkové, kdež jsem zaslechnuv Vaše slova, brzy se domyslíl příčiny, jež Vás vedla do mlýna, a spolu výsledku, s jakým se cesta Vaše potkala. Bylo mi dcery Vaší nesmírně líto a tím více, poněvadž ji — — — a tu jsem si myslil“, pravil zvolna a nasměle, „že bych ji s Vámi mohl opět smířiti, kdybych jí navrátil, čeho pozbyla, kdybych nahradil ztrátu, již se Vám odcizila. Nuže tedy, přijmete opět dceru svoji v otcovskou lásku, navrátím-li jí její čest a dám-li dítěti její své jméno, bude-li chtíti ona i Vy, bych byl jí mužem a otcem její dítěti?“

„Jakže, Vy byste chtěl?“ zvolal udivelě převozník.

„Jak jsem řekl“.

Otec ničeho neměl proti tomuto návrhu, a když dceři své po odchodu Toníkovi vypravoval, co se mu vše stalo ve mlýně, když vyličil nadutý pých mladého mlynáře a konečně lásky plné nabídnutí Toníkovo a posléze se tázal, chce-li býti jeho ženou před Bohem a před lidmi, tu klesla plačíc Běta otci kolem krku a hlasitě štkajíc prosila jej za odpuštění a volajíc: „Ten dobrák!“ — —

Od onoho dne nevyšla Běta více. Za krátký čas byl Toník její mužem a otcem její dítěte.

III.

Dvacet roků sklonilo se od těch čas do bezedného proudu věčnosti. Nahoře na vesnickém hřbitově dřímал již dávno starý převozník věčný sen vedle své nebožky. Dole na přívoze zaujal jeho místo Toník podělávkář, jemuž nyní v práci pomáhává statný syn Bětin. Lidé vidouce jej říkali si, že jest, jakoby mladému mlynáři z oka vypadl. Ale Toník miloval dítě ženy své jako vlastní. V rodinném klidu uplýval šťastným manželům rok za rokem. Na rumech staré stržené chaloupky zdvihala se nyní mezi větvemi vysokých smrků při vodě nová, úhledná.

Také ve mlýně udály se změny, na místě starého vystaven rozsáhlý nový: Ferdík, přejav po otci hospodářství, brzy dohospodařil, mlýn dán na buben a dražbou prodán. Krátce na to zmizel mladý mlynář, nikdo nevěděl kam.

Oživující jaro bylo již ovroubilo břehy říční svěžím zelením, na protějším břehu v doubravě rozlehal se veselý zpěv ptactva a zdola, silnou vodou hnán, klepotal vesele mlýn. Ale Bětuška — říkal jí Toník dosud tak, ačkoli byla lety již pokročila — netěšila se z návratu jara, vždyť mohlo ji oloupiti jediného syna. Konrád převozníků měl jíti letos k odvodu.

Starostlivě hleděl Toník na svoji ubledlou, posmušilou ženu; pozoroval, že v poslední době právě stala se přemýšlivou, že často do noci sedí a nepokojně spí, že bolně pohlíží na syna a vždy tiše, sotva slyšitelně povzdychne. Úzkostlivě i on pohlížel s tesklivostí rozhodné budoucnosti vstříc, ani se nedotazuje své ženy, proč že jest tak posmušilou, aby jí otázku svojí na novo neupozorňoval a nepormoutil.

A Běta? Kolikrát připadala jí hrozně černá myšlenka, kterou násilně zapuzovala: že otcové nikdy tak nepocítují jako matky a také tak dítek nemilují. Toník tedy netrpěl pro Konráda tolik úzkostí jak ona, a to tím spíše, vždyť jeho synem nebyl. Ztratil by v něm jen silného pomocníka v práci a nic více. Ale pomyslí-li, jak dosud projevoval Toník lásku k její dítěti, že jej miloval více než by mohl svoje vlastní dítě milovati, vzpomínala-li si, jak těšlivě jí domlouval, že ačkoliv nemají peněz, které by milerádi dali na výkup Konrádův, není ještě vše ztraceno, že sice Konrád statný hoch, ale proto ještě není odveden, tu si vyčítala, jak si mohla jen cos takového mysliti . . .

Den za dnem mijel rozmnožuje úzkost matčinou, vždy více blížil se čas k odvodu určený.

„Nestrachuj se, buď přec klidná“, pravil jí jednoho dne Toník. Ona neodpověděla; odvrátivši obličej, aby neviděl slz, v oku se jí lesknoucích, pohlížela oknem ven na hladkou plochu šumící řeky. Kolikrát Konrád rychle přepravil se přes její tok! S jakým zálibením pohlížela naň vždy, když statným ramenem lodku odrážel. A nyní pohledu toho nebude jí dlouho dopřáno

V neděli ráno před odvodem našli Toníka pod skalou, s jejíž příkré výše se byl svrhl, zabitého: tělo bylo silně pomhožděno, vlasy, dosud plavé, byly silně zakrváceny. Když mrtvola byla soudně prohlížena, nalezen u ní malý papír se slovy: „Své manželce: Synové vdov se k vojsku neodvádějí“.

Vesnický farář, muž ještě fanatický, odepřel samovrahu pohřbu a místa na hřbitově Vděčný a zachráněný syn pohřbil jej nahoře na skále.

* * *

Byl krásný letní večer. Stříbrozlaté světlo měsíční ozařovalo skálu, na níž jsme stáli; vedle mne pod travnatým rovem, v jehož čelo vděčnost nevlastního syna postavila v upomínku krásný kříž, v tvrdém lůně hostinné skály odpočívá dobré to srdce, jehož bys marně hledal pod šustícím, zlatolesklým hedvábnem v skvoucích se síních hrdopyšných bohatců; stál jsem tu se synem nevlastním tohoto dobráka, jenž mi události tyto, sdělené jemu matkou Bětuškou vyprávěl, zamyšlen na vrcholu skály: zdálo se mi, jakoby šumící koruny stromů kolem nás a proudící toky řeky pod náma tiše a tajuplně si vyprávěly o dobrém tom obětavém srdci.

Pohledl jsem na Konráda: stál tu, obraz svého otce, s rukama sepjatýma a s hlavou sklopenou. Věděl jsem nyní, proč převážíje mě pohledl na místo to zpola hněvem zpola se žalem, proč zjevně vyhnul se mlýnu. —

Bylo již pozdě, když jsem, doprovázen ještě Konrádem, stoupal po úzké cestě klidnou nocí nahoru k S . . . , jehož jsem za půl hodiny došel. Dlouho do noci tanul mi ještě na mysli obraz Konrádův.

Navraceje se po několika dnech touž cestou, vešel jsem do domku převozníkova. Žena skorem šedesátiletá mě vlídně uvítala: byla to Bětuška, žena Toníka podělavkáře a matka Konrádova.

Ze žalářů.

(Fantasie.)

Můj krok se plížil zmirajícím zvukem
po vylámané klenbě nádvoří,
kol ticho — temným, jednotvárným tlukem
v sklíčených nadrech srdce hovoří.

V květoucím šípku pod sesutým valem
pěnice v hnědé měkce procitá,
pod blánkou v očku zpola rozespalém
tisíce písní ranních rozkvítá.

Opřel jsem hlavu unavenou sněním
o vetšou pažbu staré studnice,
myšlenky hrály tajuplným chvěním,
jak v černé hloubi vlnek směsice.

Zadíval jsem se do dutiny prázdné,
jak v čarodějky oko skleněné —
v líc teplou sáhlo rámě smrti mrazné
a ledem spjalo čelo ruměnné.

Minulost dávná s vysměvavou tváří
se z černé tůně na vrch vyzvedla,
jak žena z bible hříšná ze Samaří
si u cisterny ke mně přisedla.

Sklíčená, bědná — v tváři zasmušilá,
jak blesku žeh, kdy líce ohromí, —
v uhaslém oku jiskra jedna zbyla:
bludička viny — zlého svědomí!

V uvadlých rysech, v zachvění rtů, v oku
pradávných vášní ruch jsem vyzvídal,
syn člověka jsem usedl jí k boku,
bych z hříchů těžkých ženu zpovídal.

Zahleděl jsem se v oko ženy tmavé,
v tu výheň zloby zhaslou, tajemnou,
a dlouhým řadem jako stíny hravé
vidiny chmurné táhly přede mnou.

I.

Matka.

V sluji, kde zraky věčná pálnoc klove,
kde shnilý pahýl v zemi plápolá,
opilý spánkem noční motýlové
zmatené reje vedou do kola.

V ohništi krbu chladném, bez plápolu,
jeu svadlé listí časem zakvílí,
když dujné vichry, zápasíce spolu,
v srřícený komín rety nachýlí.

Na loži tvrdém žena sebou zmitá
v šleném reji snivých přízraků,
když polhne sebou, líce temnem svítá
jak blýskavice v sinném oblaku.

V objetí smrti potácí se žena . . .
tu divný sen své pásmo proměnil,
modravým žehem zaplanula stěna,
červánek plachý jizbu zruměnil.

A po zdi pluly v blankytavém jase
obrázky pestře duhou zlacené,
hlavinky děcké v kadeřavé kráse,
krůpějí slzy v líci zrosené.

Pozdvihá žena hlavu v polosnění,
zrak hoří clonou vlasů kosmatou,
kadeře děcké matka v rozechvění
vztýčenou chytá rukou kostnatou.

Po stěně vlhké do krve se ryje
v horečném chvatu prstů divý hlod,
na krbu zmirá vichrů melodie
a venku tichne bouře chorovod.

* * *

Paprslek matný skulinou se vplížil,
jak bledý motýl v klenby omšené,

sed' k lůžku ženy, bádavě se vhrfžil
v strhané oko, líce studené.

A uzřel na zdi, jak tam v krvi plauē
snů choré matky písmo klikaté,
unylé názvy děcka v stěnu psané,
jak lístky růže větrem rozvaté.

O dřímej sladce bēdná mučēnice
s tou žalůplnou podobou,
ač Kaina skvrna stíní tvoje líce,
tys v kámen schřadla s Niobou!

II.

Hekata.

V zákoutí plachý stín
sloupením mihá se,
žaláře ze hlubin
postava zdvihá se.

Zjev k slzám žalostný
ubohá vidina,
rubáše bělostná
ji clona upíná.

Tvář v trosky zřícená
je krásy svatyně,
z níž slzou zrosená
uprchla bohyně.

Kol nohy uvadlé
se koule kutálí,
a ruce uchřadlé
řetězy upjaly.

Na ňádro děsný hled —
kleštěmi zerváno —
růžový za nehet
sta jehel vbodáno — —

Když noci hvězdný šlář
jí zraky oslepi,
tu krysy nemá tvář
se plíží k otepi.

Když jitro vysvitá
nad sklepu doupaty --
zas kletba procitá
nad hlavou Hekaty!

III.

Sběh.

Upoutaný k zemi,
ku zdi přikovaný,
jako sokol k lovce
ruce uvázaný.

Mládí růměn zdobí,
líce dětsky svěží,
na čele však chmůra
nekonečná leží.

Oko v důlku hloubi
zvolna zapadává,
čelo bledé líbá
vichru četa hravá.

Zdá se mu, že kráčí
švárnou rodnou zemi,
jako volné ptáče
stromu haluzemi.

Zemi, jejíž hory
staré krasavice,
jimžto paprsk růží
líčí bledé líce.

Kde lavina chýžím
sněžný vrkoč snuje,
pod nímž v staré jizbě
bída podřimuje.

Kde kol staré báně
mrak se vije sivě,
korouhvičkou vítr
skřípá žalostivě.

Kde se dívka bledá
nad vřetenem chýlí,
slzou bez ustání
režné plátno bílí.

Kde louč smutně prská,
v krbu oheň chladne,
rozmarina v okně
usýchá a vadne.

Oko z důlků hloubi
divoce se poulí,
jak v podušku vězeň
v bídný cár se choulí.

IV.

Tribun lidu.

V okénku svlačec blankytný
ve zvonce rozkvítá
a kolem hlavy věžňovy
sít hebkou uplítá.

Na mříži kvítím vroubenou
se sklání žhavá skrání
a oko sinou zelení
se plíží v pustou pláň.

V poušť mrtvou, pusté nádvoří,
směsici kamení,
z níž echo, stráží líný krok,
zaléhá v sklepení.

Usíná echo . . . Líce plá
červánků korály,
tu na rtech vzdechů ševely
se v píseň rozhrály.

„Komonstvo krále klusalo
v práporu stínech ulicí
a kolem národ hymny pěl
v čarovných krojů směsici.

Z omšných věží zvučely
v hold steré zvonů jazyky
a hudby hřměly na pozdrav:
„Hossanah! César veliký!“

Na prsou třpytnou hvězdu měl,
ta hvězda plamenná
kdys byla z čela genia
národa stržená.

Herode! sděsí tvoji líc
té hvězdy duhojas,
až přijdou z dále proroci
u národ — Messias!

Tvůj brokát, jasný vévodo,
ve hrobcě spráchniví,
na hnízdo ptáčku sviže se
vlas hlavy šedivý.

Koruna tvoje z pozlátka
jen hnátům vévodí —
tvou lebku rolník vyorav
do pole zahodí!

Jen kapka vody deštivé
ji naplní, ji ovlaží,
to rosa z pláče národa
v žalářů zápraží!“

Umlkla píseň — ticho kol,
směsice kamení,
okénkem echo, stráží krok,
zaléhá v sklepení.

V.

Císař.

Byl jednou císař mocný pán
a vládce zemí spanilých,
ten divnou touhou kdys byl jat
projíždět kraje rabů svých.

Zavítal v města, dědiny,
neminul palác, bidnou chýž,
až křížem krážem probrázdil
celičkou zbožných předků říš.

Již k návratu se uchystal
král, slavní jeho komthuři
když příklusali znavení
pod chmárné náhle vězení.

Rezavým klíčem otevřel
skřípavá vrata do kořán,
šedivou hlavu k zemi až
skláněje, starý kastelán.

Pak vířilo to v starých zdech,
byl bujný ples a hostina,
až svorně pod stůl ulehli
císař i jeho družina.

Tu počal náhle divný sen
císaři kolem víček hrát,
zdálo se mu, že spočívá
v kamenném lůně kazamat.

Na hlavu voda tryskala
z vězení klenby dřavé,
až mozkiem starým k šílení
bolesti chvěly žeravé.

Ukován v bahně hluboko
hnout nemoh' nohou tenounkou,
a marně plašil krysy hlad
bezvládnou rukou, hebounkou.

Prudčeji krůpěj srčela
jak žhavé na skraň olovo,
vždy divěj vbodal ostrý zub
se v bílé tělo královo.

I práhnul žízni žhavý ret —
již lykal vlastní krve nach
a plakal, sténal, šílil král
v divokých sevřen hlubinách.

Tu náhle kapka svezla se
a ustál hlod i žízně pal,
byla to slza věžňova,
jenž nad ním v poutech lkál

— — — — —
— — — — —

Procitl císař — klusal dál,
ubledlý k smrti, zasmušen;
komthuři s hlavou svěšenou
snad měli také divný sen! —

* * *

Zdvihl jsem hlavu unavenou sněním
ze pažby vetché, staré studnice,
ve vzduchu skřivan ozýval se pěním
a v květném šípku mladá pěnice.

Otakar Mokřý.

Z bludné družiny.

Jde posud světem družina
rytířů bludných;
jim v klid nebije hodina
a s ostnem rodí vidina
i snů se sváděných.

„Kde má že touha zaklena,
ji musím míti!
O zde's má dívka vznešená,
já našel tě — však ztracena
zas musíš býti!“

Oř divoký je srdce mé,
cos v dál jej bodne,
cíl hledaný když najdeme; —
tak bídni, bludní jedeme
soudného do dne. —

J. V. Sládek.

Zasni.

Už zasni, ty červe v srdci mém,
hlodals tam leta, nocí i dnem,
což není ti pusto jak v rovu?

Prohlodals, rozhlodals každý můj sen,
zasni! než spučí zas jediný jen —
— pak začni znovu!

Týž.

Pochováno.

Pochována, zakopáno,
zavlečeno, zapomněno —
dítě už je oblečeno,
lůžko již je přichystáno,
jen se neboj je tam složit!

Ruce bílé, čelo chladné,
ústa němá, oči zašly;
byly krásné tak, než shasly —
a proč se ti ruce třásly?
— vždyť ses chtěla toho dožít.

Pochována, zakopáno;
naše láska je to dítě,
jen mi nikdy neplač skrytě —
zavlečeno, zapomněno;
— zde to stojí krví psáno.

Týž.

Addagio.

Je soumrak jarní v celé vlnadě,
je plný vůně, snů a tuch,
já vidím tebe sedět v sadě,
větřík ti duje v splítku stuh,
v čelo ti padá jabloňový stín
a v klín
ti zvadlý padá jabloňový květ.

Bez vlády ruka odpočívá
a do daleka tvůj se dívá hled
a jest, jak na večer když tůň se stmívá,
tak šerý, bolný — chladné jako led
se nad tebou to nebe rozepíná
a na tvém mrazném čele dohasíná
poslední štěstí sled.

Týž.

Svit' mi má hvězdičko.

Svit' mi, má hvězdičko,
svit' mi jen svit',
kde koliv kráčím
po tmavé dráze,

v práci a pláči
jde se to snáze,
když ty mi svítíš,
svít mi jen svít.

V světě má jediná
byla jsi ty,
v bouři a víru,
v života boji
kdos dal-li míru
té duši mojí,
v světě ta jediná
byla jsi ty.

Svíť jen, ať sebe výš'
nade mnou dlíš;
nad lidskou bídu
duše i těla
veď ty mne v klidu,
jaks to vždy chtěla,
až ve svou výš.

Týž.

Ty má domovino.

Ty, má domovino,
jedna mezi všemi,
zvou tě nejkrásnější
perlou ze sta zemí.

Ba že tys mi perla
velká, — pohozená,
jako jen kdy která
ze slávského moře — vylovená!

Ba že tys mi perla
sirá v světě dálném
a máš sestry jenom
v našem oku kalném.

Týž.

Skalní vrabec.

Jsem vrabec skalák, divný pták,
obývám skály holé,
v svět neletím, jen někdy zrak
můj rozhledne se v kole.
Kdy v svět mne druzi loudí,
již křížem v světě bloudí,
jich polituji
v své skalní sluji.

Mám zpěv svůj; kdys jsem družku měl,
však sklamala mne láska
a od té doby v srdci žel
a na mém čele vráska.
Má píseň je prý děsna
jak žalný výkřik ze sna —
a tak já zpívám,
kdy v svět se dívám.

Snad skála jen mi rozumí,
ta rodná šedá skála;
ač odpovědit neumí,
přec útěchu mi dala:
kdy v žilách krev se pění,
tu chladím na kameni
své horké líce —
a co chci více? . . .

Pavel Drahorád-Hradištský.

Chci žít!

Mně s stromu žití svěží zeleň klesla
a v oblohu ční suché větvice
tak úpěnlivě nebe prosíce,
by rosná vláha na ně již se snesla.

Však místo rosy — sníh jen padá na ně
a na mysl jak těsná tkanina

se šerá mha mi pevně upíná
a chorou bledost utkává mi v skráně.

Ač k hrobu třtina života se chýlí,
zrak ještě v touze tudy prodlívá
a slza skví se v oku zářivá — —
ach vždyť jsem ještě nedorazil k cíli! . . .

Týž.

V den srbské neodvislosti.

(22. srpna r. 1878.)

Ó šťastný národe! svůj velký světtš den,
do světa hřímáš, že jsi svoboden.
Ba jaké štěstí hrdou vztýčit šjí
a vidět, pod nohou jak okovy se svíjí,
a vidět, slunce svobody jak září,
tvou líbá volnou hruď i plamen pyšných tváří . . .

Bratrský národe! Zříš slzu v našem oku,
kdy plesáš roveň bohu — neodvislý;
ó nediv se! ne závisí srdce ve hluboku
vyhnala slzu tu — bratratru nezávidí.
Zrak náš dnes k temnu země svislý,
jak orel tvůj až nebes v praly vidí.
Proč rozdíl ten? Však vím, že nedivíš se, brate,
když slzu dnes zříš v oku našem tkvící:
i v štěstí svém máš k Čechům srdce vznaté
a víš, co vše chce naše slza říci! . . .

Antonín Koukl.

V plesu.

O smějte se! Ten zvonivý hlas rtíků
je hudbou rozkošnou a věru sluší Vám
jak rámě krásných tanečníků;

já v sloupení se ukrývám,
ač oko mé, jež blesku v žár se halí,

by mohlo povědět, co jsme si přísahali — —
že smích by utichl Vám v mžiku . . .

Aj tryaskly ze slasti Vám slzy zrozené
a smíchem planou dál Vám tváře rŭměnné,
a hle, i v oku mém juž slza vyklene
svŭj ovál perlový, bol známý srdce spíná —
což těžko povídat Vám, že to slza jiná,
že slza má je krví duše zraněné

Týž.

Památce Karlově.

Zda hymnus vítězný nadšení na peruti
přeletnul sirou zem od našich horských štítů
až v dálku cizinnou a vod přímořských k lemu?
či vzdechy plačících ve mocném, chvějném hnutí
jak orlích křidel šum se nesly ku blankytu,
by slzné krůpěje posměchu v diadému
vznítily znovu v žár?

To písně modlitby ze hrudi naší vděčné
se opět rozlily v zem, dálku, lesy, skály:
„Ó žehnán, žehnán buď!“ lřmí kraj zvučnými hlasy,
„a věrných dítek Svých zástupy nekonečné
zři okem laskavým a jejich příjmi chvály.
Tvých Uměn bujný sad hle, plod dal zlatoklasý
na roli dědičné!“

„Ó žehnán, žehnán buď!“ Tys temna v bludné stíny
pochodně metnul blesk tak posvátný a slunný,
jak v čirou mhavou noc třpyt hvězd své stříbro bílé.
A naši rodnou vlast jak břehy Palestíny
jas nový ozářil, v němž slávy příští runy
se květem tajily a život v dávné síle
nám synům bezčetným.

Jan Hudec.

Lesní pohádka.

V blankytě večerním hvězd pluje záře;
krásný tak, dojemný zdá se ten svět,
radosti úsměv plá z dětské mu tváře,
nadšením, veselím oddýchá ret.

Údolím do kola v měsítném svitu
sloní se keřů tlum, unylý vřes,
a stromy zmladlými v lesnatém skrytu
rusalek tají se zářivý ples.

Tajemné postavy v kolo se tlačí,
křepčících lehounký mihá se chvat,
a zase prchají mlád jako ptačí
metnouce do mechu bílý svůj šat.

A zvolna kloní se nad potok světlý,
hledí si do lící na jasný běl,
leknú jak chvějící na vodách zkvetlý
poprve kalich když v hlubině zřel.

Poznovu k sobě zas v šumu se blíží;
perlami posetý lesklý jich vlas
v prstěncích na prsa sněžná se hříží
a rosa droubounká ze stínu řas. —

„Přiskoč jen v objetí, dítě mé zlaté,
vmísíme do kola také svůj krok,
setřeme vzpomínky bolestí spjaté
se skrání bledých — nuž ručky jen v bok!

Nachyl se ve spěchu na hruď mou cele;
noční chór poletem než zmizí v dál,
slíbám Ti žalu stín ve chladném čele,
mrazný dech, který čas v mládí sen svál.

Ve chvíli krátké zas nad proudem žití
zasvitne radost nám jak slunný jas,
a tuchy hvězdami znovu se vznítí
plny tak zápalu, půvabů, krás!“

Týž.

O ráji.

Z bájesloví slovanského.

V myslí každého téměř národa zachovává se blahá upomínka na jakýsi přestátný věk, v kterém člověčenstvo bez namáhání a útrap žilo, oplývající vším, čeho potřebí jest k životu klidnému a blaženému. Tento věk dávné minulosti, jenž se obyčejně zlatým zove, představují si jednotliví národové dle své zvláštní národní individuality v rozličném světle a líčí jej takovými barvami, jaké se jejich povaze a přirozenosti nejživějšími býti zdají a obrazotvorností jejich nejpůvabněji lahodí. Jest tedy bájení o stavu tomto blaženém odleskem toho blaha a štěstí, jehož si národ, za nejvyšší je považuje, dosíci žádá a jehož dosažení za svůj životný úkol si vytkl. Neboť většina národův zakoušejíc v tomto pozemském putování trpkých strastí a běd, těší se blahou nadějí, že opět jednou onen zlatý věk žítí bude a za své útrapy, jež na zemi strádal, v něm hojně náhrady dojde.

Jest tudíž důležité pro poznání ducha národův seznámiti se přede vším s oněmi bájemi, v nichž se ona touha po nejvyšším blahu a štěstí zračí a názory o nejdokonalejším životě obrazně se vykládají. I hodláme krátkými jen rysy z národních písní, pověstí, přísloví a říkadel objasniti, jak si veliký národ Slovanův, jenž nad jiné národy čilou obrazivostí a jemnou vnímavostí vyniká, tento zlatý věk života představuje a jakými ozdobami vykráslil svůj ráj, v němž na prvopočátku blaženě žil a do něhož opět přijíti z celého srdce si žádá.

Ráj jest slovo prastarého původu jsouc všem slovanským nářečím společné; také lit. rojus, rum. raio, sansk. rāi, rā-ti = dáti tíž původ jeví, (srv. též naše z-rá-ti, z-ra-lý a arab. arai = paradis).

Jest lehce pochopitelné, že ráj, jak o něm nyní náš lid slovanský píše a bájí, není více výtvořem původním a ryze slovanským, nýbrž že přispůbil se po většině názorům učení křesťanského; Slované přidali k učení tomu, co se jich národní individualitě nejlépe hodilo. Můžeme tudíž pozorovati v jednotlivých názorech o ráji smětení pojmů biblických s národními, jež původem svým jsou ryze slovanské.

Rájem jmenuje lid slovanský nejen místo, kde na prvopočátku Adam a Eva žili úplného štěstí požívající, nýbrž i sídlo božstva a lidí dokonalými ctnostmi zářících.

Ráj představují si Slované jakož i jiní národové nahoře nad oblohou, což ovšem zcela přirozeno jest; neboť jasný lazur nebeský, jenž velebně se nad jejich hlavami klenul, úchvatnou silou a mocí působil na čilou obrazivost unášeje ducha jejich ve své čarovné sféry. Mimo to Slovanu-rolníkovi udělovaly výšiny ty hojných darů, jichž k zdaru své práce nevyhnutelně potřeboval. Po nebeském klenutí procházelo se Slunce se svým bratrem Měsícem, tamtéž bydlel třetí jich bratr Vítr; všichni tři pak blahodárně působili na hojnou úrodu. Z oblaků padal též občerstvující dešť a tichá rosička a mocný Perun vrhal odtud své jasné střely.

Avšak připamatovati dlužno, že činili staří jakýsi rozdíl mezi rájem a nebem, který není ovšem povždy přísně vytknut. Nebe bylo jim hlavně oblakové nebe, obloha nebeská, která ve svém nitru skrývala světlé nebe čili vlastní ráj. Mezi nebem oblakovým a vlastním rájem myslili si jakýsi křišťalový neb skleněný blankyt, o kterémž se v pověstech našich velmi často mluví co o skleněném vrchu neb o skleněném zámku. Slovenská pověst „Cesta k slunci“ vypravuje, že jeden král proto oslepl, že zpyšněl a že chtěl přirovnat se bohu a vystavit si dal „sklenuo nebo posiato diamantovými i zlatými hvězdami“. Toto oblakové nebe připodobňuje se často moři a proto pocestní v pohádkách hledající cesty k skleněnému vrchu putují často přes moře, přes něž je obr neb někdy i baba-čarodějnice převází. Týž názor o skleněném moři před vlastním rájem se rozprostírajícím shledáváme ve zjevení sv. Jana v 4. k. 6. v., kdež stojí psáno: „Bylo také před tím trůnem (božím v nebi) moře sklenné, podobné křišťálu.“ Rovněž v 15. k. 2. v.: „A viděl jsem jako moře sklenné smíšené s ohněm, a ty, kteříž svítězili nad tou šelmou a obrazem jejím a nad charakterem jejím i nad počtem jména jejího, ani stojí nad tím mořem sklenným, majíce harfy boží.“ Názoru tomu nasvědčuje i ten náhled, že daleko za horami a doly u samého moře jest kraj světa, kde se nebe se zemí stýká.

Vskutku byli pro nebe a pro ráj světlý zvláštní klíčníci ustanoveni; klíčníkem nebe byl sv. Ilija hromobijce. V srbské a podobné bulharské písni vyprosil si sv. Ilija od boha klíče od nebes a zavřel nebesa, aby nemohlo svítiti slunce, padati dešť a tichá rosička a váti vítr; bylif všichni svatí na lidstvo pro hříchy velmi rozhněvání a chtěli je takto potrestati. Klíčem nebes jmenuje se blesk a proto, když se zablesklo, bájilo se, že se nebe otvírá. Blesky tyto obdržel sv. Ilija, jak srbská píseň nám sděluje,

tehda, když dennice hvězda ženila jasného měsíce s bleskem oblakovým. Pán Bůh byl při této svatbě kumem, djevery sv. Petr a Pavel, starým svatem sv. Jan, vojevodou sv. Mikuláš a kočím sv. Ilija. Po svatbě rozdávala nevěsta dary:

Dade Bogu nebesne visine,
Svetom Petru Petrovske vručine,
A Jovanu leđa i snijega,
A Nikoli na vodi slobodu,
A Iliji munie i strijele.

Za klíčníka ráje vlastního vyhlašuje se vůbec sv. Petr; bulharská píseň vypravuje, že když svatí dělili se o důstojenství v nebesích, připadly hromy sv. Ilijovi, vody a brody sv. Nikolovi, křtiny, kumstvo a pobratimstvo sv. Janovi a klíče od ráje sv. Petrovi,

On da otvore i on da zatvore.

Kdežto v ráji světlém bydlí jen světlobozi a vůbec duchové čistí, prohánějí se po nebi oblakovém vedle duchův dobrých i čarodějníci, draci, zmajové, strygy a strygoni a jiní zlí duchové. Tak se pje v slovenské písní:

Děti, la, la, děti!
Černokňažnik letí,
V ohnivom oblaku
Sediaci na draku;
Beda tomu ľsu,
Kde ho krídla nesú!
Beda tomu mestu,
Kadiel vezme cestu,
Všecky vody skalí,
Celuo pole spálí.

Že se čarodějníci, zvláště když někoho pronásledují, proměňují v obláčky, toho doklady hojně podávají slov. pohádky (Šurina pan král a Otolienka). Starý Ježibabel letí na černém oblaku s bůrkou a ladovcem, div že všecku pšenicu nevydrvil, a po druhé zase na sivém oblaku se sněhem a zimou.

Poněvadž jest nebe oblakové také hlavním sídlem Rojenic či Sudiček, v jichž čele stála Zlatá Bába, bohyně porodu, proto poutníci v slov. pohádce o „Světské kráse“ dívají se na nebe, aby dle znaků, jež se tam ukazují, soudili, budeli děcko šťastlivé neb ne.

Světlý ráj naplněn jest všemi rozkošemi krásné přírody, jež lidu našemu lahodí. Přede vším jmenujou ráj překrásnou zahradou, kde slunko přejasně svítí, louka se stále zelená a studená rosička trávu omlazuje.

Vím já zahrádku, místečko krásné,
Svítil tam slunce převelmi jasné,
Pravda a víra, láska, pokora
Do té zahrádky dvěře odvírá.

V jiné moravské písni se pěje:

Šel pán Kristus do zahrady,
Tam na tu louku zelenou
A na rosičku studenou.
Naklonil svou svatou hlavu
Na studenou trávu.

Uprostřed louky rajské zrcadlí se čistá studánka, na louce
vyrůstají vzácné stromy a opodál šumí pěkný zelený háječek.

Česká píseň k P. Marii zní takto:

Byla tě studánka stavená,
Kalicem roubená,
Přebývala tam Panna Maria.

Moravská píseň zní opět:

Studynka rajská, moc andělská,
Andělé jdou zpívají,
Krista Pána hledají,
Našli tě ho našli na té rajské lóce,
On drží korunku v ruce.

V jiné moravské se pěje:

Aj vím já lúčku zelenú,
Na ní lindíčku sázenú,
Pod nů seděl David král,
Svaté písničky sobě hrál.
O radostná novina,
Přišla k němu Maria.

Aneb:

Vím hájíček pěkný zelený,
A v něm bydlejí svatí anděli.
Pod hájíčkem lúka zelená,
Kráčela po ní Panna Maria.

Podobně:

Stojí drevo oliva,
Na něm Pán Bůh odpočívá.

Ze srbské písne se dovídáme, že v středu ráje roste
ušlechtilá oliva se zlatými ratolestmi a stříbrným listím, pod níž
stojí pěkná postel vystlaná z libovonného kvítí zvláště z bosilka
a růží.

Raslo drvo sred raja
Plemenita dafina,
Plemenito rodila,
Zlatne grane spustila,
Lišće joj je srebrno;

Pod njom sveta postelja,
Svakog cveća nastrta,
Ponajviše bosiljka,
I rumene ružice.

Podobně v bulharské písni:

Do dovet vrati golemi,
Deseta vrata najmala,
Kraj mala vrata livada,
Vo livada-ta zelen bor,
Pod bor-ot studen kladenec,
Kraj kladenec-ot tarpeza,
Na tarpeza-ta 'si světi,
Na čelo světi Nikola,
Do nego světi Ilia,
Megju nich sestra Maria.

Rovněž zove se ráj štěpnicí, kde vzácné ovoce roste a libovonné květiny vykvítají. Když sv. Dorota vedena byla k smrti, odpověděla sv. Eliáš, jenž se jí otázel, kam se ubírá:

Do Kristové štěpnice
Budu trhat ovoce.
Budu trhat lilije
U panenky Marie.

I žádal jí sv. Eliáš, aby mu též poslala rajske ovoce, až natrhá.

Svatá hlava je stata,
Duše do nebe vzata.
Stojí mezi anděly,
Jako hvězda na nebi.
Přišlo s nebe díťatko,
Překrásné pacholátko.
Mělo košík na ruce,
A v něm krásné ovoce.
Eliáší důvěře,
Tu ti nesu ovoce
S nebeského jablunce.
Co ti sestra slíbila,
Dyž se na smrt strojila.

Zvláště modrým kvítím prokvétají zelené hory nebeské.

Když se hory zelenají,
S modrým kvítím prokvétají,
Matka Boží po nich chodí,
Hledající svého syna.

Že jest v ráji dosti zlata a stříbra, o tom poučuje nás počítání při volbě kráľky ve hře na krále v Plzeňsku:

Jeden, dva, traje,
Půjdem do ráje,
Co tam budem dělati?

Stříbro zlato lámati,
Komu je budete dávatí?
Císařovej dcerce
Na ty zlaté věnce.

Velmi často připomíná se v nár. pohádkách skleněný vrch neb zámek, symbol to rajskeho hradu (castellum), který se se vzdálí leskne jako slunce, jest hladký jako led a čistý jako oko. Také germanské pohádky znají tento skleněný vrch, ale vypravují o něm méně často a s menší jasností. Na samém vrchu rozechvívají se pak „konáry utěšeného stromu, čo mu na celom svetě páru niet.“ Obyčejnému smrtelníku nelze tam přijít, neboť jest vrch tento velmi kluzký, tak že by kočka, kdyby i měla, jak dí mor. pohádka, devadesatery devatery pazoury, si je odřela a přece by naň nevylezla. Lidé se tam dostávají jen pomocí dobrých duchův a čarodějů, často je tam těž vítr na svých křídlech zanáší. V mor. pohádce dal Větropán člověku, který se tam ubíral, šúlky (malé okrouhlé kaménky), ty přilepoval na sklo a po nich jako po schodech vystoupil nahoru. Podobně dostává v slovenské pohádce králeviě od Ježibabinyých synů halúšky (trhance z nudlového těsta) a pomocí těch dostal se podobně na skleněný vrch.

O krásách ráje nabudeme těž představy z líčení nového světa v slovenské pohádce o „ztraceném chlapci.“ „Po jizbě zavál teplý větríček a u prostřed jizby se hluboká propast otevřela, do které chlapec s děvčetem se spouštěli. Nový svět se jim před očima otevřel. Na pravé straně tekla zlatá řeka, na levé se zlaté vrchy ligotaly a na prostředku byla krásná zelená louka tisícero květinami okrášlená. Potom přišli k zlatému lesu; jak se k němu blížili, vylítlo z něho nevidané množství rozličného ptactva, krásně začalo zpívatí a mládenečka obletovati. Z toho zlatého lesa přišli do stříbrného a mezi stříbrné vrchy. Sotva že se tam přibližovali, vyběhlo z něho množství rozličných zvířat, jež k mládenečkovi se hrnula obskakujícíe ho radostně. A on každé pohladil a polaskal a s nimi rozmlouval. Načež vyšli zase na tento svět.“

V písni polské připodobňuje se rajský hrad kostelu, v kterémž se nalézají tři hroby sv. Jana, Pána Ježíše a P. Marie.

Czy widzisz święta Heleno Dniester głęboki,
A na tym Dniestrze kamien szeroki,
A na tym kameniu gora wysoka,
A na tej gorze drzewo zielone,
A z tego drzewa krzyże robione,
A i z tych krzyżów kościel stawiono;

A w tym kościele trzy groby leżą,
A w jednym grobie święty Jan leży,
A w drugim grobie Pan Jezus leży,
A w trzecim grobie Matka Najświętsza.

Podobně zní i píseň mor., jen že se místo kostela jmenuje pouze domeček na kopečku. Též píseň rusínsko-karpatská připodobňuje hrad rajský kostelu.

A u pana Iwana, ta na jeho dwori,
Stojało drewo tonke wysoke,
Tonke, wysoke, listom szyroke.
Iz toho drewa cerkowka rublena;
Na perszim prestoli: swiateje Rozdwo,
Na druhim prestoli: swiaty Wasyljy,
Na tretim prestoli: Iwan Krestytel.

Rovněž pje i koleda rusínsko-karpatská o kostelíku novém, nestaveném, v kterém jsou tři okénčka. V prvním okénku je jasné slunce, v druhém okénku jasný měsíc, v třetím okénku jasné červánky. Není to tam jasné slunce, je to bůh, není to tam jasný měsíc, je to boží syn, nejsou to tam červánky, jsou to boží dětičky.

Na rajský strom, o němž z čes. písni víme, že modrým kvítkem prokvétá, pamatuje nás velice rajský čili májový stromček, který se v Čechách na první den svatební ku závěrce svatčinného kvasu na stůl přinese. Na velikém okrouhlíku lipovém jest bábovka kulatá, v ní zabodnutý stromek trnitý s bodáky, pod stromem pak sedí ženská osoba dřímající a vedle ní stojí kolébka s nemluvnátkem. Na stromě zavěšeny slepičky, ptáci, jablčka, slivky, hrušky, třešně, mandle, fíky, rozinky, koláčky, perník, marcipán a jiné ještě plodiny, jež máti země podává. Rovněž nabodány jsou na stromku rozžaté svíčky z vosku bílé a červené. Když se zazpívala píseň: „Šel jest Pán Bůh šel do ráje atd.“ zatřese nevěsta stromem a svatebníci sbírají věci padající a uschovávají.

Přespanilý ráj byl původně sídlem všech světlobohův; dosud připomíná se často Slunce a Měsíc, kteří tam bydlí. V Haliči při pečení svatebního koláče, korovaj zvaného, se zpívá:

Swity misiaci u raju
Naszomu korowaju!
Aby byl korowaj krasnyj,
A jak sonieńko jasnij.

Též sídlo Perunovo jmenuje se za oblaky. Když ciganka očistila dítě nemajíc plenek korkami chleba.

Buoh Parom za oblakami
Uvidí to nahněvaný.
Tresk! zahrmlí jej do čela,
Ihned i s děckem zkameněla,
Že božieho daru chleba
Tak užila jak netreba.

Na místo světlobohův nastoupil ve věku křesťanském v ráji Bůh křesťanský s anděly a svatými. Život, jaký tam vedou, jest velmi šťastný a blažený, všech slastí, po nichž duše Slovanův touží, lze tam požívatí. Pán Bůh sedí na zlaté stoličce, v ruce drží zlatý bičéček a pomrskuje zlaté holóbky, až z nich peří lítá. Jindy zase čítá hvězdy a pokládá je na kraj světa. David král hraje na harfu svatě písničky, až se zelený háj rozléhá, rovněž i jiní nebeštané naplňují zbožnými melodiemi rajské lučiny a andělé zpívají překrásné písně.

V tom věčném ráji, kde starci hrají,
Andělé pekne písně zpívají.

Co Slovanům nejmilejšího, hudba a zpěv, tím naplněn v hojně míře ráj, ano i tanec tam neschází, jak ukazuje česká píseň:

Všichni svatí tancovali
Mezi nima Pánbu,
Svatý Petr vyskakoval,
Až se chytal trámu.

Těž sladkému spánku lze se tam oddati a líbezne sny snášejí se na víčka dřímajících.

Usnula, usnula
Ja Maria v ráji,
V ráji na kraji.
Uzdál se jí sníček
Z jejího srdečka,
Vyrůstá jí na něm
Krásná jablonečka.

Duše lidí zemřelých, které tam přicházejí, jsou ochotné od svých známých uvítány. Ihned posadí je na zlatou stoličce, přinesou jim studenou vodičku, ohnivé víno a nápoj srdce posilňující, aby se zotavily a líbezne s nimi rozmlouvaly.

Srbové pějou nad hrobem mrtvého takto :

I tebe će posaditi
U zlatnom svome stolu,
Pak će tebe prinijeti
Jeden imbrik ladne vode,
A u drugi rujna vina,
U trećemu kordijala,
Da im ljepše progovoriš,
Na pitanja odgovoriš ?

Když andělé nesouce na svých křídlech chudého Lazara dostali se k bráně rajske, zvolali:

Otvírejte nám vrata,
Nesem milého bratra.
Posaďte ho na lůně
Pánu Bohu na klíně,
Přineste mu stolici
A vínečka sklenici.
Nech se Lazar napije,
A nechať si odpočine.

K dušičce, když po dlouhém bloudění přece do ráje vzata jest, volají jiné:

Pojď dušičko, večerati,
Budeš s námi přebývati.

Smrt přišedši pro hospodáře, zve ho na hody k nebeskému otcí:

Pospěš a nemeškej,
Milý hospodáři,
Ty půjdeš na hody
K nebeskému otcí.

Ráj uvazl vůbec v mysli křesťanské co blahobyť i ve živo-
byťi, tak dí Rus:

Chozjain v domu, kak Adam v raju.

Blažený život v nebi způsobem humoristickým líčí nám
jedna hrvatská píseň:

Hodi, Janko, va nebo,
Onde ćeš imat dobro;
Onde ćeš dobro imat,
Ništár nečeš ti delat;
Konac bude oranju,
I težkomu kopanju;
Onde moraš taške jíst,
Ni ti trība kruha grizt;
Ni ti trība kopati,
Nego gvozdje zobati,
Moreš dobro vino pit,
A ni ga trība platit;
Vino curi kot voda
Iz Tokajskoga suda.
Kad tamo k jilu gredu,
Vsi ti hip hop zakričú.
Prepelic je pečenih,
Jarebic prelípih;
Kad im nosú zečínu,
Onda malo počínu;

Kad im nosú govedje,
Toga nikdor neče;
Kad im nosú gusinju,
Onde opet vsi kihnu;
Kad im nosú mastnicu,
Veaki bi rad sgrabil ju;
Kad jim nosú paštetu,
Oni nad njum trepečú;
Kad im nosú kopuna,
Tako 'e vríča jur puna.
Ovaj 'z stakla napija,
Drugi čabar ponuja.
Jedan angel farulja,
A onaj drugi duda,
A dva mi pak rajlaju,
Oni drugi tancaju,
Símo tamo skačeju,
I tako se raduju;
Bog jim daje krejcare,
Ča davadu va rajle.

Také snatky se v ráji odbyvají, jak nás o tom poučuje mor-
píseň:

A před rájem, rájem,
Před rajskými vraty,
Stojí tě tam stojí
Cypris malé dřevo,
A pod tým Cyprisem
Pěkný stůl okrúhlý,
Za tým stolem sedí
Pán Bůh s apoštoly.
A za něma stojí
Překrásný mládenec.
A za tým mláďencem
Překrásná panenka,
Zeptaj se jich Petře,
Co oni žádají?
A oni žádají
Svatého sobáše.
Sobaš ty jich Petře,
A já jich požehnám.

Celkem však nelze nijak vylíčiti slasti a blaha, jakého obyvatelé rajští požívají. Vhodně praví slovenská pohádka „Nebeská sláva,“ že „žáden člověk, čoby hned storáz múdrejší bol od nás, nevie povedať, ako se mu tam vodilo v tom nebi.“ Jedinký totiž syn bohatého pána nechtěl se dříve oženiti, dokud neuvidí nebeské slávy. Nemoha se toho nijak dočkati, odhodlal se přece se oženit; před samou svatbou na holých kolenách kleče modlil se Bohu, aby vyplnil jeho přání. Skutečně poslal proň Bůh starého človíčka a ten uvedl ho do nebe. Bylo mu tak dobře, že zapomněl na otce i na nevěstu i na všecko, co mu tu dobu milé bylo. Po každé hodině přišel Boží posel chtěje ho opět na zemi dovésti, ale on stále prosil, aby ještě aspoň hodinku v nebi zůstatí směl. Po třech hodinách konečně odebrali se opět na tento svět. Jak se tu onen mladík podivil, když vše změněno našel a nikoho poznati nemohl. Později teprvé poznal, že byl v nebi tři sta rokův a on se domníval, že tam byl jen tři hodiny. Tak rychle ubíhá čas v rajských radostech. Rovněž v mor. pohádce byla dívka, která se nechtěla vdávati, nýbrž až do hrobu panen-ský věnec zachovati, v nebi 1050 let, a jí zdál se ten čas býti jen jeden rok.

Tohoto rajskeho života byl prvotně účasten také člověk a sice Adam a Eva; avšak pro neposlušnost byli oba z ráje vyhnáni, strastem a trudem vezdejšího života vydáni. V duchu biblickém pje o tomto vyhnání prvních rodičů z ráje česká píseň:

Šel jest Pán Bůh šel do ráje,
Adam za ním poklekaje.
Když do prostřed přicházeli,
Pravil Pán Bůh k Adamovi:
„Se všech stromů požívejte,
S jednoho jen zanechejte,
Který stojí prostřed ráje,
Modrým kvítkem prokvětaje.“
Učinil se ďábel hadem,
Podved Evu i s Adamem.
Utrh jabko velmi prudce,
A podal je Evě v ruce.
Eva vzala, okusila,
S Adamem se rozdělila.
„Jez Adame, jez to jabko,
Což jest po něm velmi sladko!“
Tak se oba probřešili,
Z ráje ven vyhnáni byli.
Dal jim Pán Bůh po motyce,
A poslal je na vinice,
„Jděte, jděte a kopejte,
Chleba sobě dobývejte!“
Než se chleba dokopali,
Dost se oba naplakali.

V mnohém ohledu zajímavé jest polské přísloví, v němž se vykládá, jakým jazykem v ráji had, Eva, Bůh a anděl hovořili: Diabeł Ewę po włosku zwodził, Ewa Adama po czesku, bóg jich po niemiecku gromił, aniol zaś po węgiersku z raju wygnał.

Po vyhnání Adama a Evy z ráje musí každý člověk, který tam přebývatí chce, přede vším na tomto světě zemřítí; ani P. Maria nebyla této podmínky zbavena. Když se Kristus Pán do nebe ubíral, prosila ho Maria:

„Synáčku můj milý a já prosím tebe,
Rač mne s sebou vzítí do věčného nebe.“
„Nemůže, matičko, nemůže to býtí,
Ty musíš, matičko, na zemi umřítí.“

Druhou hlavní podmínkou, aby kdos do ráje přijítí mohl, jest ctnostný a bohumilý život na zemi. Sv. Petr nesmí nikomu rajských vrat otevřítí, kdo nebyl bohabojně živ, byť to byla i vlastní jeho matka. V srbské písni chce matka sv. Petra s ním zároveň do ráje vejítí, ale sv. Petr jí praví:

Vrať se natrag, moja majko,
Koliko si živovala,
Nisi raja dostajala:
Ni si gladnog naranila,
Ni žednoga napojila,
Nit 'si gola preodela,

Niti bosa preobula,
Nit se slepom udelila,
Ni za dušu namenila,
Veče jedno povesarce
Na troje si rasepila,
I triput si uzdanula:
„Jao moje povesarce!
Kuda ćeš se povlačiti,
Po brdina po dolina,
Po slepačkim torbetina!“

V podobných bulh. písních jiné hříchy se uvádějí, pro něž nemůže matka sv. Petra do nebes vejíti. V jedné vyčítá jí sv. Petr, že jsouc krčmařkou nedávala žebrákům čistého vína, nýbrž na polo s vodou smíšeného; že jsouc dětem „česnou kumou“ neobdarovala jich, jak to zvykem bylo, košílkou a oděvem. Ač měla mnoho lnu a konopí přece jen jednomu žebráku dala půl konopného pásma; dávajíc žebráku mouku přimíchala prý z polovice popel a k soli opět z polí písek přidávala. V jiné písni jí opět vyčítá, že nedávala almužny jen kůrku chleba tři neděle starou. Jsou to vesměs hříchy, jež se na almužnu vztahují; za to v písni srb., již slepci žebrajíce pějou, se hlásá, že almužna rajská vrata otvírá a duši místo uchystává na přestolu Kristově.

V jiné srb. písni uvádějí se tyto největší hříchy, pro něž nemohou duše do ráje vstoupiti.

Jedna duša griješna
Kuma na sud vodila,
Druga duša griješna
S komšijom se mrazila;
Treća duša najgrešnija
Devojku je skudila.

Rovněž v mor. písni vyčítá sv. Petr duši hříchy, pro něž jí brány rajské otevřítí nemůže.

Nedávala ona chudým,
Do kostela nechodila,
Na ofěry nedávala,
Pátočky se nepostila,
A svátečky nesvětila.

V písni polské se zase hněv na matku za těžký hřích pokládá.

Niebiosa się otworzyły,
Wszystkie dusze rade były,
Tyłko jedna smutna była,
Co się na matkę zamierzyla.
Gorze jeszcze zamierzenie,
Niżli kijem uderzenie.

Jak uderzysz, to się zgoi,
Zamierzysz się, serce boli.

Hrvatská píseň opět vypravuje, jaké pokání musí hříšník činiti, chceli přece do světlého ráje se dostat. P. Maria uložila hříšníku toto pokání:

Sedam deset sedam let
V ravnom polji klečati,
Tiho boga moliti.

Když sedmdesát sedm let uplynulo, přišla k němu opět P. Maria kázajíc mu povstati; ale on odvětil:

Kako bi se ja ustal,
Moje su se kolena
V črnoj zemlji zarasla:
A čez moje grlo je
Zelen borak pronikal;
A črna moja dva oka
Gustom mahom slípjena.
Kako je na noge stal,
Telo mu se rozpada,
Angel dušu popada
Ter ju nosi v svítli raj,
Kadí 'e otec s materom.

Podobného obsahu jest mor. pohádka o kajícím se zbojníkoví, kterouž Erben v překrásnou báseň „Záhořovo lože“ ustrojil.

Jako německá Valhöll a řecké Elysium není společným sídlem všech zemřelých, nýbrž jen vyvolených hrdinů, rovněž nejsou u Slovanů všechny duše v ráji, nýbrž jen duše stejnověrcův; jinověrci nepřicházejí do nebe, nýbrž jen na zelenou louku, která se před rájem rozprostírá, a o níž často lid náš mluví. Charakteristické jest, že do Valhölly dostati se mohou jen stateční bojovníci, u Řekův to závisí na přízni bohův, neboť sám Achilles putuje jen po asfodelové louce, kdežto u Slovanův činí se toliko rozdíl mezi stejnověrci a jinověrci. Blížší známosti o zelené louce dovídáme se ze srb. povídky. Před smrtí zjevil prorok Muhamed, že každého, kdo se mu bude klanět, v ráj uvede, zemře-li týž den jako on. Když Muhamed zemřel, ubili se mnozí Muhamedovci v Mekce, aby jen s prorokem do ráje vstoupiti mohli. S četným davem svých ctitelův přišel tedy Muhamed k rajským vratům, které byly zavřeny; Muhamed udeřil svým buzdovanem do vrat a vzkřikne: křesťane Petře! otevři vrata, abych se v ráji posaditi mohl na koberec, který pro mne hurisky utkaly. Ozve se mu sv. Petr a otáže se: kdo to, medle, zrána tak bouchá do rajských vrat?

Já jsem to, odpoví mu Muhamed, což mne neznáš. Petr mu odvěti: počkej jen trochu, až probudím Krista a optám se ho, neboť bez jeho dovolení nesmím nikoho sem pustiti, kdo není našinec. Muhamed sedne si před vrata, vytáhne čibuk a otáže se: máli kdo z vás křesadlo, abych si zapálil? Rozkřešou mu všichni derviši i ulemové. Kouře a dlouho čekaje řekne jim: slyšeli jste křesťana Petra, že mi nechce otevřítí vrat? Běda, oklameli mne, pomstím se mu ještě dnes v ráji. V tom sv. Petr otevře vrata a řekne Muhamedovi: pozdravuje tě Kristus a přikázal mi, abych nepustil nikoho jiného z tvé družiny v ráj, leč tebe sama. Rozhněvá se Muhamed a řekne: nuže! vyříd' mu, že jsem určitě slíbil všechny je do ráje přivésti; jak se mohu státi lhářem vůči svým věrným ctitelům? Přisám Bůh, pane, odpoví mu Petr, já nevím jiné pomoci; leč chcešli, pojď, sice zavru. Nuže, když nepůjde má družina, nepůjdu ani já. Otází se ho ulemové: co počneme, pane? Odvěti jim: když jsme nemohli do ráje, pojďme do rajske zahrady pod strom, který sám Alah pro mne zasadil; když pravý Turčín zemře a pod něj se posadí, čehokoliv si přáti bude, toho se mu dostane. Konečně jest to též výhodné, poněvadž tu budeme Turci sami bez jiného národa, kdežto v ráji jest veliké množství rozličných národův.“

Ruští starověrci mají opět přísloví, že bezbradí do ráje se nepouštějí; rovněž tž bájí, že kdo pije čaj, spasení doufati nesmí.

Zvláštním způsobem přicházejí sirotci a milenci do ráje. Pro sirotky posílá Bůh v slov. pohádce svého posla: „Tu posel Boží ako tuhý sen přilahnul jednu noc na prsá tým dvanástim dietkam a v tom tuhom sne, sam Pán Boh zna ako, pobral z nich dušičky a priniesol jich do neba pred Pána Boha. Pán Boh ale pokladol jich hned ako malé hviezdičky na nebeskú oblohu, kde ešte aj teraz medzi druhými sirôtkami za jasnej noci sa ligocú.“

Z hrobův milenců vyrůstá pak lepá růže a bílá lilije, jež spojivše se v jedno rostou v světlý ráj. O tom pje nám slovinská píseň:

Z njegovega groba je zrasla
Lépa roža gartroža;
Z njenega pa je groba zrasla
Lépa béla lilija.
Onjedvi sta dorasli
Zraven béle cirkvice,
Tam pa sta se osépilli,
No rasil v svetó nebó.

Podobného obsahu jest jiná slovinská píseň:

Iz njeniga groba zrase
Limbar čist in lepo bel,
Iz njegovga groba pa se
Gerem gortrož je sačel.
Rasti sta nakviško jela,
Do verh zérkve in naprej;
Verhu zérkve se objéla,
Zrasla gori v svétli raj.

Cesta do ráje jest velmi obtížná a trnitá; pročež pje mor.
píseň:

Bo do nebe je cesta užučka
Jak do šatnej jaheličky uška.

Obdobně v nár. pohádkách jest vchod ke skleněnému zámku velmi nebezpečný a smrtelník může se k němu jen přispěním dobrých duchů dostatí.

V srbských a bulharských pověstech a zpěvech připomíná se často zvláštní most, kterým vede cesta do ráje; tento most jest prý 70 jinde 75 nocehů dlouhý a ostrý jako břitva. Někdy zhotoven bývá pouze ze lněného pásma a vznáší se nad propastí pekelnou; která duše není dosti zbožností naplněná, padá uprostřed do pekel. Turci též praví, že kdo tento most přejde, jest pravý Turčín a toho odnesou huriský na rukou přímo do ráje. Také v Baktrii Zarathustra učil, že duše oddělivše se od těla třetí noci po smrti, jakmile lesklé slunce vyjde a vítězný Mithra se v čistém lesku na horách usadí, kráčejí přes Hara Berezaiti po mostě Tsinavat (odplaty), který k Garon-manu, příbytku světlých bohů, vede. Duše, jež strachuplné a nemocné na most přicházejí, nenalézají zde žádného přítele a zlý duch Vizaresho odvádí je svázané v sídlo nešlechetných, v příbytek Drushův. O mostě, jenž vede do jiného světa vypravuje i slov. pohádka; most ten hlídá silný šarkan pod ním ukrytý a každého kdo neprozřetelně naň vejde, dolů do propasti smete.

V srbské písní opět převážejí sv. Nikola a sv. Ilija na kořabu duše z tohoto světa na onen. Sv. Ilija přichází do středu ráje, kdež pod olivou na skvostném přestolu odpočívá sv. otec Nikola, a praví mu:

„Ta ustani, Nikola!
Da idemo u goru,
Da pravimo korabe,
Da vozimo dušice
S ovog sveta na onaj“.

Al' besedi Nikola:
„Okan' der se, Ilija,
Mironosna vojvodo!
Danas jeste nedelja,
U njoj s' ništa nedelja,
Već se krsti i venča,
Ruse kose češljaju,
Belo lice umiva.“
Opet veli Ilija
Mironosni vojvoda:
„Ustaj gore, Nikola!
Da idemo u goru,
Da pravimo korabe!“
Al' ustade Nikola,
Otšetaše u goru,
Napraviše korabe,
Prevezaše dušice
S ovog sveta na onaj.

Zajímavo jest též všimnouti si spůsobu, jakým duše zemřelých v ráj přicházejí. Předě vším oddělí smrt duši od těla a to často velmi násilně. Morav. píseň v tom ohledu praví:

Hned ho za krk vzala,
A o zem ním prala,
A takhle ho stískla,
Ež krev z něho vyšla.

Aneb:

Tak ona ním pere, ež se zema chvěje,
Tak ona ho huče, ež z něho krev teče,
Tak ona ho scíska, ež z něho krev prska.

Duši bohobojnou unášejí pak andělé na svých křídlech v husté mlze přímo k Bohu. Tak se pěje v slovinské písni:

Strila se gosta meglíca
Polna angeljcov nebeških,
Še so vzeli Majdalenko,
Něsli jo v světe nebesa,
Gori očetu nebeskim.

Pro P. Marii slibuje Kristus Pán poslati anděla krásného, dvanácte apoštolů a třináctý přijde on sám pro ni.

Já pro tebe pošlu anděla krásného,
Anděla krásného, dvanást apoštolů,
A já sám třináctý přijdu pro tě spolu.

Duše, která nebyla dosti čista, aby do ráje vstoupiti mohla, vyletější z těla usadila se na zelenou louku a začala naříkati, až se louka rozléhala.

I přiletěl k ní anděl Boží a řekl:

Chyt se duše mého křídla,
Poletíme v rajská sídla.

Když se dostali k rajským vratům, nechtěl sv. Petr hříšné duši otevřítí a tato musila se vrátiti nazpět. Znovu počala kvílet; i přišla k ní matka Boží a vedla ji opět k rajské bráně. Ale sv. Petr nechtěl otevřítí vyčítaje duši hříchy, jichž se dopustila a pro něž do ráje vejítí nemůže. Konečně na přímluvu P. Marie u Syna Božího jest duše do ráje vpuštěna. Někdy také sv. Anna duše nařikající na svém plášti do ráje uvádí.

Vlastním však průvodcem duší (psychopompos) jmenuje se sv. Michal. Ve středověku slul sv. Michal praepositus paradisi et princeps animarum. Česká legenda o sv. Václavu jmenuje ho ústy sv. Václava „rajského probošta.“ Dle jiné legendy pil sv. Václav dva dni před sv. Michalem na hostině u bratra Boleslava v čest archanděla Michala a jmenoval ho „animarum paratum susceptorem clementemque in Paradisi voluptates subvectorem.“ Též hrvatská píseň v témž smyslu praví:

Sveti Mihalj duše važe,
Odesla je vaga rovno
Tu dušicu tja va pakal.
Na to veli mati božja :
„Važi, važi, sveti Mihalj
Tu dušicu po drugi put“.
Odesla je vaga ravno
Tu dušicu tja va nebo.
Maria se nasmijala,
Vrag se plakal i narikal.

Rovněž týž úřad měl sv. Michal v germ. pověstech:

Der engelfürste Michahêl
Empfienc des marcgrâven sêl.

Upomínka na ráj a na rajský život hluboce se vštěpila v mysl Slovanův, pročež se bájilo, že se několikráte za rok ráj otvírá a i obyčejným smrtelníkům za živa přístupným se stává. Jednou z těchto šťastných dob v roce jest najmě štědrý večer, o němž se právě památka ráje až dosud tajemným způsobem slaví. Všecky báje, obrady a pověry, jež se v tento den četně dějou, ukazujou více méně názorně na prvotní blažený život v ráji. Zlaté prasátko, jež ten na štědrý večer spatří, kdo se postil, jest zajisté význačným symbolem záře rajské, po níž se při otvírání ráje pátrá. Stelouli Rusíni a vûbec Haličané po světnci, v které večercti míní, seno a pokrývají-li jím i stůl posvátný, zajisté tím naznačiti chtějí louku rajskou; podobně činí i Srbové a Hrváti, kteří kolem stolu slámu stelou říkajíce při tom: Kudy sláma, tudy sláva. Na háj rajský rozpomínají se zavěšující ve světnci

zelené ratolesti. Stromek vánoční, jenž se u nás uprostřed stolu staví a skvěle se osvětluje, pamatuje nás opět na překrásný strom rajský. Blažený život v ráji znázorňuje se štědrostí, kterou v tento den zvláště hospodář a hospodyně vyniká. Štědrost tato se jeví nejen k příbuzným, nýbrž i k čeledi, k cizincům příchozím, ano i k zvířatům domácím, k stromům, k vodě a k zemi. V tento večer třeba prý jítí „do rozpuku“ a proto nazývá čeleď na slovensku tento večer též „obžerným večerom.“ Věštby a čáry, jichž bezčetné množství doposud se u jednotlivých kmenů slovenských zachovává, ukazují zřejmě na úzké obcování bohův s lidmi v tento svatý čas; bohové navštěvovali zajisté jako u Homera na tento svátek lidi a účastnili se jejich slavnostních hodů. Právě v pravou půlnoc otvírá se dle báje slovenské nebe. Kdo se v tu dobu jde umyt k studánce, tomu se napřed jen malé světélko jako hvězdička ukáže na nebi, to se vždy dále a níže rozširuje, až se otevře celá velkolepá brána. Padnešli nyní na kolena a budešli něčeho si přát, cokoliv ti libo, dojdeš toho, byt bys sebe více pokladů žádal. Ale bohužel, takový člověk obyčejně pak ztratí rozum! O půlnoci obživne též celá příroda a všechna hovádka začnou mluvit, není ale rádo jich poslouchati, poněvadž nikdo, kdo přírodu obživlou a zvířata mluvící byl slyšel, neštěstí ještě neušel, jak nám to vypravuje hrvátská pohádka.

Se svátky vánočními byl úzce spojen i nový rok a pročež i v tento den se ráj otvíral; neboť se říká, že kdo se na nový rok postaví na křížovatku, uvidí nebe otevřené a v něm vše, co se tam bude dítí v novém roce.

Po druhé v roce otvíral se ráj v pašijový týden a sice byl to hlavně ráj podzemský. Zde připamatovati sluší, že pohané přenášeli též ráj s výšin nebeských i do podzemí a vod, vůbec do sídel bohův. Zilít pod zemí mocní obři — velikáni, kteří tam měli skleněné zámky, zahrady, louky, lesy a pole, jako to bylo v ráji nebeském; podobné ráje pod vodou měli vodníci a jiná vodní božstva. Ano i na zemi stavěli si Slované v báječné mysli hrady (gorody), podobné zámku Božímu, zovouce je rajhrady, rajskými dvory, jak toho mnohá ještě jména místní ve vlastech slovenských dokládají. V pašijový týden tedy ukazoval podzemní ráj své poklady lidem. Proto se praví, že když se v kostele čtou pašije, otvírají se pokladové a hoří peníze t. j. ukazuje se světlo rajské. Čtení pašiji nastoupilo v báji v době křesťanské na místo jakýchsi obřadů pohanských nám více neznámých. U nás Čechů

hlídá poklady ty obyčejně černý ohromný pes s ohnivýma očima, u Bělorusů je Dzedko-Perun sám, jenž lidem je ukazuje. Že se v tento čas i nebeský ráj otvírá, toho důkazem jest nám píseň, jež se pěje v Mazovsku a Sandomeřsku:

W wielki piątek, w wielki czwartek,
Cierpał Pan Jezus wielki smutek;
Za nas smutek, za nas rany,
Za nas ci to chrześcijany.
Trzech żydowie,
Jak katowie,
Pana Jezusa umęczyli.
Jak się dowiedzieli anieli,
Po świętą krew przybieżeli.
I na niebiosa znać dali.
Niebiosa się otworzyły,
Wszystkie dusze rade były.

Jako se otvíral ráj na štědrý večer, v čas to slunobratu, jenž v sobě spojoval minulost i budoucnost, podobně se to stávalo na sv. Jana Kř., v čas to slunobratu letního. Mysli pohanské zdála se jako o vánocích tak i o sv. Janě celá příroda neobyčejně rozjařena; kdežto však slavilo se o vánocích narození mladého Slunce, slavila se o sv. Janě veliká panychída, totiž slavnost umrtí Slunce. Jako o vánocích tak i o sv. Janě zachovává se dosud hojně množství pověr a věštek, jež jsou zbytky veliké národní slavnosti.

Konečně byl ráj otevřen za rovnodenní podzimního na sv. Michala, o něž jsme se již výše zmínili, že byl průvodcem duší zemřelých z tohoto světa na onen. Staří konali celý týden po sv. Michalu obrady za zemřelé a neděle po sv. Michalu slula i církevně „pro defunctis.“

Z jednoduchého obrázku tohoto, jež jsme krátkými jen rysy o ráji slovanském naznačili, poznati můžeme zbožnou mysl Slovanův, s jakou si představy náboženské tvořili. Rovněž vysvítá z toho, jak čisty a nevinny byly jejich tužby po nejvyšším blahu a jak snadno ukojitelný. Zase důkaz holubičí povahy slovanské!

Jan Máchal.

Slovenský oddiel.

Predmluva.

Ulohou „Slovanského Almanahu“ je, čitateľom svojím niektoré pokusy zo všetkých slovanských rečí nastolit. Že sa to ale vzdor našim vreľým túžbam nestalo, nutno tej okolnosti pripísať, že jak zástupcovia a tak i práce z mnohej strany vystaly. Predsi sa kojíme nádejou, že s vydaním tejto knihy dopomôžeme ku poznaniu slovanských rečí z jednej a, k upevneniu jednoty a vzájomnosti duševnej z druhej strany.

Jestli tento pokus a jeho smer vzbudí úľubu a súhlas, bude nám možno vo vydávaní „Almanahu Slovanského“ v budúcnosti pokračovať a tak zameškané nahradiť.

S nádejou, že hniha táto vo všetkých končinách, kde zvuky slovanských rečí zavznievajú, mile prijatá bude, odporúčame hu i ďalšej priazni ct. čitateľstva!



Vatra.

Zabrali sa junáci z štyr strán dialných sveta.
Každý z nich jednej a tej istej matky dieťa,
krv z krve a kosť z kosti jednej všetcia oni;
bo tak nebeské samy rozhodly zákony.
A riadenia vyššieho ktože zmari rady?
nie ver zbura odbojná, ni judáš ke zrady!
Aby krvi svojej krv v ústrety netekla,
a kosť ku kosti vlastnej nesúrila kroky:
zákaz ten zloba svetská, bárs ho aj vyrekla,
neuvedie do skutku nikdá! Bo hlboký
je krve prúd a prudký: podlé hate svezie,
tak narovná nobám púť pres hrádze a medze. . .
— Zabrali sa junáci, a kam? počo? — Nuž hľa
tak ďaleko sa honia dedičné jích role,
že kým nad touto slnka líč v šperk zeme stuhla,
nad tamtou už kutá noc iskry đna v popole;
tak rozsiahle po rôznu jích kolísky, bydlá,
že razom je obletnúť — len svit ak má krýdla;
a tak hrozne stíhaná musela byť ona
bez milosti osudní od mora až k moru,
tá mati požehnaná, keď vše doba bila,
že nad šestonedielky ložom svätá clona
hneď z blankytu jasného v hviezdnu splýva riasu
a zas tkaná z bieleho mrazných mhlí atlasu,
i povojník decku, čo práve porodila, —
a či to len bola púť po jej vlastnom dvoru? . . .
. . . nuž pre tú hľa nesmiernosť postate i času
sa nevideli posiať, tváry tvár neznať,
bárs vedeli o sebe dobre, že sú bratia,
znajúc sa už, čo zvučí polamí, po hlasu.

I zviatať by sa radi, nevidení ešte;
a preto sa zabrali, každý už na ceste.
A jak je to po holiach rodných v obyčaji,
kde duch otcov nevymrel v synoch, piesni, báji:
povysadnúť na polaň vôkol jasnej vatry,
ktorá plamom obetným srdcia stápä, bratří:
i tamtoej junače každý v svojom lese
haluz ufal a k spolnej vatre sebou nesie. . .
— Zabrali sa, stúpajú, ba jak orly letia,
každý tejže matere večne verné dieťa.
Nevzkázali si nijak: kde jích cesty svedú;
lež vidí oko božie, že nemýlne k stredu
jednemu chváta každý, jak tie sluca blesky
nazpäť slncu ku svojmu. . . Veď to tie hľa svázky,
sväté svázky rodinných srdce a svojských duší,
že octneš sa v domove, keď zrak ni netuší.
— Zabrali sa . . . i sišli šťastne, razom všetci
v žiari túžieb poznania, smoliar svoj na pleci —
tak sišli sa pospolu, sťa v krúžok nevädze
abo jak dáke nové na nebi súhvezdie,
tam na brehu Dunaja, onej kalnej rieky,
čo zjasniť sa má a byť jasnou až na veky. . .
Tam dovedna sa sišli v objem, svätú zhodu;
a hneď aj skládly vatru: ktorej zlaté žiare
osvecujú k poznaniu na vzájom jím tváre,
a medzitým dunajskú v kryštál čistia vodu. . .

Prvý.

Ja z tých dorazil krajov, kde tie tuhé mrazy.
Nie my, ale zmrzajú naši jímí vrazi.
Hoj mráz stepí nesmierných: to tie mocné putá,
do nichž sveto-tyrana vzletná pýcha skutá!
A plam Kremlo-oltáru tiež nevzplál bez stopy,
zapáliac vzduch severa až po nebies stropy:
popol jeho pozostal! a z popola toho
iskier srší životných tisíc! milion! mnoho!
Hej, z nich i ja ulapil jednu a skryl v hrudi;
tam, bratia, ona žije, v žhavý plam sa budí!
Čujete tlukot srdca? koľko za menšinu!?
To lásky hovor, aj krok duše k slávy činu.

Podte v bratské objatie! k srdcu srdcia žiadam,
keď rodnú sosnu v žhavé srdce vatry skladám! . . .

Druhý.

Hoj švihly znova lesy neprebitnej kôry
z pňov zdlávených, bolastných smutnej mojej hory!
Nie! tá viac bielou nenie: na smrť zasnaženou;
lež — krvou kedys — zlatou zorou zabronenou!
No nie vždy: že okovy večne zdrtia ruky:
jest vec, za ňu trpené živia ducha muky;
sú doby, kde oproti trápom trýzniteľov
jakoby nebo slalo v pomoc šik anjelov;
a pomoc tá tajomná tajemstvá vykutá:
že lámu sa závory a praskajú putá;
lež známo vám to dobre, i nač dlho rečiť?
Sú pomníky, čo večne neustanú svedčiť! —
Nuž švihly lesy znova, a jích zvučné šumy
jak hodia sa medzi tie hrdých skalísk dумы! . . .
Zdravstvujte, bratia! Ajhľa lipa v ohni plaje;
i nechže mi osvieti vaše obličaje!

Tretí.

L'úbam vás, ľubi bratia! Hoj, mňa zobudila
lúba rieka zo spánku: bych vás ľubil bratia;
a jak tá rieka večné vlny rozprúdila:
i moja ľúbošť ku vám večným ohňom vznáť!
Na trojkorunný vrchol ja vybiehol hore,
však nebadal jedine drahý šmaragd: more;
lež zaletel ja zrakmi i kde klasov zlato
a strieborné prútiny ligotavých mrazov;
a cit môj a myšlienky vrelo vzplály za to:
že do drahých drahokam uväzniť reťazov. . .
L'úbam vás, ľubim, bratia! k vám dušu príchýlnú,
tak jak k plameňom môjho plam sa túli jilmu. . .

Štvrtý.

Zpomedzi riek šumivých pozdrav, bratia, vrely!
Lež iné rieky moje, jak čo raj vlašily:
ač skúška, podvod rovný. . . Skúšku pretrpeli
a zrelí meč plamenný sme. . . A, to dá sily:

obrátiť smer, i novou odiať sa nádejou,
jež plášť neschyce šibot svevoľných závejov. . .
Hoj, zjaš sa moj jasane novo rozžiarený!
Širší mne svit, jak vprátný medzi štyri steny . . . !
Vo vašom kole, bratia, plaje to a viera
pohýňa k žitiu, ktoré nikdá neumiera! . . .

Piaty.

Tam na tom kvetnom poli, kam zo slávy hradu
zierať cár a jak orlov z hniezda, bohatierov
vyvádzať v boj za voľnosť, so šakalmí v zvađu,
v pošmurný zápas noci s jasnou krížá vierou —
tam na tom krásnom poli ešte dlávi noha
a kopyto satana hroby borí otcov;
no polmesiac u sklonku, úškľab len polroha,
a zhasím i ten s božou a vašou pomocou. . .
Hoj, bratia! ešte drtiť vraha, lomíť trudy
a srde krvou napájať vysmädnuté hrudy:
ešte raz boj so zbojou u dedičných prahov!
hoj vytrhať s koreňom vpitých v zem tú vrahov
a zmliazdiť na caparty! cele smazať dluchy:
a potom len na pomsty oblak pásku dúhy! . . .
Ja, bratia! na znak vôle, kým len jedna muka —
v spoločnú vrhám vatru tvrdý oštep buka.
Praskom sa vzňal hľa konár . . . a k plameňu druží
sa tmou sem doletlý kmit zabalkánskych ruží! . . .

Šiesty.

Ja tiež jaksi otušil v duši, bratia drahí,
že domov rodičovských prekročili prahy
a podnikli ste cestu pres vrchy a doly,
tak jak sa rozvetvila po dedičnom poli
od stredku mora až ta k hviezdpomezníku.
Tak pustil som sa tiež v svet po svojom chodníku;
a tu som, postretnúc vás šťastne, medzi vami,
i zhrievam sa srde vaších a hôr plameňami.
Veď váš ja brat podobne, či nie bratia moji?
Musíte nájsť braterstva i na mne znamenania.
Mýli vás snáď zbládlá tvár, vykúpaná v znoji
trudných každodenne prác a vetchá haliena,
a bo vyhasla dávno čarná hviezda v čele?

Hja vybijú konečne iskry i z ocele,
a časom ošumejú i belásky šaty,
len to slniečko česti — to mi je pozláti,
veď . . . ale načo ponos? Znať musíte brata;
a duša táto, verte, na lásku bohatá!

Ach, v ťažkých dumách, ticho Tatra môja stojí,
tá, ježž vetry všetkých nás mater kolembali;
v jej oká morské padá za kameňom kameň,
že čierny kal viac a viac — náš kryštálny prameň. . .
Ach, pusto tam jak nivou po zúrivom boji:
hrdé smreký a šumné jedly vysekali,
a kým sa to zmladí zas — či som môhol čakať?
Nie! ja musel medzi vás, žiale povyplakať . . .
že plakať? Nie, na vašej tešiť sa radosti;
a preto čo som môhol pochytiť v náhlosti,
vetev kosodrieväta sebou hľa donášam, —
čo rosy ňou, dovoľte, nech ju pootriasam —
chúďa kosodrievätka jak je dokríväné,
jak v krčoch . . . oj, to obraz! vzor! lež závoj na ne! . . .
Už ju len vrhnem, možno že sa vatra zkalí,
bárs: plam vaších smoliarov skoro dým prepáli;
teda prijmite haluz, slznú haluz Tatry;
lež keď takto zpomínam, nie malomyslné —
čím väčší víchor, tým skôr odcloní úslnie! . . .

— A s tým poslední smoliar — vržený do vatra.
— Hoj, vatra! jak šlahá, jak vo výš iskry metá:
že tá noc, noc zmráčená nimí sa trblieta,
jakobys vyaypal v ňu bezdno hviezd oblohy. . .
Hoj, vzňaly sa plameňom nočných stínov stohy,
čo nahromadila zášť, naskladali đasi
ťažkým krovom na hrob ten, kde svit boží v mdlobe —
hoj, vzňaly sa! a Dunaj, nebo je nehasí! . . .
Nuž plač, vatro, plameňom, plač len na tom hrobe,
len plač, až sa preplačeš k schovanému svitu,
a utopíš v plameni noc bez hviezd, zôr citu!

Hoj, vatra! jako bije až po nebies stropy!
A kolo nej junač čo? Nepohnutne stojí;

len v plameň pohrúžené zraky kde-tu vzchopí
a premeria výš ohňa . . . a zas pri pokoji.
Čo dumajú? — Nuž čítaj, času! na jích tváre,
jak v Babylone . . . tvoju zhubu píšu žiare.

Hviezdoslav.

Prispevok k dokázaniu vzdelanosti starých Slovanov.

Oj Tatry! Tatry! Vy kolieбка Slovanstva, vy nevyčerpateľné žriedlo pôvodnosti; vy, ktoré ste už v pradávnej minulosti veľikých duchov — o ktorých národ slovenský v svojich povestiach rozpráva — rodili, vy ktoré dávate i dnes najubiedenejšej ratolesti Slovanstva liek proti krivdám na nej páchaným — trpelivosť, vy chlúba naša, vy hradba naša, vy mali by ste podľahnúť nátlaku iného plemäna? Vaše tisícročné mená pribité večnosťou k večným bralám Vaším, chcela by poodrážat hrmavica hladná — bez hromu? Oh, ale ved i tento sa vás bojí, i nad týmto panujete vy — a dobré srdce vaše má len úsmev ľútosti, nad málomocnosťou jeho; oko ale slzu nad nízkosti nepovedomím. Oh hrdé ste Tatry i v polodriemote ešte vás obklučujúcej, a máte i načo byť hrdými, veď zaiste vy boli ste to, ktoré ste kmetrovaly pri krste Slovanov, bohatých nie len na slávu meča, lež i na slávu umu a vedy.

Už v pradávnych časiach vynikali Slovania svojím dôkladným vedením a prísnyim rozoznávaním, práve tak, jako Gréci, nad ostatnými národami.

Toto dokázal medzi druhými i Dr. Bogoslav Šulek vo svojej rozprave „Pogled iz biljazstva na praviiek Slavena“ jedno-ducho tým, keď dokázal, že Slovania v praveku viac bylín poznali a rozoznávali, nežli ktorý koľvek druhý národ na svete, a že v pradávnych tých časiach menovite druhy a rody stromov tak dôkladne rozoznávali, ako to ani dnes žiaden druhý národ v svojej reči nerozoznáva.

Vzdelanosť starých Slovanov dokazuje ďalej i nesmierna bohatosť, ohebnosť, plnosť vo tvaroch a výrazoch slovanských rečí. Ktorá reč, vyjmúc snáď gréckej, môže sa slovanským rečiam

vyrovnať? Srovnajte staré nemecké (o maďarských ani nehovoriac) pamiatky písemníctva s našimi, a nepotrebuje odpovede na datú otázku. Nápis kremnický, rukopis kráľodvorský, remské evanjelium, zákon vinodolský, pravda ruská, a mnohé iné pamiatky, zrejme svedčia o vzdelanosti drevných Slovanov.

A ktorý národ už v praveku, vierou svojou bližšie stál kresťanstvu, nežli slovanský? Či nenadkriedajú vzory šľachetnosti, krásy, cnosti v povestiach našich, nám od pravekov pozostalých vzory grécke, ktoré konečne, tak ako i vzory západu v hnosobe sa stratili, naše ale palmu víťazstva podržaly? — Nieli jeavor devy, ktorá má telo ako sneh, líčka ako krú, vlasy ako havran, oči ako nebeský blankyt, hrdlo ako jeleň atď utešený? Alebo snáď už dostihol niektorý neslovanský básnik poesiu juhoslovanských a slovenských piesní? — Dosiahol snáď vzlet myšlienok, aký naša národná povest' vykázat môže. Študuj poklady tie, a nájdeš v nich pravý obraz Slovana, slovanskej cnosti, vidiny, umenia a vedy.

V novejšom čase bratia Reussovci oddali sa štúdiu povestí, i podávam Vám tuná krátky nárys o tom, ako si v povestiach slovenských praotcovia naši, povstanie sveta krásne, a tak rečeno úplne dnešnej vede zovpovedajúc, predstavovali.

„V najdávnejšej minulosti nikde nič inšieho nebolo, len dve strany sveta: Juh a sever.

Na Juhu bývalo svetlo a teplo v celej svojej krásy a slávy, na severu ale tma, zima a hmota. I delila tieto dve samostatné kráľovstvá: Belbožstva a Černobožstva prepaš nesmierna, a oba prebývali v pokoji, t. j. vo: Vesmíru neporušenom.

Medzitým stalo sa raz, že Černobožstvo zazrelo tú na Juhu krásu a pôvabnosť svetla, i vznikla v ňom Túžba (fahať: Centripetálna sila) i Závisť (centrifugálna sila).

Túžba vzrástla na tolko, že Černobožstvo skutočne vtrhlo do kráľovstva svetla a porušilo Vesmír. Keď sa ale Zima a Hmota k Juhu sblížovaly, svetlom ožiarená a teplom zohriata Hmota topila sa a padala do nekonečnej priepasti.

Týmto spôsobom ale veľikú stratu utrpelo Belbožstvo, lebo v roztopenej Hmote mnoho svetla a tepla, onú Hmotu oživotvujúcu a oduševňujúcu, padalo do priepasti, druhé ale ľahšie čiastky, v ktorých viac svetla a tepla bolo, nežli Hmoty vzniesly sa do hora, a staly sa hviezdami.

A takto z ťažkej a neroztopenej Hmoty povstala zem, z drobných, zkrze svetlo a teplo oživotvorených práškov povstaly semená rastlinné, z väčších ale kusov zemeplazy, ptáky a zvery. Z veľkých oživotvorených kruchov ale povstaly potvory, draci, obrovia, valibuci, vždy viac a viac na človeka sa zanášajú, a naposledy povstal človek.

Tieto zvery začaly medzi sebou boj a zápas vseobecný, v ktorom by i sám človek, tak ako mnohé z tých potvôr bol podlahnul, keby mu otec svetla nebol prišiel na pomoc, a nebolby ho vyslobodil sriadením sveta, ktoré obsahovalo:

1., Vymáhanie svetlových čiastok z hmoty a prenášanie jích zkrze mesiac do kráľovstva Svetla.

2., Stvorenie druhieho človeka z Hmoty a svetla,

3., Čistenie duší zkrze priechod do druhých telies, a

4., Konečné vykúpenie, záležajúce v rozdelení oboch kráľovství.“ —

Nuž povedzte, či nevidíte z tohto opisu veľkú, dôkladnú vedeckú známosť prírody drevných Slovanov? Či nevidíte v tomto, zásadu Kant-Laplaceovej theorie o povstaní sveta, zakladajúcej sa na dostredivosti a odstredivosti? Nie je tu vypísaný boj predpotopných Ichthyosaurov, Pterodaktilov a iných potvôr? — Známosť o predpotopnom človekovi, ktorého existenciu len nová veda dokázala?

A obdivuj tú dôkladnosť, ba povedal bych vedeckú prísnosť! Naše povesti nič neznajú o potope, lebo veď o nej ani veda nevie rozprávať na tých miestach, kde v praveku Slovania bývali.

Srovnajte túto vysokú theoriu s pochopami starých Grékov o svete, a vidíte, že starí Slovania boli v onom čase vo vedení prví na celom svete.

Podáva Dr. Ivan Zoch.

Abas Šach

od J. Graichmana.

Nádherný kočiari po ceste letí,

A v ňom Šach Abas perský kráľ,

V dolinu hľadá, a slnce svieta

U západu na vrchol skál.

V dolinke ovce mládenček pasie.
Preveľmi peknej postavy,
Píska si, — ohlas v háji sa trasia,
A ten koč tam sa zastaví.

I dá zavolať toho pasáka,
Ten hneď ku koču priskočí,
Klobúčik sníme, mlčí a čaká,
Kráľ sa mu díva do očí.

Počuješ! rekne kuemu milostne,
Poď somnou, dám ťa vyučiť!
Ale sa musíš spravovať cnostne,
Za statočnosť mi máš ručiť.

Zverím ti moje všetky poklady,
Verným ochrancom jích máš byť,
A budeš mužom veľkej cti, vlády,
A slávne u mňa budeš žiť! —

Čo? hlavou krútiš? nevidí sa ti
Ten háj, tie ovce zanehať?
Mládenček skrúca klobúčik sňatý,
Nevie, čo na to povedať.

V tom sa bič ozve nad paripami,
A on už letí na koči:
„No dobre sa maj, háj s ovečkami!“
Bôlno zrakom ta zatočí.

Žije vo veľkej sláve, vážnosti,
Je kráľovským pokladníkom;
Lež zemské šťastie nemá stálosti,
Je korisťou závistníkom.

Aj hľa! žalobu hroznú na neho
Už prednášajú šachovi:
Že ho okráda, poklady jeho
Ukryté drží, a troví.

Pod zámkou v sklepe má vraj schované,
Čo potajomky naklamal,
Preci sa mu nič za to nestane,
Ako to môže trpeť kráľ? —

Kráľ rozhnevaný i hneď na skutku
Zo sklepu zámku odbiť dá;
„Zlosyn nevďačný! poď tvoju chuťku
Ukázať!“ hrozne zavolá.

„Ach pane, prosím pre boha milosť!
O neurob mi hambu tú!“
„Čuš! ani slova ďalej, už je dosť!
Vydaj tú lúpež zamknutú!“

V tom, — strmým krokom do sklepu vkročí,
Ten poklad vidieť, zvedavý,
Sliedi očami, lež ho nezochí,
Pokladník knemu prevraví:

Tam hľa! písťala, klobúk, haliena,
To je pastierský odev môj! —
Kráľ sa zarazí, zbledne čo stena,
Mlčí, — odvráti pohľad svoj.

„To je ten poklad, — ale môj vlastný,
Ja si ho berem v pokoji,
A idem domov! — budem tak šťastný
Jak som bol predtým v tom kroji!“ —

Život v Tatrách.

Jak sú len divné té slovenské kraje
Sídlo tej krásnej čarovnej prírody,
Zdá sa mi, že čo kolvek si len praje
Duch, moje srdce, — tu v Tatrách nachodí. —
Jestli chceš vidieť vznešenosť prírody,
Pozri si Tatry, — jích vysoké hole
Keď slnce po nich posledný uhodí
Úsmev — pozláti jích sňážne vrchole!

Zaleť duchom ta na obrovské bralá —
Orlov otčinu — a nad jích priepasti;
Inde darmoby duša ti hladala
Viaccej veleby krásy bájočnosti! — —
Jako že by ťa nežné nedojaly
Božieho vtáctva prelúbezné spevy?
Jak že by srdce ti neprenikaly
Té útle hlásky podtatranskej devy! —
Hoj a keď pozreš kvetnaté lúčiny
Tisíce periel raňajšej prírody,
Začuješ súzvuk gajdeniec z bučiny
Mrak smútku každý z čela ti uchodí. — —
Duch môj však ešte vždy po nečom túži.
Čo vlastne hľadá, to tu nenachodí.
Veď čo mu z krásy, keď spanilej ruži
Na jej velebe na jej vôni schádza?!
Čo po bájočnom že mu je prameni,
Kryštálna voda keď vňom neklokotá,
Nač mu je v Tatrách ten život blažený
Keď je to život: život bez života.

Ján Cimrák.

Zial sokola.

Vzlietol mladý sokol do blankyta výšky
A smele, svobodne pláva si étherom.
Hneď do sedliakovej okom šibne chyžky,
Hneď kolo zatočí nad čistým jazerom.
Hoj, sokole mladý, čos' tak nepokojný,
Čo tak zrak svoj bystrý noríš v šire kraje?
Či' asnáď záhubu vidíš strašnej vojny,
Či' ztratil snáď panstvo — hory, doly, háje?

A on zadumäny hlávku svoju vystre,
A rýchlejš, než ten šíp letí vzdušným morom.
Ta-do šerej dialky upre oko bystré,
Kde slavský Balt hučí ďalekým priestorom.

Kde zem slavskú Ural objíma ramenom,
Sia matka milená ľúbe svoje dieťa,
A šedivým nebo bozkáva temänom
Jak bozkáva na jar slnce polné kvieťa. —

A zas zavesluje a žialom zastoná —
A ešte raz zrak svoj hodí k Tatrám rodným:
S Bohom, vy milené, hľa zas z vášho lona
Putuje syn jeden ta — k bratom svobodným. —
Tam nájde, čo u vás vrah mu vyrval divý,
Že ani mať vlastná chovať ho nesmela,
Tam nájde súdruhov sokol perosivý,
Ktorých mu z náručia zlost vraha vydrela.

S Bohom, ty milená, tichá chalupôčka,
V ktorej ma učila matička Boha znáť;
S Bohom, ty úhladá, malá dedinôčka,
V ktorej som prvý raz učil sa v detstve hrať. —
S Bohom, vy čarovné, vy pestré lúčiny,
Vy útle kvietocky — mladosti druhovia
S Bohom, vy potôčky, tónisté bučiny,
Vy v šepote svojom tajnosti duchovia.

Ešte tebe s Bohom, vlast moja ľúbená,
Ty plná bolestných i slastných zpomienok;
Ešte ti snáď zkvitne doba nezkalená,
V ktorej ťa ozdobí sladkej shody vienok.
A potom ťa vnesú dietky tebe verné
Vysoko v svet blahej, nekonečnej slávy —
A potom — keď Bôh dá — cez mrákavy čierne
Priletím zas k tebe — priletím v čas pravý?!

M. M. Klimo.

Sloboda.

Čo mi je to mi je, porobenô mi je,
Na vršku sa kníšu dve biele ľalije.
Jedna ľalijka, moja slobodienka
A druhá ľalijka moja je milenka.

Sloboda mi vraví, že letom uletí,
Že ona nestrpí pri mne ženy, detí.
A moja milienka tá mi zase šepce,
Že ona slobody mojej viacej nechce.
Keď ty nechceš mojej, nechci ani svojej,
Soberme sa milá v slobode obojej. —
Keď sa vo slobode Božej soberieme,
Ako pár holúbkov slobodní budeme.

S. B. Hroboň.

Napomenutie.

Neznáš ty, druh môj verný, lúbený,
Jak biedny je na svete tvor
Mladoň ztrativší svojho žitia cieľ,
Padnúc do prózy z výšky zôr?!
Ó hájže si svet čistých ideálov!
Z trosák mladého nadšenia a žiaľov,
Oltár nevystav pre hmotu!
Ztratíšli lásku, vieru, nádej,
A v srdci túžby nízke ti tlejú:
Zhynuls aj sebe, aj rodu!

Koloman Banšell.

Vplyv potravín na rozplemňovanie.

Človek je ústrojenstvo, t. j. žijúci tvôr, ktorý pribieraním neživotných a vylučovaním mu nepotrebných látok svoj život udržuje, a jako sam z tvôrov seberovných povstal, tak i nové tvôry plodí.

Ačpráve organismus človeka je od jeho povstania neustálej zmene podrobený, predsi od počiatku až do konca svojho života zostáva totožným. — U človeka účinkujú sice té samé vnútorné sily, ktoré v jeho rodiťoch účinkovali, predsi majú naňho vplyv i sily zovnútorne, ktorým jeho rodielia, podrobení neboli; on zase môže v istej miere na zovňajší svet účinkovať.

Zdedené a účinkovaním zovňajších síl nadobudnuté vlastnosti sú merítkom, jak ďaleko môže človek vládnuť nad svetom zovňajším. Veda pojednávajúca o vlastnostiach a výkonoch organizmu je physiologia; v jej obor padajú i premeny organizmu, ktoré súc rozličné, v rozličných krajinách, rozličnosť ľudí spôsobujú. Národopis je tedy v posledných otázkach na physiologiu odkázaný a národné hospodárstvo možno nazvať účtom, ktorý si človečenstvo o tom skladá, jak ďaleko stačia jeho sily, aby byt svoj na zemi dla svojej vôle a potreby zariadiť mohlo. Toto sú hlavný činitelia, od ktorých závisí, povaha a potažne existencia jednotlivcov, ba celých národov.

Každý nahliadne, že činitelia týto, neboly po všetky časy jednotvarný, a tým by sa daly mnohé úkazy o svetových dejinách vysvetliť, keby pomer jích všestranne vyskúmaný bol.

Prvý, ktorý si v smere tomto nemalé zásluhy vydobil, bol anglický dejepisec Tomáš Buckle; ale i muž tento nie súc prírodzopytcom podlahnul omylu, tak že práve v rozriešení našej otázky nebol jak sa nám zdá dost šťastným.

Buckle uviaznul na stanovisku starších physiologov, ktorí mysleli, že dusičnaté potraviny slúža k obnoveňú ztratej telesnej hmoty, bezdusičnaté ale ku vyrábeňú tepla, ktoré je ku trvaníu organizmu nevyhnutným. Silou, pohyby vykonávajúcou je, vraj človek pre svoj celý živôt obdarený, — jemu vrodenu. Tedy nie vraj teplo, lež vrodená mu sila vykonáva pohyby údov, a teplotu, ktorá okysličovaním (t. j. poznenáhlym spalovaním) hlavne bezdusičnatých látok povstáva, k nejakému posial neznámemu účelu potrebuje.

Užšú súvislosť medzi prácou a teplom neznali naši predkovia.

Jích theoriu ale úplne vyvrátil Helmholtzom objavený zákon o zachovaní síl: sila nemôže vzniknúť ani zaniknúť, ona sa mení v teplo, alebo je viazaná v slúčeninách chemických, z ktorých rozlučovaním svobodnou sa stane.

Trením hmoty stáva sa táto teplou, t. j. viditeľný pohyb trenia spôsobí pohyb najmenších neviditeľných častíc otázej hmoty, a tento úkaz nazývame teplom. Môžeme ale i naopak, t. j. pohybom najmenších častíc zapríčiniť pohyb hmoty viditeľnej, t. j. prácu.

Ponevác každý pohyb človeka je práca: potrebná je ku jej povstaťú nejaká sila a táto je, teplota, ktorá sa okysličovaním

užitých potravín vyvinuje. Sila potrebná k vykonávaniu pohybov údov človeka nie je vrodená, ale následkom teploty povstávajúca.

Obznámiac sa takto aspoň povrchno s cenou potravín, prideme teraz k náuke Bucklovej. On tvrdí, že čím lacnejšia je potrava v niektorej ríši, tým viac manželství sa uzaviera; čím drahšie sú potravné články, tým je viac prekážek k uzavieraňú týchže. Z toho vraj nasleduje, že pomer ľudnatosti ríše závisí od lacnoty potravín: že tedy je pomer tento v ríšach, kde sú potraviny drahé o moc menší, než v ríšach lacnotou požehnaných.

Nechceme popierať, že cena potravín nemá vplyvu na pomer tento, právom ale namietnuť môžeme, že v krajinách, kde je potrava lacná, tak dlho by sa ľudstvo množilo, ažby sa cena potravín zvýšila a dla náhľadu Buckle-ho by rozmnožovanie konečne prestať muselo. Buckle tvrdí, že ponevác sú potraviny lacné, zväčša látky bezdusičnaté, drahé však dusičnaté, ktoré na rozplemanovanie nedobre účinkujú (dráždiac pud spolčuvania), preto vraj kde sa látky prvieho druhu viac požívajú, obyvatelstva viac pribýva, než tam, kde sú látky dusičnaté hlavnou stravou ľudu. No náhľad tento vcelku nestojí, bo ponevác sú látky lacné, bezdusičnaté, spotrebuje ich jednotlivec viac než látok dusičnatých. Vieme ďalej, že sú kraje, kde je mäso hlavnou stravou ľudu a predsa tam lacnota panuje, jako na Dolných Ubrách, menovite ale v Brazílii a Chíli kde sa zdravé mäso zakopáva, alebo za bagatel do cudziny predáva. A vzdor tejto mnohosti mäsa nie sú Brazílianci a Chile-ania vstave sami zaplniť ľudoprázdne kraje. A tak je to i na Doľnom Uhorsku.

Naopak je to na Slovensku a v Čechách kde je cena potravín hodne vysoká a predsi sa počet' obyvatelstva tak rýchle rozmnožuje, že stehovanie do cudziny ani neopozorovať.

Buckle vzal pri svojich skúmaniach Irsko za názor, kde obyvatelstva zo dňa na deň pribýva. Je pravda, pribýva, len že príčina toho neleží v lacnote potravín, ktorá tam náhodou panuje (a ktorá ako vyššie udano by raz predsi prestať musela), lež v ústrojnosti samého ľudu; že ale počet' obyvatelstva nikdy ten stupeň nedosiahne, žeby cena potravín zrejme poskočila, to príčina leží v pomeroch politických. Irčania totižto ako zväčša katolíci pred nesnášanlivosťou Anglikánov prchajú. — A toto Buckle nenahliadnul.

Prvý tedy základ plodnosti ľudu leží v telesnej jeho ústrojnosti po otcoch zdedenej. Židia súc po celom svete roztrúsení, všade ináč žijú, predsi vždy a všade početným potomstvom vládnu. Slovákom, Čechom a Juhoslovanom nemálo prospela a prospeje tá ím dedične daná vlastnosť rýchleho plemenenia, ináč by už dávno boli museli zaniknúť tlaku maďarstva a nemectva z jednej, osmanstva z druhej strany.

Už výš spomenuto, že látky mäsité nedobre účinkujú na rozplemenovanie, národy ale rýchlym rozmnožovaním sa honosiace zväčša roľníctvom sa živia, a preto sú temer výlučne na rastlinnú potravu poukázané; látky dusičnaté k zrastu tela potrebné, nepožívajú v mäse, ale v mlieku, vajciach, syre v strukovinách, v hubách a p.

Plodnosť národa slovenského, ktorá nepriateľom naším tak do očí bije, ľahko sa takto dá tým vysvetliť, že ho moc Najvyššieho oboma výšspomenutými podmienkami obdarila.

E. † P.

Pút' ducha.

Zájšť v ríšu rastlín, čo žijú, bárs stoja
jak tie od vekov nehnuté kamene,
a len vanutie čo žítia do boja
k postupu vyzve šíky jích zelené;
ta v stíny utiecť šedého pralesa,
prvý čo spatril sklenuté nebesá,
nad mladou hlavou v zlatom, chmárnom toku,
lúč čistú prvý i kalnú vlaš v oku
zakúsil svojom: nebies vzácne dary;
uniknúť v lono, keď trud žítia parí,
v klin jedlo-matiek týchto, smreko-otcov,
kde kým deň hniezdi na vrcholcov chvoji —
v chladnom prízemí jejích dechot kojí
nám znojné plamy sladko-stínnou nocou,
tam vylietť na jích knísavé koleno
a byť ím synom: ľúbené bremeno,
a kým pres čelo tuho rozhárané
laskajú vetvy čo rodiča dlane

tu pýtať sa jích, že: čo tie jích šumy?
a keď len hlavou kývnu, že nesdelia:
hoj, potom — celým zrakom duše, tela
dnu zanoriť sa v hĺbku jejích dумы,
škárku vykutať jako omrvina,
jakú vybodne jejích ihličina:
a tou ta vsiaknuť v bytosť jích, v jích svety,
kde to a kadiaľ tá krv — mliazga letí
jak mlunným prúdom počnúc od koreňa
až kde v oblakoch najvyššie trepenia
jích štíhlých korún: — hach! odkryť tie taje,
a vidieť život, jak si v srdci hraje,
jak srší tisíc paprský v okolo
zo stržňov stredku, šľaby to tam bolo
ukryté slnce, ktoré nevychádza
len vidame ho vtedy, keď zachádza, —
keď padá les jak stĺpy rozborené,
ta skláňa hlavu, kde dosiaľ korene;
hoj! objať dušou vrelo roztlúženou,
jakby jích víchry mocne rozochvenou,
o nichž nevedieť, odkiaľ a kam vejú —
tak zobjať lesy, tú večnú nádeju!
bo čo šumejú, keď list jích šelestí:
to pieseň veľducha, to živel povestí!

V tom uskočíť v bok, kde vonný plášť luhu:
tu zbierať kvety a skladať je v dúbu,
a dúbu, keď už jemným šípom spjatá —
porozstrieť na mrák: temný vlas dievčata,
ona ju príjme k završeniu boja,
že dúha z kvetín — i dúhou pokoja . . . ;
nakuknúť v kalich kvietka blkom vznatý:
jaký to nápoj doňho a jak vliaty,
a kto ho nalial a nevypil predeca,
van ho rozhúpaj, lež nevyleje sa —
tie a podobné otázky si budiť,
a o odpoveď túžiť, prosiť, ľudíť;
zas zkúmať, z čoho ozaj kvet ten tkaný,
také už vlákno, a či neskôr maľovaný?

a prečo svetlejšie tam kým tu temno,
tu hrubšie prečo a tam nežno, jemno?
kto súkal prädzu? ľan ten kde sa rodí
z ktorého drahý šat — lež kto vyvodí?
z akej príčiny kvet ten jakby zvonil,
kým tento staby v smútku slzy ronil
po čas tohotam mlčanlivej hrany?
nač tento k stebľu takto prikovaný
jak niaky zbojca k stĺpu šibenice?
prečo vzor slzy tu, a tam hviezdice?
obličaj toho — plne otvorený,
a tento zase v seba utajený,
ten hladký ako líce mladej devy
a tento večnými vôkol pichá lnevy,
ten zúbkovatý, posypaný pelom,
u tohto smietkou včelka — v srdci bielom . . .
. . . ó rozmanitosť! kto si ťa preziera,
kto tvojim vonným dýchaniam naslúcha:
nie! ten povšedňou nudou nezomiera,
bo našiel pokrm a pravú slasť ducha!

Za tým utiahnuť v blízkú sa krovinu,
jejž vetvy ihneď vo veniec sa svinú
tak jak je spletly prsty víl či vanu, —
a k hlave sletia v zdobu nevidanú;
tam uložiť sa na pokoj po skúške
po mäkko stlatej materinejdúške,
a ovievajú tejže kadidlamí
hravých myšlienok ľahkými vlnami
ta tonúť, a prížmúriac víčka oka
zrazu zapadnúť kamsi do hlboka,
až ťa, kde z tajných srdca skalísk, slojí
ten teplý prameň — ľudský cit sa zdrojí . . .
a — snáď zadriemnúť, v sladké zblúdiť snenie,
a potom — — potom — prchké zobudenie!
bo ajhľa u nôh z kvetnej ťateliny
škriváň vybrnkol, a klbiečko piesne
odvíjajúci prosto k nebu nesie,
na mňa padajú zvukov pazderiny.

O, jakým spechom trepoce krydelký!
Tak po klavíru umelec, ten veľký,
zmihá prstami: aby v okamihu,
kým jedna chvíľka tadiaľ cestu razí, —
kde len jeden zvuk v srdci struny väzí,
tie strún žalárne závory rozočil,
a zo srdce tvrdých razom vylupnuté
jakoby švihom škriváňka perute,
bo vo vševládnom zapálenia stihu:
tie všetky zvuky v jeden prúd sjednotil, —
že tenú potom — v súzvuk — popri sebe . . .
ó, načrieť z nich! ó rajský ucha chlebe! . . .
— Ha! haluz krička zrazu čo sa hýba?
Či van to tam v ruženec lístky stíba?
Veď nečúť ani dechu, van to neni.
O, už ho badám! jak sa v listie kryje,
bo je tak skromne chuďas ošatený . . .
Hoj, vládco piesní božskej harmonije!
nemáš čo haňbiť sa a čo banovať:
veď v piesni tvojej, keď sa zplna ruše,
na ošatenie slavné — ale duše,
najdražší hodbáb, najkrajšia činovať! . . .
Čuj! cinkot nežný, virny . . . to hľa rady
braterských zvukov . . . to sláviček ladí
už varyto: by keď deň sa k večeru
zas ponachýli a svitom zapadlé
zas zblknú, hviezdy, v tom čarnom divadle
opeť prekrásnu, odzpieval operu . . .
Nuž nechže ladí, nechže lúči, spletá; —
a kde sa báseň v tichu na svet rodí,
s rušiacim lomom a tresky nehody
preč ber sa ztadiaľ, špatná prózo sveta! . . .

A s tým sa sobrat' zpod šiatru kroviny,
a dolu šibnúť z vrškov — do doliny . . .
O', i tam mnohé prerozkošné stanie!
Už z dialky ho čuť — jarku žblnkotanie;
ten mluví večne, nikdá neprestáva;
azdajže už dnes jasno vyrozpráva,

srozumiteľne všetko mi, čo cíti,
čo mocne žije v jeho vlnobití, —
snáď keď sa nazrem v čisté čelo jeho
s večným záhybom a večne bez neho,
jak tie kamienky zlaté tam vo spodu
budem už v stave prečítať i runy
tam mihotavé — tie kolá, tie luny,
to písmo bublín na papierku peny,
celý pergament vody rozkrútený, —
snáď keď pominúc ostatní hluk sveta
i to pobrežnie nezábudky kvieťa —
ponorím do vln všetky moje smysly
— tak jak tie prútky vrby totam svisly, —
že žitie moje bude jakby snenie:
azdaj pochopím vody hovorenie.
A zasadnul som na pažiť nad vodu;
čítal kamienky zlaté v zlatom brodu,
a sluch zvedavý naklonil až k vlne, —
a jak halúzky vrby, moje smysly
až medzi vlny hravé tíško svisly,
vše-vše mi šata duše poutenie,
lež zas vybrdne znova na úslnie,
až po šplachote krýdly — už úplne
ponorila ju vrava jarku — v snenie . . .
— Keď som sa zbudil, vyzliekol sa zo sna:
už znal som všetko, porozumel vlne;
mysel stešená vyšla na úslnie,
kde sa vysúša tá jej peruť rosná . . .
Veď voda rekla a to je, čo vraví
žblnkotom večným na útechu sladkú:
ktoré prijala na prvopočiatku
sem kvapky v seba: po dnes mám je všetky;
pravda, rozchodia širom sa posvete:
oblak je schyce a do výše vznesie,
však než sa nazdám skvostnú dúhu spletie
a ňou čo schodom spustí je na kvietky,
tie krôpky moje; van nemešká v lese,
lež doletí priam, a na krýdla svoje
je pobrav — zpät mi dodá vlnky moje;

a keď zaniknem celý v hĺbke rieky:
ó tam ja jarok živý som na veky! . . .
— Počuješ, dušo! tú útechu sladkú;
i ty si čiasi od prvopočiatku,
a neztratíš sa nikam, nie v hrob pustý;
i teba schytne oblak, lež nespustí,
viac k nivám tým: lež do božej dá rieky,
a v mori ducha žiť budeš — na veky! . . .
— O' prerozkošné u potoka stanie!
bárs v dialke čujem jeho žblnkotanie. —

Nuž nie len k zemi, vrž zraky i hore;
keď poznal kvetnú zem si, i jej more
perlové v hĺbkách jeho si obsiahol:
treba, bys' vyššej nad seba vyčiahol.
Ha! vidz v ústreší tvojho ajhľa bytu
malinký palác v kútku, v tichom skrytu;
vieš, kto ho staväl? Ten rúk, jak ty, nemá;
a krielka sú mu tiež nedané k tomu,
i nôžka neni oná včelky: tedy,
jakže buduje? čím rubí vchod domu,
kadiaľ dnu a von, ktorým stráž a zvedy? . . .
Nuž probuj: pohod' modré máčku semä;
ktorým ho zdvihne: ten hľa, ten zobáčik
je rukou, rúčkou mu a aj rezivom;
tým hľa postavil palác ten si vtáčik
za svitu, kým ty ako on — letáčik
vo vzduchu, blúdils v kraji spánku divom. —
Keď mrk sa kloní z výšin v zemskej doly,
a noc počerné roztáča tkanivo
s hory na horu, po stráňach, po poli,
až ticho, mrtvo, kde len prv tak živo: —
tu pútnik s vánky — tiež do svojho sídla
sa dostaví, a vedno složí krýdla,
jak my skladáme na bok vetché šaty: —
starosť ťaží v nich, — nech nám dech nehatí! . . .
Lež vták, bo spevák, keď tak krielka stúľil
sľaby k modlitbe ruky tuho, spolu
— človek, ten mnohdy iba v dobách bólu,
záujmom činí tak: by býť uhúľil, —

vták ešte potom vďakou raz zapeje;
raz zašvitorí i k svojej rodine:
a keď tak vôkol spatril tie nádeje,
sám pyštek v páper teplučký zavine.
No, dívaj kruh ten zbožnej domácnosti!
tam už spokojnosť, tá prvá zo cností,
hoj, tam už láska! . . . Čo peručka kryje:
verte, to malké srdce veľkej láske žije! —
Len bládý rumeň ešte vzlietnul zory:
a čeliadka tá, čujte, už hovorí,
už vstala — hej, tak vstáva i mať moja,
mať moja drahá: dokým stierať z čela
lúč teplú vyše sluko, krôpku znoja
nejednu dotiaľ sama už sotrela;
a mňa len sniť nechá . . . môj anjel pokoja; —
len bládý predsvit čo vzlietnul nad hory:
a čeliadka tá vstala, už hovorí;
po vzhliadnutí sa, krátkom rozhovore:
už niet jej doma, už je na obzore,
tam už šveholí slávou, že zas žije, —
už na jaročku zôr ružovom pije . . .
Koliká radosť, samá žitia vďaka!
niet medzi nimi hnilého mrzáka!
Ha, rodič prišiel, vykrikly mláďatká:
ó, jakže, jakže jím podelí matka?
Začúchly: dobre, správne podelila;
a zas vo vzdušnej výši zavírla . . .
O', mati drahá! vďaka ti a chvála!
Tys tiež tak verne kojila, chovala;
chovala rada, vše i zaslzená —,
veď mnohá pod kríž klakať musí žena;
chovala dosti, dlho, potiaľ: pokým
nezavírlily nehom pod vysokým
mláďatá v sile, v krýdlach otužené, —
vidím za nimi zraky tvoje zarosené . . .
Vďaka ti, vďaka! zo svojeho poľa
a hniezda večnú vďaku syn ti volá! —

Noc. Milion svetov sa nado mnou skveje.
Všetky sa skvejú, ni jeden nehreje.

A nač hriať? jedno srdce: jedno slnce . . .

Ony tiež hrejú, však jích láska vrelá
neplatí zemi, bársby snáď i chcela
tá zem, tá panna viac laskavých zrakov,
než jak ustálil zákon pre planéty,
nie tie od slnca k slncu letiace kométy . . .

O' potopný svit! v hravej, smavej vlne
jako sa slieva na ztemnelé doly
bez zastavenia! Vír svetlo-oblakov
v príude trpytnom, ktorý neubýva,
neprepadá sa, nehasne, nesplýva,
jak letiaceho vlnot zbožia v poli . . .

Nuž, vznes sa, dušo! do tých ríší smavých
na lúčach hviezdnych v hor-dol mihotavých:
jedny ťa sebou vezmú ku okresu
nanajvyššiemu, druhé hĺbku snesú.

Vznes sa, daj unieť tomuto sa prúdu:
on prúd jediný, ktorý ťa neschváti
k prepasti zhubnej, nezkaží, nezvráti:
len očistí ťa od zemskeho trudu,
sotre prach mohýl z tvojej bielej šaty
a nebeským ju leskotom pozláti. —

A duša z tesnej hrudi vyletela,
hľa tam ten biely obláček — to ona;
obláčik ztratil černosť, stíny tela:
len belie sa už, je iba jak tôňa
však tôňa svetlá — — ha! i duša svieti!

A zas let vzala, jak meteor letí . . .

Že meteor? Ach krátka chvílka svitu, —
a večný žalár popola a prachu,
zpod ktorho vzplaniť či je možné znova?
Pravda, že každé srdce, dokým bije,
zaroveň svojho phoenixa si chová,
a keď odbilo celý kruh raňije:

potom že, prv však v prednebeskom citu,
v tom geniovi svojom ďalej žije

až kým . . . ? Lež kam chceš? vráť sa, bludný brachu!

Nie! kým dôveríš v onom hviezdnom skrytu:

nemaj o lepšiu žitia časť ty strachu!

— Svetlý stín letel, miznul, kamsi ušiol;

a priestor noci slavný zastal zrazu
jak zkamenelý, prúd jakby do hate . . .
Ha! kam to s mojou putnjúcou dušou?
na onom zlatom nebadám jej lazú;
hej, nebesá! už vrate mi ju, vráťte! . . .
Tu razom nové všetkých hviezd zblknutie,
jak by bol vietor máchnul v to perute,
neobyčajný plapol . . . čo sa dialo?
Ha! krdel hviezd sa zabral, v hravom plesu
opúšťa výš — snáď nebe ho vyslalo, —
a — čo zriem?! ony, ony, mi ju nesú,
ony mi vedú dušu pekne dolu
jasným sprievodom, pri večnom plapolu,
tíško klesajú — pút jích zlatom tkaná . . .
O', dušo! stokrát mi buď privítaná!
— A hviezdy takoj nazpät šibly k výši
jak iskry z vaty. — Teda súc zas spolu,
vyprávaj, dušo! jak tam v hviezdej ríši? . . .

A sme na zemi. Noc ubieha svetom.
Tá vše nestačí zabráť svoje skvosty,
už či od ľaku a či od radosti:
veď čo to perál zavše každým kvetom. . .
Tak vkročme už len dnu, keď sme na zemi.
Som zvedavý: ten domec tichý, nemý
jakou zavíta na oltár obeťou?
šum, pieseň, povest', kytku hviezd či kvetov? . . .
Otvorte oblok! pusťte svetlo božie!
I mihlo z mračna izby bielo lože:
a dnu v kolíske tíško odpočíva
sneť človečenstva mladá, vieža, živá;
na čielko hajno žltých vláskov slietlo,
jakby motýlky — azdaj za tým kvietim,
čo sa medzi tú belosť tváre vpletlo . . .
Dokoráň okno! zorou ať si sviatim;
hľa i tu ruža, i tu zory svetlo:
pyšteky polo otvorené,
jakoby čerstvé dva plamene,
ukazujúce: jak tam život horí . . .
Ha! precíťlo, sme v — radosť, už švitorí,

nebeským zrakom čosi pýta, hľadá,
lež aj hneď samo dotaz zodpovedá;
žvast z ústok slastný, z očiek svetlo kmitá:
jak keď sa brieždi, peje to i svitá . . .

— Nuž neblúznite, chmurní misanthropi!
vy rozdrojenci s bohom, svetom, sebou:
že v blate človek i s duše velebou,
a zhuba vládne až po nebies stropy.
Ja sbehal stezky sveta letkom duše,
slasť mi prinesla, ňouž mi srdce búcha;
a ztadiaľ vzdor váš mi ju nevyruše,
bo sadil som ju plnou silou ducha.
Ja slasť zažívam tú večnú, odvekú,
jak sa mi bola z neprebraných zdrojov
za každou stopou prehojne zprúdila;
hej, ja preletnúc vesmír dušou svojou,
našiel som — a tak pravdu vzala tucha, —
jak skvosty božská ruka uložila:
kvet, vtáčka, hviezdu, anjela — v človeku.

Hviezdoslav.

Čierne oči švárnej devy.

Čierne oči švárnej devy

Ako tmavá noc;

Pozor, pozor, šuhajčku,

Pre ne zle neschodz.

Hviezda sa ti v nich usmieva,

Lásky sľubnej kmit:

Ale Bôh zná, kde je ešte

Rána tvojho svit?

Čierne oči švárnej devy

Ako tmavá noc;

Pozor, pozor, šuhajčku,

Pre ne zle neschodz.

Bo z nich veru, neznaš ani,

Svetlonos šľahá:

Zavedie ťa v trasovisko,

Tam potom nehá.

Koloman Banšell.

Mladík vyšších vzletov.

Kto ste videli orla mladého
Vysoko, bratia, točiť kolesá?
Kto ste videli letom volného
Sokola krýdlom šibnúť nebesá?
A jako tento, ba vyššie lieta
V'vidinách svojích syn čistý sveta,
Vždy vyššie v dialku nesmiernych svetov
Mladík svobodný, syn vyšších vzletov.

Hľa, jako búra orkán pustiny
Stromy a skaly, i celé vrchy!
Ha, jako rúca lode v sutiny
Zúrivé more sta dáke mrchy!
Tak búra, rúca v kalužu metá
Chyby a hriechy zlostného sveta,
Podvody a klam nečistých profétov
Mladík svobodný, syn vyšších vzletov.

Či ste videli kriesit slabého
Bratia, lekárom zbehlým človeka?
Či ste videli budiť malého
Matkou milenou z mdloby chlapčeka?
Tak hojí rany rodu smrtné
Ođ meča už už nezhojitelné
Listom liečivým vonnistých kvetov
Mladík svobodný, syn vyšších vzletov. —

Hľaďte, jak klesá šípom ranený
Za milú volnosť statný, volný Grék.
Hľaďte, jak marne sily zbavený
Sboriť chce Kriván zlostnej búry vztek.
No, jak za volnosť ten rád umiera
A tento búry vzteklost odberá:
Tak mre za národ a svojou päťou
Šliape vztek vrahov mladík vyšších vzletov.

Čujte, jak bájne vylieva piesne
Malý sláviček v tiennom hájiku.

A sňazná labuť, že či neklesne
Jej panstvo — dúma — v kryštáľrybníku?
Tak dúma, spieva o sláve rodu
A s výšin svojích dá mu svobodu,
A do nadhviezdných vznesie rod svetov
Mladík svobodný, syn vyšších vzletov.

Hľa jak sa teší dieťa, milený
Keď vidí púčok malej ružičky,
Hľa, jak okreje pútnik zomdlený,
Keď zhlíadne čistý prameň studničky.
Tak, hľa, sa teší, keď z nízkej hmoty
Z ríše to zemskej mrtvej ničoty,
Vznáša sa všelud ta v ríše poetov
Mladík svobodný, syn vyšších vzletov.

M. M. Klimo.

Peter Velký

od J. Graichmana.

Večer je! — ešte sa svieti
V dome Sokovnána,
Tam sa radia sprisahanci
Pri pohároch vína.

Oheň, vraj, vnoci vypukne,
Cár ho hasiť príde.
Naň sa rúťa, ho zavraždia,
'Tak zo sveta zide.

Dvaja z nich svedomím hnutí
Odídu z tej rady,
A Cárovi v známosť dajú
Tie tajné úklady.

Vzácní hostia sa u Cára
Bavia v spoločnosti,
A Cár stanúc nič nerekne,
Vzdiali sa v náhlosti.

Vydá rozkaz, — vojsko stúpa, —
Noc je šero-tmavá,
Nik netuší, aká zkaza
O chvíľku nastáva.

A Peter so svojím sluhom,
Len tak dvaja sami,
Utekajú na vozíku
Tajno ulicami.

Ale Cár prv, ako vojsko,
K miestu sa dostaví,
Všade ticho, — prázne kúty,
A žiadnej postavy.

Zazre terem Sokovnána
Svetlom ožiarený,
I vôjde dnu, — sprisahancov
Nájde prekvapený.

Zdravstvujte! aj ja prichádzam!
Ohlasí sa smelo,
K vám semká na pohár vína,
Keď tu tak veselo!

Pijú, — živo besedujú,
Jeden potutelne:
Čas je! zticha sa ohlasí;
Druhý: no ešte nie!

Ba už! hlasom hromovytým
Cár Peter zavolá;
A búši doň päťou, — až sa
Zrúti na kraj stola.

„Sem sa stráž moja vojenská!
Týchto psov poviažeš!
A tam, — kde slnce nesvieti,
Byty jim vykážeš!“

I vráti sa do paloty
Medzi svojich hostov,
A rozpráva tú udalosť
Jemnou veselosťou. —

Staroba.

Staroba je pamiatka jediná
Z mladých časov, keď ruže tváry
Značily kvet mladictva jarý,
ktorý časom vädne a pomíňa.
Tá milá tvár starca nevinná,
Nábožnosti čo pýrom žiari,
Táto tichosť v vysokom stari
Dávnych časov sladkosť, bôl spomína.
Staroba je výsledok činnosti,
Je to výtok čistého ducha,
Ktorý nežil v života bujnosti.
Jako stromu ratolesť snehá
Padá za obet konečnosti; —
Telo zem, nebo prijme ducha.

S. K. Tišovský.

Sylvestrova noc

od J. Graichmana.

Vonku sneh kúri, — zámety stavia, —
Sylvestrova noc, — blúďa duchu; —
Dvaja priatelia u mňa sa bavia,
Jeden rozpravný, druhý nemo-hluchý.
Onen rozpráva v rozčúlenosti
O ľudských biedach, svetskej márnosti,
A ten druhý mlčí, temný ako stena; —
Divná jeho bytnosť celá,
Nie je smutná, ni veselá,
Tajnosťami zahalená. —

Ostatný večer sme spolu, —
Ku mne vraví, — dobre sa maj!
Kedy žiaľ, kedy dobrú vôľu
Sme mávali, pamätaj!
Dost sme sa naustávali,
Neraz nádeje sklamaly
Ale nič to! nádeje
Sú len sľuby, nie deje, —

Dej je skutok v čestnom bôji;
Mocný duch sa vierou kojí! —
Ako dvanásta odbije,
Umrem! — večna noc má skryje! —

Čuješ! zpev v kostole hlasne
Oziva sa! lampy plápolajú;
To môj pohreb! všetko zhasne,
A mňa o polnoci pochovajú. —

V tom kostole páni, dámy
Kukajú do panorámy.
Štvoraké sú sklíčka,
Do nichž upravajú víčka:
Cez ružové sklo hľadia mládenci a devy,
Celý svet jím ružový, a láska, a spevy;
Cez žltkavé kukajú činných mužov hlavy,
Celý svet jím je zlato, hodnosti a slávy,
Cez čierne sklo kukajú starcov hlavy sivé,
Celý svet jím zčernalý, údolie plačlivé;
Lež cez biele pozerá, ktorý múdre žije,
A vidí svet bez farby, len taký, aký je. —

Ale bratku! čas sa míňa,
Blíži sa moja hodina,
Ja už mrem, — povedať ti ešte chcem:
Že po mojej smrti tomuto
Mojmu bratovi, čo sedí tuto,
Žijúci odporúčať sa budú,
Aby neprišli pod hrudu,
By ich bránil od bôja,
Od morovej nehody,
Doprial zdravia, pokoja,
A dal hojné úrody. —
V tom zahučí polnoc zvona,
A on zmizne ako tvôňa. —

Kto to? zvolám zarazený,
Pozerám i sem i tam v bok;
I prevraví onen nemý:
To bol starý, — ja nový rok! —



Slovenski oddelek.



Predgovor.

Pričujoča knjiga imela bi podati čitatelju pokuse iz vseh slavjanskih jezikov.

Temu, da nam ni posrečilo se popolno doseči našega namena, kriva je bila nemogočnost pridobiti za soudeleževanje pri naši knjigi zastopnikov vsih slavjanskih plemen. Vendar upamo z njenim izdanjem pripomoči k razprostranjenju znanstva slavjanskih jezikov i uterjenju duševnega edinstva i vzajemnosti med Slavjani.

Najde-li naša knjiga i namen njenega izdanja odobrenje, bode nam morebiti mogoče v prihodnje spreobrniti jo v letnik ter popolniti njeno sedanjo pomanjkljivost.

Izidi torej prva naša knjiga, naše želje te spremljajo na vse strani, kjer se razlega pod široko razvivšimi se odrastki slavjanskega plemena slavjanska beseda!

Bodi povsodi sprejeta s takošnim veseljem, s kakoršno ljubeznijo te mi izdajemo!



Pozdrav slovanskim dijak.

Zdravstvujte, slovanski Vi dijaci,
Vi Slovenci, Serbi in Hrvatje,
Rusi, Čehi, Bólgari, Slovaci,
Vsi kervi smo ene, vsi smo bratje!
Roke krepke v slogo si podajmo,
Skupaj skóčimo na težko delo,
In popréd nikar ne odnehájmo,
Da nam sad rodilo je veselo! —

Pógled po širocem, dolgem svéti,
Vse s ponosom ima nas navdati!
Kdo zamore sine Slave šteti?
Kdo zamore meje njih kazati?
Brezštevilni so sinovi Slave,
In brezmejne svete njih dežele,
Kakor listja jih je, kakor trave,
Gospodar Slovan je zemlje cele!

Nij še gospodar! — Slovan zdihuje
Vedno še pod težkimi okovi,
On postavam vedno še posluje,
Ki jih ptuji pišejo rodovi!
Gospodar še nij Slovan, a zarja
Svitla tam v izhodu, glej že vstaja,
Že pozdravlja novega vladarja,
Sterl sovražnega Slovan bo zmaja!

Bratje, mi smo nada domovine,
Vso prihodnjost ona ná nas stavi,
Skažimo se čverste, krepke sine!
Vsaki svoje naj moči pripravi,

Skup jih domovini posvetimo.
Urno, naj nobeden ne odlaša,
Prej ne jenjati se zarotimo,
Da je srečna domovina naša! —

Kri ji posvetimo in življenje,
Na potrebe lastne pozabimo —
Sladko, dobrodejno je terpljenje,
Ako domovini v prid terpinjo!
Trud naš plačan enkrat bo obilo,
Nam zanámci bodo slavo péli,
Z rožami trosili nam gomilo:
Mi na veke bodemo živeli! —

Duh svoj bister dvignimo v višave,
Preletimo vse človeške véde,
Vsak naj najde pot ki ga do slave
Do neumerljivosti privede:
Naša slava, slava domovine! —
Naj sterí Evropa pred Slovani,
Občudujejo njihove čine
Slavne naj Romani in Germani! —

Najprej duh naš zmago naj praznuje,
S to gotovo druga pride zmaga;
Razrušili bomo sile ptuje,
Svóbodna bo domovina draga!
Vsi Slovani v bratovskeje ljubezni,
Bomo se pod eno lipo zbrali,
Več nas ne razklene meč železni,
Več nikdár ne bomo hlapčevali! — — —

Fr. Zbašnik.

Pervi križ na turškem polju.

Jesenska noč je, tožna in meglena,
Krohlotni v zraku glasi se gubé.
So ptičev potujočih li plemena,
Ki proti jugu toplemu bežé? —

Nebó z oblaki lune svit obdaja,
Kaj se godí, spoznati bo lehkò:
Vojakov množica, glej, sem prihaja,
Vojakov ruskih, koji v boj gredò.

Bog spremljaj potujoče vas junake,
Bogato naj platí vam blagi čin,
Naj srečno vaše vodi on korake,
V ponòs da bo potomcem vaš spomin!
Vi prvi ste, ki bratov se spomnite,
Ki v daljnem jugu v sužnosti terpé,
Slavjanu in kristjanu vi hitíte
Stoteroletno maščevát gorjé.

In preko reke Dunaja se čete
Do bregov Loma črnega spusté,
Sočutje za sobrate in osvete
Do Turkov polni vsakemu sercé.
Sovražni topi sproti jim germijo,
Divjakov meč in kletva smert pretí,
Da prišleci v trenutju se zgrozijo, —
Potem pa hrabro vsak naprej derví.

Al' oh! kakó že drug za drugim pada,
Ker turške čete vedno se množé;
Junakom vsa do zmag ugaša nada
Vedočim, da zahman se vsi boré. —
A na konjičku, kdo se tam vojuje,
Kot hotel sam bi zmagat' vojsko vso,
In svoje z duhom novim navdihuje,
Prestrašene oživlja s hrabrostjo?

Njegov pogum in gibanje svedoči,
Izurjen da junak v vojaštvu je;
Ker vodstvo bitve njemu se izroči,
O možkem njega duhu sodi se.
A čudno nežna njega je podoba,
Mladost le vsak njegov pokrèt izdá,
Oči goreče, ogenj in miloba
Mladenska iz njegovih lic smehljá.

Prikazen ta je Turke vzplamenila,
Od bojne želje vsem žaré oči,
Nanj vojska vsa se je takój spustila,
Da curkoma iz ran mu teče kri.
On vendar ne zbeží, zdaj stoperv besno
Maháti okol' sebe je začel,
Z uzdihom pa mu sablja pade z desno,
V sercé nekdó junaka je zadél. —

Dan nagne se; že solncu pôt se zniža,
Ki bleda lica padlim osvetí;
Poveljnik turški s spremstvom se približa
Spoznát junaka, mertev ki leží.
Pod solncem Turku stvar je vsaka burka,
Z nesrečo se šaljivo on igra,
Junaška hrabrost sama gane Turka,
Ganiła jih je tudi hrabrost ta.

Ime in rod vse mika izpoznáti
Pokojnega, katerega časté,
Znaménje zaželeno poiskati
Brez daljšega čakánja se pričné.
Z njegove listnice množíca zbrana
Pozvé in začudivši se stermí:
Junak da zval se naš je le — Ivána,
Polkovnika kozakov donskih lčí!

V podobo blede gledajo zavzeti,
Štovanje vzbuja ranjeno teló;
Po tej iznajdbi móčno so zadeti,
Da nežnemu se truplu klaujajo.
Na polju jamo grebejo globoko,
Vojaške vse jej skažejo častí,
Orožje v mertvo denejo jej rôko
V znaménje možke nje junakosti.

In čudo glej! znaménje križa óni,
Ki križ nad vsako známenje čerté,
Križ prvi, in po lastnem to nagóni,
Na turškem polji urno posadé,

Križ, svetu ki naznanja, da kristjanka
V samotnem grobu mirno tem leži,
Ki bila je junakinja Slavjanka,
Slavjanka neprestrašene kervi!

Pavlina Pajkova.

Gazeli.

I.

My spring is gone, my spring is gone,
Does it come back? — O never!
Keep peace, my heart, keep peace, my heart,
Though it is lost for ever

Zivljênja solnce se mi je stemilo — molči, tožba!
Le kratko jasno mêni je svetilo — molči, tožba!
Pomerle v duši nádeje cvetné,
Kar jih v mladosti dnéh se je rodílo — molči, tožba!
Sercé, objemajoče vse ljudi,
Globôko ranjeno je oterpnilo — molči, tožba!
Prejemal često za ljubezen serd
Od pôdlosti ošabne sem v plačílo — molči, tožba :
A vendar, togam vsem navzlic do zdaj
Ostalo jedno mi je tolažílo — molči, tožba!
Ti, blaga Muza, tvoj nebéski dar,
Iskréne pesni moje so krepílo — molči, tožba!
Zlajšuje petje mi duhá britkóst,
Boléstim njéga čarno je zdravílo — molči, tožba!
Ostavi naj, sovraži mêne svét,
Jaz pôjem, dôkler bode serce bílo — molči, tožba!
In zadnji ko napóči dan, možá
Značajnega naj sprejme zêmlje krílo. — molči, tožba!

II.

Ein Löwe bin ich, trotzig, kühn,
Gefesselt freilich, das ist wahr,
Jedoch, wenn auch die Fessel klirrt,
Ein stolzer Löwe immerdar.

Če hočeš, da ti reka svet možák — prijatelj moj!
Povsodi, vsegdar bodi poštenják — prijatelj moj!
Govôri zmérno in ozrí se v daljo,

Prej, nego kám zaviješ svoj ko rák — prijatelj moj!
Sercé imej dobrostno do človeštva,
A nigdar némaš biti p remekák — prijatelj moj!
Odkritoserčen bodi, ali v dušo
Naj licemérec ti ne gleda vsák — prijatelj moj!
Ko na-te stréle padajo nezgode,
Ne dergotáj, ostani mi k repák — prijatelj moj!
Spomínjaj se, da solúčna luč prísvétí,
Kedar vihárni odbeží oblák — prijatelj moj!
Ne bój se trudov pri visócih smotrih,
Živót za lavor hrabri da junák — prijatelj moj!
Kar slavnih móz povestnica nam kaže,
Nijednemu bil pôklic né legák — prijatelj moj!
In starih náuk modrijánov slóve:
Da pokoj le po borbi je sladák — prijatelj moj!

Jos. Cimperman.

Rožno cvetje.

Domovje ostavil lep hlapec je mlad,
Nevesto bi zabil tovariša rad.

Nezvesto! ki njemu ljubezen svetó
Poplačila ljuto z izdajo britkó.

Obupno za les je popotni prijel,
Pogledal premilo cvet rožni še vel,

Ter hranil na serci spomín presladák,
Ki ona v ljubezni ga dala mu znák.

In križem obhodil prostrani je svet,
Obupa nij vendar nikdér bil otet.

Nikdér si nij lajšati mogel sercá,
Povsodi je terpel pod silo gorjá,

In suhe pekoče so bile očí,
Nijedna mu solza hladila jih nij.

Domov hrepení, da še gledal bi kraj,
Kder srečo nebesko je vžival nekđaj.

Tù zopet planine ponosne, svetlé,
Tù spet so potoci, ki čversto šumé,

In tukaj so lišice, tamkaj nje stan,
In vertec je zraven — oj, vertec cvetán!

Pred njim se ustavi očaran, razgret:
Mej cvetjem zagledal živ rožni je cvet!

To nje je podoba, obrazek svetel,
To nje je pogléd, ki mu serce je vžgal!

To nje je lepote nadzemski odsvit
Z nedolžnosti zarijo vzorne oblit!

In tujcu nasmiha se dete sladkó,
Pozóve ge k sèbi prijazno, ljubó:

„Na“, pravi „darujem najlepšo ti róž“ — —
Na glas zdaj zajokal nesrečni je mož!

Lujza Pesjakova.

Obup.

Veselo sem živel, in kaj bi ne-bil,
Prijazno so cvéla mi leta mladostna,
Mi duša mladenška je bila radostna,
Kako sem se svojih moči veselil!
Pogumnega sërca, ponósnega dúha,
Nikdár bojazljivosti nisem dal slúha.

Brezskerbno sem gledal v odperti mi svet,
Brezskerbno sem letal za srečo vabljivo,
Znal nisem, da upanje je goljufivo,
Da muogokrat s ternjem opleten je cvet;
Samo po imenu poznal sem nesrečo,
Pekočo bolest in brigo morečo.

Ko perve nesreče nad mé prideró,
Prihrujejo prvi viharji nezgode,
Me sicer zmajejo udarci osode,
Na tla me nikakor ne poderó.
Še stál sem nevpoغنjen, ko hrast; ki kljubuje
Viharju, solzé so mi bile še tuje.

Al sreča sovražna ne nelha poprej,
Dokler ne vkrotí me in zlomi do kraja;
Pokaže mi krasno devico, napaja
Sè sladkim me strupom ljubezni, in glej! —
Ko sladkih se čutov vpijaním, nezvesta
Postane izvoljena moja nevesta.

Tako sem bil treščen iz višnjih nebés
Ljubezni goreče v brezno obupa.
Čakala me grenka bridkosti je kupa,
Erinje začele krog mene so plés.
Nesreč so udarci ko toča zdaj ná-me
Se vsuli, rešitve ni bilo več za-me.

Krivice, nadloge, solzé in skerbi
Postale so zvesté mi zdaj tovaršice;
Zvenélo rudeče mi moje je lice,
Sè čela oblak se temán ne zgubi.
Potert in polomljen brez upa rešenja
Se vijem in pijem bridkosti terpljenja.

Nis Vodoran.

O pismenih jezikih na sploh in občeslovanskem literaturnem jeziku posebe.

Po časnikih in časopisih, pa tudi po knjigah svoje ože domovine imam priliko že dolgo časa skoro vsak dan opazovati napredovanje in pretresovanje domačega jezika. Nikdar pa mi ni bilo jasno, po kakih načelih rojaki obdelujejo svoj jezik, in nikdar me niso še z razlogi in vzroki dovolj prepričali, zakaj se temu ali onemu sorodnemu jeziku bližajo.

Taka nejasnost me je naganjala k premišljevanju o pismenih jezikih na sploh, o razmerah slovanskih jezikov pa posebe. In „Almanah“, napolnjen z gradivom toliko jezikov, je kakor nalašč pripraven za tako namero.

Strani, katere nameravam pojasnjevati v kratkih potezah, ne zahtevajo toliko natenkega znanja slovanskih in mnogih jezikov, kolikor pa sposobne induktivne moči.

Zakoni popolnih ved, kateri morajo pokazati tudi v jezikih svojo veljavo, so mi bili glavna podloga.

Zdelo se mi je, da si po taki, če tudi nenavadni poti, z lastnim premišljevanjem največ časa in truda prihranim. Samostalnost vsaj sem si takó na vsako stran obvaroval, in se za vsako terditve v posebnih razpravah s pojasnili, če je treba, lahko opravičim.

Onih, ki so drugih misli, ne imenujem. S tem, da terditve na svojo roko utemeljujem, ob enem izražujem, zakaj mi pojasnila drugih ne zadostujejo.

Prihodnji zgodovinarji bodo zaznamovali sedANJI čas kot dobo, v kateri se začenjajo Slovani sami razvijati in tudi delovati v svetovni zgodovini. V resnici, Slovani zdaj napredujejo z velikanskimi koraki; ali doveršnosti nikjer še ni; povsod se kaže še le začetek mnogostranskega razvoja.

Ni čuda, če Slovan tudi jezika ni še doveršil; ni čuda, če se Slovan trudi, da bi tudi orožje svojega duha sposobil za najplemenitiše svoje roči.

Ravno v jezikovem napredovanju pa kaže Slovan različnost v stopinjah jezikove popolnosti ravno takó, kakor je različen razvoj drugih strani pri posameznih vejah slovanskega debla.

Zato se ene slovanske veje že ponašajo z manj ali bolj uterenim in bogatim jezikom; drugi se pa še le trudijo z nabiranjem jezikovih pervin, da bi dotekli že srečniše brate v tem najimennitnejšem delu narodnih zakladov.

Nerazviti jeziki slovanski pa po raznih potih napredujejo vsled raznih namér in načel, katera si postavlja ta pa on oddelek slovanski. Eni namreč razvijajo svoj jezik samostojno in neodvisno, kakor da bi drugih sorodnikov ne bilo. Drugi pa se drugim vejam približujejo v slovarji, pa tudi v slovničnih oblikah ali po načelu sorodnosti ali pa iz političnih in drugih vzrokov.

Razvidno je iz takega razvoja, da se Slovani tudi v jezikih bolj in bolj morajo oddaljevati. Razložki morajo povečati se po takih potih od desetletja do desetletja.

Doba, v kateri se je mednarodni duh oživil; doba, v kateri hrepené narodi bližati se po narodnosti in sorodnosti, kaže na omenjeno stran popolnoma nasprotna početja, pri nekih Slovanih pa še celó zavedno nasprotna namere. Taka nasprotja so za Slovane žalostna in najčudniša v sedanji dobi.

Še čudniša se kažejo taka logična protislovja in praktična nasprotja, če pomislimo, da se ene in iste veje slovanske praktično v jeziku od drugih oddaljujejo, v namerah pa hrepenenje razodevajo po enem književnem jeziku.

Glasovi za medsebojno književno približevanje pa so bistveno dveh verst. Eni kličejo po absolutnem skupnem vseslovanskem jeziku, drugi pa hočejo več skupin napraviti po načelu večje ali manje sorodnosti.

Glasovi taki so se že davno med Slovani slišali, in sedaj, ko kaže Slovanom upanje dneve boljše prihodnosti, se enaki glasovi vedno bolj množé.

Ali stališča in mnenja med posameznimi slovanskimi narodi so také različna in také mnogoštevilna, da trezni človek ne more pričakovati také berž zedinjenja v mislih; na začetek izverševanja takih namer pa po dosedanjih prikaznih še misliti ni.

Taka različnost in mnogoterost v mnenjih in namerah gledé na literaturno zedinjenje pa ne prihaja iz termoglavosti in samovolje pri raznih Slovanih. Oni vidijo, da so ločeni po legi, po naselbah drugih narodov, po zgodovinskem razvoju in drugih razmerah, katere odkazujejo narodom odločno in lastno pot.

Slovani poznajo svoje pismene jezike in vidijo, da jih pri še také veliki sorodnosti vendar tudi ta stran razločuje.

Take razlike pričajo o pametnem ravnanji, ako so Slovani previdni, in da se slepo ne udajo načertom in nameram, katerim stojé naravne in zgodovinske in druge dejanske zapreke nasproti. Takim zadržkom se najviši vzori umikajo, in kjer je zmaga že naprej izgubljena, se radi ne bojujemo.

Sedanji vek je zbudil zavest tudi malih narodov. Narod, še také majhen, varuje in hoče ohraniti znake svojega bistva. Ako za drugo ne, vsaj za jezik se še také šibek narodič med Slovani poteguje.

Tudi pri slovanskih narodih je dozdej sebičnost taka, da bi vsaka veja rada privolila, ko bi hotele druge veje njen jezik

za skupni jezik sprejeti; nasproti pa bi noben oddelek slovanski ne bil zadovoljen svoj jezik sè sorodnim zamenjati, tudi ko bi vedel, da dobode boljšo zameno.

Na sploh vidijo Slovani korist literaturne edinosti; saj ni treba gledati za tako spoznanje na drugo, kakor na kulturne evropske narode, ki so ravno na podlogi jezikovega zedinjenja dosegli sedanjo kulturo.

Manjši slovanski narodi, ki gledajo tudi na prihodnjost, spoznavajo ravno takó potrebo vsaj relativnega zedinjenja.

Gledé na izvrševanje takih nagledov pa so si Slovani zapet navskriž. Eni menijo, da Slovanom ni mogoče dospeti do takega zedinjenja, kakor se je to posrečilo drugim sedaj mogočnim narodom, ker je med Slovani več nasprotij in težav, kakor pri drugih narodih. Drugim se dozdeva, da bi bila tudi Slovanom dosežna taka sreča, pa ni jim noben slovanski jezik dovolj sposoben za literarno zedinjenje. Zaradi tega in pa, da bi se lože pogodili, so nekateri slovanski učenjaki nameravali poseben jezik osnovati iz pervin raznih slovanskih jezikov.

Še drugi oddelki Slovanstva so ponosni na svojo narodnost, na svojo zgodovino in višo omiko, ki jo imajo pred drugimi sobratji. Ti povzdigujejo svoj jezik, ki bi bil edino sposoben za vse Slovane. Ako ne, — tako si mislijo — pa lahko ostanejo sami za se, kakor da bi bili za vso prihodnjost dovolj močni v svoji dose-danji neodvisnosti.

V takih ponosnih mislih jih domači veljaki uterjujejo. Mo-žaki, ki so se politično obnesli, hočejo tudi za jezik svojo pove-dati in takó odločiti pot narodom tudi na to stran, kakor da bi strokovnjaki na eno stran sposobni bili za vsakotero razsodbo!

So tudi Slovani, kateri bi radi svoj jezik drugim usilili samo zato, ker so zdaj politično na boljšem kakor drugi.

Potem so tudi taki, ki imajo svoj jezik za najspodobniši zaradi starosti ali največe sorodnosti sè staroslovenskim jezi-kom, ali ker vsaj pišejo s tako imenovanimi staroslovenskimi pis-menkami.

Na kratko je o raznih mislih in namerah gledé na literarno zedinjenje povdarjati, da je tukaj mnogo predsodkov, enostranosti, poveršnosti in zmesi raznih strani in moči.

Sklepanje samo na sebi ni krivo; ali podatki raznih in nasprotnih strani in moči za naše vprašanje niso pravi, in zato so tudi sklepi neveljavni. Zategadelj se po takih potih tudi misli ne morejo zediniti.

Vprašanje tedaj ni še rešeno; po dosedanji poti tudi ni mogoče priti do porazumljenja. Vprašanje se tedaj usiljuje kakor novo za premišljevanje in za razgovor. Vprašanje je res težavno; mnogo vozlov je treba razvozlati.

Do razvozlanja se meni ne kaže druga pot, kakor da je treba vprašanje ostro oddeliti, odločiti. Vprašanje ima teoretično opraviti z jezikom samim; politika, moč, doseženi razvitek posameznih slovanskih narodov in druge razmere nimajo zapovedovati teoretični razpravi.

Gotovo je res, da pri praktičnem izverševanju takega vprašanja delujejo in zaukazujejo tudi druge moči. Pri drugih narodih so zgodovinske moči jeziku zapovedovale; kot takega so ga po naključji odbirale, in tudi sedaj se v takih slučajih ne godi drugače.

Ali Slovani so za to vprašanje v drugem položaji. Druge razmere vladajo med njimi; na sploh nima noben slovanski narod toliko zunanje moči, da bi drugemu lastni jezik izpahnil in svojega urinil.

Še bolj onemogli se kažejo Slovani med seboj, ko bi hotel en narod med njimi vsem drugim usiliti svoj pismeni jezik. Tudi še daljnja prihodnost se ne kaže taka, da bi mogel najmočnejši narod slovanski zapovedovati na to stran vsem drugim Slovanom, ko bi se oni branili takega darila. Slovan se torej vsaj pred Slovanom nima bati sile gledé na skupni jezik, če ga sam noče sprejeti.

Slovan ima tedaj za literaturno zedinjenje od sobratov prosto roko. Slovan po takem po svoji volji lahko drug slovanski jezik za književno rabo sprejme ali pa ne sprejme. Slovan lahko tedaj stopi v dejanjsko zvezo z drugimi brati po poti skupnega literaturnega jezika, ali pa si še dalje po svojih notranjih razmerah razvija svoj jezik neodvisno od sobratov. Odločba za en vse-slovanski književni jezik bi pričala o neprisiljeni pogodbi, o prostovoljnem porazumljenju med Slovani. Tak skupni sklep vseh Slovanov bi bil vséovati med enake pogodbe, kakoršne se veršé zlasti sedanji čas med raznimi narodi, n. pr. za mednarodne pravice o vojskah ali za kupčijo in druge vzajemnosti in skupne dobičke. Da bi bila taka vzajemna odločba med Slovani veliko imenitniša, nego vsaka mednarodna pogodba, kdo bi se upal tajiti! Ali radi tega bi logično vendar le ostala med imenovanimi mednarodnimi pogodbami.

Tak položaj, da Slovani skupni jezik prostovoljno lahko izberejo, daje jim neko prednost pred drugimi velikimi narodi evropskimi. Tem narodom namreč so zunanje moči jezik odločile, ne pa zavednost o vrednosti jezikovi. To je, da bi Slovani radi podarili tako prednost, ko bi mogli za tak dar v enak položaj stopiti, v kakoršnem rabijo sedanji razviti narodi svoje velike skupne jezike.

Zavednost o cenitvi jezikov je sedaj tudi pri Slovanih velika. Vse je tedaj na tem, da imajo priliko presojati, kak jezik bi bil njih literaturnemu zedinjenju najugodniši. Da pa tako presojevanje ni lahko, se razvidi iz mnogoterih mnenj, kakoršnih smo prej nekaj našeli.

Presodba o ugodnem jeziku pa je tudi v resnici težavna, ker na jezik deluje mnogo moči, na katere je treba tukaj neizogibno gledati. Za naš namen bomo pojasnjevali najprej, kaj je podloga vsakemu pismenemu jeziku, in potem, kak jezik bi imeli Slovani izbrati za skupni jezik.

I.

Kdor premišljuje, od kod izvirajo jeziki, in kakó so nastali, ima veliko težo nalogo, kakor pa on, ki pretresuje pismene jezike. Pervotni nastanek jezikov nam nič mar ni, in zato nam je razgovor polajšan in tudi hvaležniši.

Predno imamo pismeni jezik, mora ustmeni jezik živeti in že razvit biti do neke stopinje. Naj si bo pa ustmeni jezik še tako pervoten in reven, nekaj skupnih lastnosti ima z najboljšim jezikom na svetu.

Vsak jezik brez izjeme je sad notranjih nagonov in zunanjega sveta, ki deluje na notranjost človeško. Pri vseh izpremembah zunanjega sveta in notranjih človeških moči pa vzajemno delovanje človeško in zunanjih reči in dogodkov ostane bistveno neizpremenjeno. Vsled takih neizpremenjenih bistvenosti je tudi jezik sad stalnih notranjih in zunanjih moči. Določeni glas, katerega je prvi človek izrazil, izraža človek tudi denašnji dan vsled enake mehaničnosti ali vsled enakih nagonov in fizioloških moči.

Skupno delovanje psiholoških in fizioloških moči podaja jeziku vsakotere stopinje neko stalnost, ki se kaže v raznih jezikovih zakonih.

Vsak jezik ima tedaj več ali manj zakonitosti v sebi. Ta zakonitost ne nastaja vsled kakega prenišljevanja človeškega, ampak vsled moči, katerih se človek pri stvarjenji jezikovem še zaveda ne. Ravno slepa mehaničnost človeških moči, ki ustvarja jezike, podaja vsakemu jeziku bolj ali manj neizbrisno znamenje organične zakonitosti. Jezik je po takem pred vsako pismenostjo ne kak umeten izdelek, ampak naraven, zakonit in organičen pridelek.

Jezik takih lastnosti sprejemlje človek na kateri si boji stopinji v pismo. Vsakemu pismenemu jeziku je tedaj iskati prvotnega gradiva v ustmenem jeziku. Naj ravna človek s pismenim jezikom, kakor hoče, brez takega gradiva ne more ničesar opraviti. Iz tega je razvidno, da največji jezikovni umetnik na svetu brez prvotne podloge ne more ustvariti ne pismenega ne drugega jezika.

Zakoni ustmenega jezika morajo pa ostati v resnici temelj tudi pravemu pismenemu jeziku. Zakonitosti jezikove ni tako umeti, kakor da bi moral ostati jezik na stopinji vedno enakih oblik in enakega števila svojih pervin. Jezik je rastlina ali drevo, katero rase, se razprostira in usiha. Zakonitost kaže svoje moči v tem, da se vse izpremembe, vse krepčanje in pojemanje jezikovo verši po enih in istih potih vsled neizpremenljivih vzrokov.

Ni tedaj misliti, da bi bilo mogoče pravemu pismenemu jeziku živeti po drugih zakonih, nego je življenje ustmenega jezika.

Kdor vé, kako živi ustmeni jezik, utegne še le gojiti prav tudi pismenega. Znano pa je, da jezikovski umetniki pogostoma zabredajo in delajo jezikom krivice. Znano je, kakó načela izpreminjajo, kakó se prepirajo o slovarskih in slovničnih oblikah. Po takem ni toliko lahko zavedati se o pravem življenji jezikovem, in vendar je taka zavednost silno potrebna zlasti pri onih narodih, katerih jezik se še le razvija, in kateri mora rasti za narodne potrebe. Zato ni odveč, če se razgovarjamo o podlogi, katera je vsakemu pismenemu jeziku edino naravna in potrebna.

Mislimo si odraslega človeka, n. pr. slovenskega kmeta, ki nikdar ni še domače knjige bral, ki pa vendar pozna slovenske čerke toliko, da bi z njimi zapisal vse domače besede, kolikor jih zna. Recimo, da bi prišel tak človek med popolnoma tuje ljudi, ali pa na kak otok, kjer drugega človeka ni. V takem položaji začne zapisavati spomine in dogodbe svojega življenja v svojem jeziku z domačimi čerkami.

Kak bo ta jezik? Gotovo tak, kakoršnega je ta človek vaju iz otročjih let. Nobene izpremembe ne bo najti ne v slovarskem ne v slovničnem delu. Po največ bo kaka beseda pokvarjeno zapisana ali zaradi tega, ker ne zna čerk dobro rabiti, ali pa, ker nima za lastne glasove dovolj tankega ušesa. Bistveno pa bodo njegovi spomini pisani takó, kakor sam govori. Pisani jezik takega pisalca je v taki razmeri z ustmenim govorom, kakor živa podoba s fotografijo.

Tak jezik tedaj se ne razločuje od ustmenega jezika, tak jezik je pisa n, pa ne pismen jezik.

Ustmeni jezik ni pridelek samo enega človeka, ampak večé človeške skupine. En sam človek, tudi Metuzalemovih let, bi takega dela ne pokazal, kakor je jezik. On bi sicer glasove izražal po stanovitnih zakonih; ali taki glasovi bi ne imeli jezikove bistvenosti. Za ustvarjenje ustmenega jezika je tedaj vsaj dveh ljudi potreba. Okvir dveh oseb pa popolnoma zadostuje za misel, da bi dva človeka utegnila ustvariti za nja potrebni jezik. Naj bi si bil tak jezik kakoršen koli, gori omenjeno bistvenost vsakega jezika bi vendar imel.

Pa mi bi ne gledali na to, ali ustvarja jezike samo ena oseba ali množina ljudi, ko bi pri pismenem jeziku ne bilo enakega. Jaz sem zategadelj s premislekom tukaj rabil šematično podobo ali okvir z dvema osebama, in ga hočem za moje pojašnjevanje še dalje rabiti kot metodično sredstvo.

Naš kmet ali človek na otoku, kakor smo ga gori omenjali, je sè svojo pisavo lahko prav zadovoljen. Kar je zapisal, gotovo tudi umé pri prebiranju.

Sè svojimi zapiski vsakdo sebi zadostuje. In ko bi zapiski ne imeli drugih namenov, kakor lastne potrebe pisalčeve, bi gotovo ne potrebovali drugačne pisave nego lastno. Pismeni jeziki bi bili za vselej brezpotrebni.

Pismeni jeziki so torej bolj in bistveno za medsebojno rabo; za lastno rabo so le kot priveržek iz doslednosti. Za ustvarjenje in pojašnjevanje pismenega jezika je tedaj zopet neizogibno potreben okvir dveh oseb. Oglejmo si to našo načelno zahtevo.

Dva brata, v eni liši rojena in v enem in istem jeziku izrejena, si pišeta iz daljave v svojem jeziku na stopinji onega znanja domačega jezika, na kakoršno smo v začetku postavili našega samca na otoku.

Ali je jezik teh dveh bratov v pisnih različen od govora, v katerem se ustmeno in osebno izražata? Gotovo je enak ne samo bistveno, ampak tudi v manjših posameznostih. Po največ pišeta za kako čerko navskriž, in še to samo zaradi tega, ker njijna ušesa niso privajena jezikovim natančnostim.

Tudi ta primer nam ne kaže še potrebe in pojma o pismenem jeziku.

Enaka bi se nam godila, ko bi hoteli naštevati izglede v okvirji dveh oseb iz iste soseske, vasi ali istega terga.

Dva človeka iz raznih vasi, če tudi nista daleč vsaksebi, pa bi utegnila kazati različnosti v glasnicah in tihnicah in morda tudi v naglasu ene in iste besede. V pisnih bi se vsaj po naglasu ne ločila; za drugo pa bi se morala pogajati tu pa tam, ako bi hotela doseči enoličnost ali enakost.

Še večega pogajanja bi potrebovala dva človeka, ki živita n. pr. v drugih okrajih enega in istega jezika. V takem primeru bi potrebovala morda že pogajanja za slovarske pervine.

Lahko bi take podobe še dalje razgrinjali, ko bi naša namera ne bila že dovolj jasna. Vidi se torej, da v neki meji enega in istega jezika enakost oblik slovarskih in slovničnih prestaja. Kjer so občine iz več vasi, čuti še ljudstvo pogostoma razločke, n. pr. v mehčevanji tihnic, pa tudi v slovničnih končnicah. Enaka se godi večim mestom, v katerih govori gorenji del mesta drugo narečje nego dolenji.

Ali ljudem v vsakdanjem življenju take razlike ne delajo skerbi. Še le ko se ne umejo več, si skušajo zapomniti različnosti sosedove. Nikdar pa jim ne pride na misel pogajati se v dosego enoličnosti v oblikah slovničnih ali slovarskih.

Pismeni jezik pa nastaja vsled pogajanja, t. j. vsled jezikovega razuma. Oblične razlike istih znamenj in razlike znamenj za iste pojme v določenem krogu enega in istega jezika dajajo prvi povod za vsakotero jezikovo pogajanje. V prejšnjih primerih ni bilo jezikovega razuma potreba, ni bilo torej nobene umetnosti pri zapisovanju v domači besedi. Po takih potih bi tedaj nikdar ne nastal noben pismeni jezik.

Vzemimo pa dva človeka iz nekoliko oddaljenih vasi sè skupnim, pa vendar nekaj slovnično in slovarsko različnim jezikom. Naj spfšeta vsak svojo knjižico v natenkem govoru svoje vasi, pa naj si prebirata svoje spise v sverho primerjevanja slovarskega gradiva in slovničnih oblik. Onadva sta jezikoslovca,

sta si kos za določeni namen. Kot izvedena človeka berž spoznata, da njijn vaški jezik ni tak, da bi se pokrivala oblika z obliko, znamenje sè znamenjem za isti pomen. Vidita, da jezik v eni knjižici je večinoma dosleden po končnicah, po glasnicah v deblih in koreninah; vidita tudi, da v isti knjižici so besede večinoma v pomenu neizpremenljive. Če pa to knjižico primerjata z drugo, spoznata koj, da je tudi druga knjižica za-se bolj ali manj dosledna in stalna v istih končnicah, deblih, koreninah in besednih pomenih. Iz mnogostranskih primerov ali primerjevanj izpredita, da vlada večinoma določna doslednost toliko v eni knjižici, kolikor v drugi. Le ko bi hotela n. pr. končnico za eno in isto slovnično razmero zamenjati s končnico enake veljave v drugi knjižici, kazala bi se jima razlika. Spoznala bi naglo, da bi nevkretna zmes nastala, ko bi se pogajala za vsako razliko posebe. Imata pa poprek ravno toliko doslednosti v eni knjižici, kakor v drugi. Iz poprečne doslednosti svojih vaških govorov spoznavata, da je govor obeh vasi blizo v enaki meri dosleden, torej pravilen, po takem bolj ali manj zakonit.

Vrednost njijnih knjižic je torej po jeziku enaka. Rada pa bi enolično pisala. Posredovati jima ne kaže, da bi n. pr. zamenjala polovico doslednih strani jezika ene vasi za odstop polovice pravnega jezika druge vasi. Previdna pamet, ki jo kažeta o jezikih, ja na zadnje napoti na to, da se prostovoljno pogodita. Eden se uda drugemu in obeča, prihodnje pisati po doslednostih ne svoje, ampak druge vasi. Ta dva jezikoslovca sta po takem zastopnika dveh vasi, in njijna pogodba velja, kakor da bi se bili vaščani obeh vasi pogodili po enaki poti.

Jezik, ki ga v gornjem smislu enako pišeta, ima veljavo za obe vasi.

Ta primer kaže prvič spoznanje, da vsaka vas, vsak kraj manjšega kroga govori za se jezik z največimi pravilnostimi in doslednostimi, ki jih utegne narod roditi sam brez vsake pomoči človeškega razuma. Po takem bi bil jezik v eni družini najdosledniši, in jezik se v resnici po večem krogu svojega življenja bolj in bolj razlikuje.

Drugič priča naša prilika, da ima vsaka vas, vsak kraj od začetka pravico svoj jezik ohraniti tudi za pismeno rabo, ker vsaka vas ima svoj glas, in kot taka svojo moč razodeva bolj ali manj tudi v jeziku.

V resnici pa ni v vsaki vasi, v vsakem kraji enake pravilnosti, enake notranje moči jezikove, ampak kak kraj kaže večo mehanično moč ali veči čut v gojenji, izpreminjanji in množenji jezikovem. Potem je začetek vsakemu pismenemu jeziku bolj ali manj srečen, kakor so sperva bolj ali manj gledali na imenovane jezikove strani. Od prvih pisateljev v enem jeziku, ali da šematično govorimo, od prvih dveh jezikoslovcev v prejšnjem pomenu, je odvisno, kateri pismeni jezik dobi krepkejšo ali šibkejšo podlogo iz narodnega govora. Naj nam nikdor ne očita, da šematični dvé osebi tukaj niste primerni, češ, saj tudi ena oseba lahko podá temelj pismenemu jeziku. Saj tudi ena oseba se mora, če je za jezik pametna, potem sama seboj pogajati, za kateri ljudski govor večega ali manjšega obsega se bode odločila. Mi smo vzeli nalašč vasi, tedaj najmanjše kroge narečij, ki se podajajo za podlogo pismenega jezika. Če je šematičnost dokazala že v tako majhenih krogih potrebo za modro pogajanje majhenih jezikovih razlik, je razvidno, da potrebuje podloga za narodni jezik toliko večega pregleda in toliko večé previdnosti za pravo podlogo. Ako kaže govor v obsegu dveh neoddaljenih vasi mnogostranske, če tudi majhene razlike v primeru med seboj, je jasno, da se morajo razlike v večih krogih istega jezika za ene in iste strani zvečati in na druge strani pa množiti. Na neki meji ljudskega govora mora po takem prestati vsaka skupna doslednost. Kjer pa skupnih doslednosti več ni, tam ni več pogodbe, in naravno je, če tam jezik nastane sè svojimi zakoni, sè svojim lastnim življenjem posebe. Takó je zaznamovana po eni strani največa enakost jezikova v bližnjih vaséh in na drugo stran konec vsake skupnosti.

Med toma krajnostima se suče narodni jezik, in kot tak spada po velikosti in drugih razmerah vsakega naroda lahko v več takih krogov, ki imajo posamezni po primeru ené vasi večo ali manjo enakost v slovarji in v slovničnih oblikah.

Take skupine, kjer se večina slovarskih pervin in slovničnih strani bolj ali manj med seboj ujema, dajajo podlogo narečjem. Vsako narečje, ako je vredno tega imena, mora imeti večo večino jezikovih enakosti, kakor pa medsebojnih različnosti.

Ko bi se dva jezikoslovca v raznih narečjih istega jezika doma pogovarjala za obveljavo enega ali drugega narečja, imela bi pred očmi pri primerjevanji obeh narečij bistveno iste jezikove strani, kakor ona dva jezikoslovca iz dveh bližnjih vasi. Eno narečje bi moralo obveljati po jezikovih,

naravno razvitih zakonih. Tudi narečje nima kot tako pravice pred drugim temelj biti pismenemu jeziku za več skupnih narečij. Prostovoljna pogodba tudi tukaj velja, in spoznanje večje notranje jezikove moči v enem narečji bi se še le prav pametno odločilo za tako narečje.

Po tem pa, ko eno narečje nastopi pot pismenega narodnega jezika, ni več časa in tudi pravice ne za polovičarstvo ali zmesi iz enega narečja v drugo. Potem je vsaka in največa jezikova doslednost in pravilnost, prenesena iz drugega narečja v gospodovalno, na škodo pismenemu jeziku: potem je vsak živelj iz sorodnih narečij, neizpremenjeno presajen v glavno narečje, tako rekoč spaka, ki škoduje čutu in notranji organični moči onega narečja, ki je obveljalo za pismeni jezik.

Organična moč, ki se kaže v vasi in v vsaki celoti jezikovi, tedaj kolikor toliko tudi v vsakem narečji, prepoveduje jemati življe, katerih ni gojila ista moč do zadnjega razvoja. Ta zakon je najviši za pravo življenje vsakega pismenega jezika. V koliki meri se jeziki dejansveno bližajo temu vzoru jezikovemu, bomo še pozneje pojasnjevali. Tukaj nam je samo na tem, da pripoznamo vsakemu pismenemu jeziku za podlogo eno jezikovo celoto, nastalo v ljudskem govoru, katero celoto navadno imenujemo narečje.

Ta dokaz smo povzeli iz notranjega življenja jezika samega; torej je najnaravniši in najveljavniši. Kdor bi hotel v posebnostih posameznih narodov iskati podloge pismenemu jeziku, bi preveč dokazoval, in bi nekaj terdil, kar je samo ob sebi umevno. Da je enemu pismenemu jeziku samo en narod sè svojimi lastnostimi začetek, tega nikdor ne more in noče tajiti! Poleg take resnice bi še vedno lahko menili, da je dovoljeno razna narečja istega naroda mešati, kakor bi se komu zljubilo. Gotovo se je godilo, in se še godi, da so ne samo življe, ampak tudi zakone posameznih narečij potiskali samovoljno in brez pravega znanja v narečje pismenega jezika. Take napake proti pravemu življenju pismenega jezika pa nimajo kvariti čistih in absolutno veljavnih teoretičnih resnic o zakonih pismenih jezikov.

Dokaz o enem narečji za podlogo vsakega pismenega jezika si nekateri učenjaki kaj zljajšujejo, kazaje na velike kulturne narode v Evropi, katerim so se razvili njihovi jeziki prav v soglasji z našo teorijo na podlogi enega narečja. Tudi nam bi bila taka pot krajša, ko bi nam bilo zadostovalo tako pojasnilo. Ali zgodo-

vina omenjenih jezikov dokazuje po največ, da je mogoče na enaki podlogi ustvariti književni jezik tudi velikim narodom, nikakor pa ne kaže racijonalne potrebe in sile, da bi morali hoditi tudi drugi narodi po enakih potih. Kdor se spominja, pod kakimi pogoji so se začeli razvijati veliki evropski jeziki, spozna berž, da je bila bolj zunanja sila, torej jezikovo naključje, ne pa naravoslovna in filozofska zavednost povod početku tem zdaj mogočnim jezikom.

V resnici se ni razvoj omenjenih jezikov veršil po tako gladki in ostro odločeni poti, kakoršno tirja naše premišljevanje.

Na drugo stran pa je vendar veselo znamenje za nas, da se kaže zgodovinska pot jezikov vsaj poprek v soglasji z racijonalnimi ukazi. Po takem zgodovinski razvoj velikih jezikov ne dokazuje poti pismenim jezikom, ampak po največ poterjuje najdeno pot po drugih pojasnilih.

Žalosten dokaz, da zgodovina ni mogla prepričati vseh učenjakov o podlogi pismenih jezikov, zasledujemo v poskušnjah nekih takih veljakov, ki so hoteli n. pr. iz raznih življev mnogih slovanskih jezikov osnovati občeslovanski jezik.

Takih trudapolnih in nehvaležnih poskušenj bi svet ne bil videl nikoli, ko bi bili imeli ti učenjaki naš teoretični dokaz bolj pred očmi.

Napačnosti takih sicer dobrohotnih namer bi mi lahko tudi v posameznostih veljavno in za vselej zavračali.

Največi vzrok proti takemu snovanju je množina moči, ki delujejo na celoto in posamezne dele celote vsakega jezika.

Posamezne pervine jezikove niso samo iz glasnic in tihnic, kakor je videti na papirji, ampak vsaka pervina je nekaj živega ali takega, ki je nastalo samo v življenji s celoto jezikovo. Vsaka slovka je nastala vsled celote taka, kakoršna je; kot taka ima tudi svoj naglas, ki je primeren samo za življenje, kjer je slovka sama kot taka oživela, namreč v organičnem životu jezikovem.

Posamezna beseda enega narečja ima navadno deblo s prednicami in slovskimi in potem tudi slovničnimi končnicami. Taka sestava ima svojo določeno obliko v določeni dobi svojega obstoja samo vsled vseobsežnega življenja jezikovega. Kdor prenese končnico enega jezika v drugi jezik in jo tukaj pritakne neizpremenjeno k domačemu deblu, misleč, da ima zdaj besedo ustvarjeno po domačih zakonih, se moti in se pregreša proti za-

konom domačega jezika. Ravno tako napako napravi on proti pravi jezikovi mehaničnosti, tedaj proti pravemu in zdravemu čutu jezikovemu, ki deblu iz tujega verta pritakne domačo končnico. Pervi kot drugi primer je polovičarsko delo, eno kot drugo je proti skupnim zakonom, eno kot drugo vsaj jezikovega čuta ne more krečiti, pač pa ga toliko bolj kazi, kolikor bolj se tako delo ponavlja v tistem jeziku.

Posamezen narod je poprek enakega temperamenta, tedaj blizo enako nagle ali počasne kervi. Nagla ali počasna kri ima moč tudi na nagel ali počasen ustmeni govor. Zaradi tega se zakoni jezikovi ne izpreminjajo; ali življi, tedaj posamezne besede, dobivajo s časom tako lice in tak naglas, da ima nazadnje ves jezik zaradi take mogočne mehaničnosti poseben obraz: imenovali bi ga najbolje tok ali s tujo besedo »ritem« (rhythmus).

Kri, naglas in tok jezikov so po mojih mislih v tesni zvezi; napravljajo skupaj zgodovino jezikovo, t. j. dajajo jeziku posebno lice. Če se tudi kaže dosledno delavna moč na to stran v vseh narečjih enega naroda, zapazuje tenak čut zaradi imenovanih moči vendar v narečjih še posebe, če tudi majhene razlike.

Po takem je razvidno, da ima gospodovalno narečje narodnega jezika en vzrok več v sebi, ki poleg drugih kaže svojo organično in enotno delavno moč v vseh svojih pervinah in pervinskih zvezah.

Kri, naglas in tok jezikov kot poprek enake moči vseh narečij enega jezika pa dajajo dobro poročstvo o notranji enotni moči skupnega jezika. Krepost, ki je tudi vsled teh moči večja ali manjša v vsakem jeziku, je zopet dokaz za organičnost jezikovo. Organičnost, vzrasla iz toliko skupnih moči in operta na toliko strani, je končno največi dokaz proti napakam onih, ki kedaj koli nameravajo snovati jezik iz življev pobranih iz raznih jezikov!

Ogled notranjih moči, narodne lastnosti in zgodovina jezikov nam tedaj na vse strani dokazujejo organično zakonitost manjših in večjih celot jezikovih. Po vsem in pred vsem pa je dokazano, da na podlogi enega narečja mora se pismeni jezik osnovati, uterjevati in bogatiti.

II.

Strani, katere smo pojasnili, kako ni strojiti jezikov pismenih, kažejo dovolj, po katerih potih se krepí pravo njihovo življenje.

Najrazvidniše je, da tuje pervine najbolj škodujejo domačemu jeziku. In naj škodljivije so onemu jeziku, ki jih neizpremenjene sprejmlje, in še hujše, ako jih tudi neizpremenjene izgovarja. Mi imamo čisti tok ali ritem jezikov za največje sredstvo pravega jezikovega čuta. Pravi čut jezikov pa izvira po korenitih preiskavah iz nepokvarjene mehaničnosti jezikove in ta iz stroge doslednosti vsestranske analogične rasti jezikove.

Tuja beseda pa je sovražnica vsem tem najmenitnišim močem notranje jezikove kreposti. Po vsej pravici torej tujke vsak jezik po svoje prenareja; kjer mu jih je treba, je dosti dobrega sebi storil, če jim pritakne vsaj svoje slovarske in slovnične končnice.

Ni treba dalje naglašati, da mora vsak jezik izposojene pervine tudi sorodnih jezikov v korenikah, deblih in prednicah, pa končnicah vsake verste prenarejati po svoje. Kaj pa, kjer je pervina sorodna enozložna? Ako ni analogije doma za njo, bi je sploh ne bilo sprejemati. Drugače je kot smet v čistem životu jezikovem, čeravno je sorodna.

Treba pa je ločiti enozložnice, ki so znamenje kakega pojma, in pa enozložnice, ki za z namujejo razmere v stavkih. Perve se ne rabijo takó pogostoma, in ne kažejo toliko siromaštva jezikovega. Naj bolj lahkomišelnó pa je „členke“ izposojevati si, ker se prepogostoma rabijo, in ker bi kazale pomanjkljivost kategorij domačega jezika. Predno kdo misli, da je v jeziku pogrešati kategorij, naj gleda rajši, da ni sam prekratkoviden.

Da se ne mudimo dalje tam, kjer bi bile posebne razprave na mestu, n. pr. tudi za slovenske potrebe, ni pozabiti, da tudi pervine domačih narečij morajo se podvreči specijalnim zakonom v pismu gospodovalnega narečja.

Najbolje bi bilo, ko bi moglo glavno narečje vse strani jezikove okrepiti in obogatiti na podlogi svojih pervin in svojih bolj ali manj okrepljenih analogičnih moči. Povsem pa si ima glavno narečje gradivo izposojevati po načelu najbližih pervin, bodi si katere verste koli. Zlasti pa je treba slovnične oblike uterjevati na podlogi glavnega narečja.

Samo takó nastane organična celota z vedno krepkimi močmi jezikovimi tudi za daljnje življenje pismenega jezika.

Podal sem tukaj na kratkem več načel, kakor jih za moj namen ni bilo potrebnih. Pa pogled v slovenske kraje, kjer so jeziki še mladi, me v tem razgovoru opravičuje. Iz vsega se vidi,

da ima razum velik delež, pa gotovo še vedno večo nalogo za delovanje pri pismenem jeziku.

Razum sam ne more ustvariti še enega glasu ne. Vse, kar razum stori, je opazovanje pervin in analogij, po katerih se pervine jezike sestavljajo v ustmenem govoru. Narava deluje ostro po zakonih v ustmenem govoru, samo da jo človek včasih slabi in kazi vsled življev, ki jih iz medsebojnega življenja, kakor iz nečistega zraka, prinaša in v svoji nezavednosti zanaša v sicer prvotno čisto življenje ustmenega govora. Razum se tedaj poprijemlje še nepokvarjenih pervin in mehaničnih zakonov, po katerih se pervine združujejo, in takó naravi pomaga nezakonnosti trebiti, potem pa isto naravo krepiti z množenjem vsakoterih analogij ali v jeziku še živih moči. Narava dela tudi v jeziku počasi. Ako jo razum prav umé, jo prehití in stori v desetih rodovitnih letih laliko toliko in ravno tisto v jeziku, kar bi narava sama izdelala v sto letih. Pravi jezikov razum tedaj ne kvári narave jezikove, ampak jo uterjuje in pospešuje. Ako je ustmeni jezik prvotno bistveno nepokvarjen naraven pridelek, je pravi pismeni jezik umeten izdelek človeškega razuma, po istih naravnih zakonih oplemenjen, okrepljen in pomnožen.

Jezik pa je v celotah in v življih brezizjemno iz toliko in takó finih moči, da razum ne more nikdar opaziti vseh. K sreči zado- stujejo jezikovemu snovanju pervine, ki so same vsaka posebe sad mnogih moči. Ugodna je razumu ta naravina stran v jeziku ravno takó, kakor kemiku njegove pervine. Tudi on ne more atomov seštevati, snuje pa vendar iz skupin svojih pervin druge snovi.

Zavednost o raznoterih pervinah in pervinskih zvezah jezikovih pa ni bila nekdaj tolika, s kolikoršno se ponáša po pravici učeni svet denášnji dan.

Lahko si tedaj mislimo, da so nekdaj tudi sedaj razvitim jezikom godile se mnogotere krivice vsled nevednosti in napačnih poti pri vsakoterem delovanji na jezike.

Ni vse po naravnih zakonih vzraslo v jezikih, ki so zdaj razširjeni po Evropi. In še zdaj je mnogo krivih metod in kritik gledé na pravilnosti in pravo pospeševanje teh jezikov.

Najhujše je, da so razviti jeziki bolj ali manj izgubili tla, na katerih so vzrasli, in na katerih bi se morali gibati še dalje in vedno.

Pri novostih jezikovih navadno ne vprašajo, ali so analogije v določenem krogu ljudskega govora, ampak samo, kateri pisatelj

prinaša kako novost. Na besede takó imenovanih klasikov kar prisezajo v slovarskem in slovničnem oziru. Klasiki niso vselej klasiki zaradi absolutne popolnosti tudi vsakotere jezikove strani. Ne zaradi tega je ta ali ona jezikova pervina in pervinska zveza pravilna in popolna, ker jo je največi klasik rabil, ampak, ako je bil on res tak mož, da je jezikovo moč prav porabil, in da je prav opazoval prave analogije živega ljudskega govora. Kdo ve, kje je kak drugače veljaven pisatelj pobral ali skoval to pa ono slovarsko pervino ali stavkovo zvezo! Vsaj jezikoslovci bi morali previdni biti zlasti pri slovarskem snovanji, pa tudi gledé na skladnjo in kakoršne si bodi izreke!

Posebno Slovan na sploh nima potrebe od svojih pisateljev kar slepo sprejemati takih novosti, katerim se njegov čut ustavlja. Saj Slovan ima še dobro živo podlogo v ljudskem govoru za prepričanje o pravem jeziku.

Nadrobno delovanje jezikove zavednosti ni nam toliko na serci, kolikor povdarjanje o prvi in glavni podlogi vsakega pismenega jezika.

Slovani razvitih starejih in nerazvitih mlajših jezikov po našem teoretičnem načelu lahko opravičijo število svojih pismenih jezikov samih na sebi. Po našem načelu ne more nikdor očitati Slovakom, da ne pišejo enega jezika s Čehi, ali Slovencem, da ne pišejo enega jezika s Hervati. In če je še kako slovansko narečje bolj razločno od drugih slovanskih jezikov, ima enake vzroke in enako pravico osnovati si na svojih tleh svoj pismeni jezik. Narava sedanjega ljudskega govora pri raznih Slovanih opravičuje večje število slovanskih pismenih jezikov. Ta vzrok pa ne pripoveduje še, da so posamezni Slovani svoje pismene jezike razvijali po našem načelu. Tudi sedanja razvita zavednost o jezikih ne dokazuje še, da se mlajši slovanski jeziki razvijajo po zakonu tu priporočenega nauka.

Naša teorija ne zaukazuje samo, da naj se vsak jezik sam iz sebe krepí in množi, ampak tudi, da naj si eno narečje med svojimi odbere za glavno, katero naj potem razvija kot pismeni jezik. Po tem priporočilu bi se ravnal najdosledniše on jezik, ki bi imel samo eno narečje v narodnem govoru. V takem slučaju bi še zavednosti o naši teoriji ne bilo treba, ker bi narava jezikova sama kazala pravo pot pisateljem. V takó ugodnem stanji pa še majhene slovanske veje niso; tudi te imajo po več narečij. Vse je tedaj na tem, da se posamezni Slovani zavedajo gospo-

dovalnega narečja v pismu. Mnogi Slovani imajo svoj jezik gotovo uterjen na podlogi pomešanih narečij. Mnogi do zdaj še méj posameznih narečij ne poznajo ne po notranji kakovosti, ne po natančni razširjenosti. Zato tudi ni misliti, da bi bili Slovani po natenkem teoretičnem ukazu razvijali svoje jezike. Vendar ni tukaj tolike nezakonitosti, kakor tam, kjer nepremišljeno, ali pa vsled drugih namer svoj jezik mešajo sè slovarskimi, celó nepredelanimi življi iz drugih slovanskih jezikov, ali pa kjer celó domačo slovnico uterjujejo z ozirom na bližnje ali oddaljene slovanske sosede. Pa tudi take bolezní bi život jezikov laže prestajal, ko bi ne kazali pri takem početju nedoslednega strojenja in kerpanja.

Ni preveč tedaj naglašati, da mora jezik kazati svojo moč sam iz sebe. Če že druge moči ne kaže, naj prevstvari po svoje vse, kar si od drugod izposodi. Jezik, ki nima toliko moči, ali prav za prav, kateremu ne dajajo toliko moči, da bi izposojene življe prevstvarjal po svojih zakonih, je mertev. Za tako onemoglost pa so oni odgovorni, ki moči jezikove ne znajo vzbuditi, in jo samo zatirajo.

Za natenko spolnjevanje našega načela o podlogi pismenim jezikom je treba velikih priprav, za kakoršne ni bila pretekla doba sposobna. Že samo to, da bi izvedeli, kako daleč seza kako narečje v narodnem jeziku, treba bi bilo gradiva nabirati po dotičnih pokrajinah. Pa tudi ko bi bili v prejšnjih časih izvrševali tako delo, bi ne bili znali dovolj jezikovih pravil, po katerih se razdeljuje in odločuje tako gradivo. Najsrečnejši početki pismenim jezikom so bili tedaj po največ bolj po naključji, kakor pa po zavednosti poprek pravi ali kolikor toliko metodično pravilni.

Metodično najpravilniši početki pismenim jezikom pa bi bili samo tedaj, ko bi sè strokovnjaško znanostjo nabrali gradiva iz vseh narečij enega jezika, in ko bi potem to gradivo primerjali po stališčih, katera dajajo narečju prednost pred drugim.

Slovanski jeziki so v sedanji dobi že vsaj v početkih svojega razvoja. Določili so si že bolj ali manj pota, po katerih se bogaté in uterjujejo. Zategadelj je omenjeno metodično pravilo, kakor za druge narode, takó tudi za Slovane že prepozno in nepraktično. Praktične in brezpogojno potrebne pa bi bile take priprave za one narode, za one Slovane, ki bi si še le hoteli ustanoviti pismeni jezik. Praktična bi se kazala taka metoda, se vé da, tudi za one narode, ki bi imeli vzrokov dovolj obupati nad sposobnostjo

svojega že začetega pismenega jezika, in ko bi se jim kazalo, v narodu še sposobnega gradiva najti za osnovanje boljše podloge svojemu jeziku. Če pa to stran prav ogledamo, niso tudi mnoge slovanske veje takó daleč dospele v svojih jezikih, da bi si ne utegnile že določenih poti popraviti in zravnati po naši metodi. Kakor je pri drugih narodih napočila doba, da zaradi vednosti same preiskujejo svoja narečja, dosežejo Slovani z enakim delovanjem lahko še praktične in izdatne dobičke. Ne samo slovar, ampak tudi slovnico si po taki poti na najjimenitniše strani naravnije uterdé.

Vzor naš je povsem ta, da Slovani ljudskega govora ne zapusté. Na tej naravni podlogi naj jezik vsaka veja posebe goji in množi, in nikdar ne bo takih razločkov med njihovimi jeziki, kakoršne dela umetna roka vsled slabe jezikove dosedanje zavednosti.

Mi torej zahtevamo zaradi naravnih jezikovih razločkov za vsako vejo slovansko poedinih, strogo ločenih, na lastne specifične zakone opertih jezikovih celot ali pravih pismenih jezikov. Mešanja ne odobrujemo. Najmanj pripoznavamo bližanje s tem, da bi specifične zakone polovičarsko prenašali iz enega jezika v drugega. Naša teorija ne dopušča, da bi se mehanična moč ali čut domačega jezika kvaril in slabšal z vsakoterimi življi drugih, če tudi najbližih sorodnikov.

Po takem mi samo dve poti poznamo: Ali svoj jezik strogo po domačih zakonih razvijati in uterjevati, ali pa sprejeti popolno organično celoto drugega bližnjega jezika. Celota naj ostane celota, kjer je, in kamor sega. Nasledki za posamezne slovanske narode, so potem še vedno taki, da imajo tudi po prestopu in pristopu k drugemu slovanskemu jeziku lahko in naravno še svoj poseben jezik za ože narodne potrebe.

Po takem je naravno, da zdaj premišljujemo o prehodih enega slovanskega jezika k drugemu.

III.

Dva človeka popolnoma različnih jezikov se umeta samo pod pogojem, da začne govoriti prvi v jeziku drugega. Narodi kot celote niso tako lahko v položaji, da bi bili prisiljeni občevati z drugimi narodi v jeziku poslednjih.

Tudi Slovani bi nikdar ne mislili na približevanje ali prehode enega svojih jezikov k drugemu, ko bi bili med seboj v

razmeri dveh popolnoma različnih jezikov. Tak prestop, ko bi se kedaj izveršil, bi bil zaradi sorodnosti že naprej laži od podanega primera. Prestop pa bi imel vendar, kakor smo naglašali že v začetku, značaj pogodbe, po kateri bi en del nekaj odstopil drugemu.

Recimo za zdaj, da bi hoteli Slovani samo en glavni jezik imeti, ne pa dva, n. pr. na severji enega in na jugu drugega. Potakem bi bil en jezik nasproti vsem drugim slovanskim jezikom. Na dobiček in silo pri taki pogodbi tukaj ne mislimo. Potrebno pa je ogledati si razmere sedanjih slovanskih jezikov, da ne vidimo lahkote, kjer je ni, in težav, kjer so samo na videz.

Ako govorimo o prehodu skupine slovanskih jezikov k enemu samemu, si ne mislimo takega dogodka takó, kakor da bi prestali dosedanji jeziki slovanski. Tega bi še izveršiti ne bilo mogoče, ker v najneugodnišem slučaju bi ostajala s prestankom pismenih jezikov še vedno narečja posameznih vej. Saj tudi zdaj ne morejo pismeni jeziki zatreti ljudskega govora v njegovih posebnostih. Slovansko ljudstvo bi se še vedno tolažilo s tem, da mu ne morejo vzeti domačega govora. Na svoji široki, če tudi nizki podlogi bi Slovan tudi dalje govoril, kakor dozdej, ker noben pismeni jezik ni še takó mogočen, da bi se svojo močjo vse različnosti narečij ugladil in takó izpodrinil. Taka doba, v kateri bi pismeni jezik pokrival ustmenega, mora nam vsaj za stoletja, ako ne za vselej, ostati samo vzor.

Slovan pa tudi svojega jezika ne zamenja, če skupnega sprejme, ampak nauči se še enega sorodnega, če tudi oddaljenega, poleg svojega. Kajti tudi svoj pismeni jezik si mora Slovan posebe prilastiti, kolikor bolj je njegov ustmeni jezik oddaljen od pismenega jezika. V takem slučaju bi si Slovan dva sorodna pismena jezika prisvojil, svojega in glavnega sorodnega. To je, da bi bilo naučenje enega teže od drugega. Samo Slovan, čegar lastni jezik bi bil glavni jezik njemu in vsem drugim, bi imel tukaj polajšavo v oni razmeri, v kakoršni je zdaj naučenje lastnega jezika za vsakega Slovana.

Taka polajšava pa ni majhena, in gotovo bi jo vsak Slovan rad imel za-se.

Ta polajšava pa bi bila različna po razmeri večje ali manje sorodnosti pismenih jezikov. Ta razlika v polajšavi bi bila tudi med glavnimi povodi za to, ako nameravajo Slovani uterditi vsaj dvoje glavnih literaturnih jezikov.

Ko bi Slovani še skupaj bili na stopinji vsestranskega razvoja ali enake zaostalosti in brez vsakega pismenega jezika, bi jim naključje odkazalo narečje za pisavo, kakor drugim zgodovinskim narodom. Nezavednim bi ne bilo žal, katero narečje obvelja ali po zasluženji ali brez vsake prednosti pred drugimi. Na to stran bi tedaj ne bili Slovani ne na boljšem, ne na slabšem, nego drugi narodi. Lahko si pa mislimo Slovane tudi na toliko manjšem prostoru skupaj, kolikor prostora zavzemajo druga plemena med njimi; ali pa vzemimo, da zasedajo slovanske veje one daljave in širjave, na katerih prebivajo zdaj druga plemena med Slovani. Tudi v tem primeru, ki je sedanjim slovanskim razmeram podobniši, bi ne bilo Slovanom toliko težko izbrati glavno narečje za vse slovanske naselbe. Veča dotika ali geografná skupnost bi ne bila slovanskih jezikov toliko ločila, da bi se bili zavzeli nad onim narečjem, katero bi bilo obveljalo kakor edin in glavni jezik slovanski.

Iz tega primera je pa tudi razvidno, kakó so se morali slovanski jeziki ločiti in razločevati, kolikor bolj so delovali na nje vplivi onih narodov, ki zavzemajo denašnje prostore med Slovani. Taki vplivi so šli slovanskim jezikom v živo, in njih sledov ni mogoče zatreti z vsemi dobrimi željami ne.

Pa tudi razkropljeni Slovani, kakor so zdaj, bi ne bili takó na slabem zaradi zedinjenja gledé na literaturni jezik, ko bi bila zgodovina v raznih dobah delovala na vse veje z enakimi močmi. Deržavne, družabne in verske razmere so tedaj z velikimi močmi ločile in obdelovale slovanske jezike, da zdaj v resnici nimajo značaja narečij več, ampak samostalnih jezikov.

Vidi se, da je približevanje enega pismenega jezika k drugemu v namen zedinjenja lepa, pa bolj ali manj utopična želja. Na to stran pravijo tedaj bolj prav oni, ki želé napraviti več glavnih jezikov. Izraženo pa je že naše stališče tudi za te vsepuh ugodniše namere. Eno tolažbo pa onim ponujamo, ki so pri teh jasnih razmerah že izgubili upanje za prejšnje ali poznejše literaturno zedinjenje slovansko.

Pismeni slovanski jeziki se kot taki v resnici med seboj razločujejo bistveno iz naštetih vzrokov. Rekli smo že, da pismeni jeziki slovanski se tudi niso snovali in uterjevali po naših načelih. Slovani so začeli jezike pisati s pisateljsko močjo, ki se je sposobila pod vplivi tujih jezikov. Brez preiskav narečij počeli so življe domačega jezika vkovavati v pismo, in delali so brez vsa-

kega tenkega čuta za materinščino večo ali manjo krivico in silo zlasti slovnični skladnji.

Pa tudi ko bi bili snovali pismeni jezik na pravi narodni podlogi, doslednost razumova jih je gnala po začetih poti naprej.

Ena veja se ni na drugo ozirala, in takó so nastali razločki, kakoršnih bi drugače v jezikih slovanskih vej nikdar ne bilo. To bi lahko a priori terdili, pa ljudski govor to terditev po svoje utemeljuje.

Pismeni jeziki imajo nepopolna znamenja za glasove. Nepopolni alfabeti so tudi jezike razločevali. Na pisanem papirju je videti razloček, v ljudskem govoru pa pogostoma ni tolikega, ali pa celó nobenega razločka. Slovansko ljudstvo si je tedaj pri vseh razločkih v govoru še vedno bliže na to stran, kakor pa pismeni jeziki raznih vej.

Pismeni jeziki so do sedanje dobe bili skoro brez vsakega vpliva na ljudstvo ne samo pri Slovanih, ampak še pri drugih narodih, kateri imajo že stoletja klasično literaturo.

Slovansko ljudstvo je bilo še do denašnje dobe na sploh še tako, kakor da bi Slovani pismenega jezika še imeli ne. Tedaj tudi ni tolikih razločkov v raznih slovanskih narečjih, kolikoršni se kažejo v njih pismenih jezikih. Kdor tedaj sodi težave učenja slovanskih jezikov med Slovani samimi po razločkih dosedanjih pismenih jezikov, kaže na več težav, kakor jih je v živem ljudskem govoru. Ta stran je tedaj tolažilna za namero literaturnega zedinjenja. Pač je ta tolažba samo tedaj praktičnega pomena, ako bi po teh mislih pismeni jezik izgovarjali, in ako bi se bližali v vsakem pismenem jeziku dotičnemu ustmenemu govoru.

Po takem bi bila prva dolžnost, da Slovani svoje jezike popravijo na podlogi svojih narečij. Največo dolžnost pa bi imel on slovanski narod na to stran, kateri bi dal svoj jezik za književni jezik vsem drugim vejam. Druge veje te preuredbe niso samo zaradi tega vzroka toliko potrebne, ker drugi Slovani vsak svoje narečje znajo, in bi po svojem narečji, ne pa po svojem pismenem jeziku zagledavali enakost ali razloček v življih glavnega jezika.

Mi torej kažemo najprej na resnične razmere v ljudstvu živih jezikov. Te razmere ne ločijo slovanskih jezikov toliko, kolikor kaže njih podoba v knjigi. Taka resnica je večega praktičnega pomena in izpodbuja bolj k naravnemu bližanju, nego

vsaka druga izpodbuja in želja. In dobro se je treba spominjati, da taka resnica polajšuje bližanje brez vsakoterega kerpanja in mešanja raznih neorganičnih življev. Taka resnica pospešuje bližanje z jezikovimi, ne pa zunanjimi močmi. Po vsem niso resnične razmere slovanskih jezikov tako neugodne, da bi modro ravnanje ne moglo zediniti s časom Slovanov v skupni literaturni jezik. Ker pa Slovane na to stran nobena sila ne pritiska, lahko se prav pametno pogajajo za on jezik, ki bi se jim pokazal takega, ki bi jim kot najsposobniši najbolje ugajal.

Zato poskušamo zdaj primerjati slovanske jezike z raznih stališč, katera se ozirajo bistveno na jezik sam kot tak, in ne na druge strani.

IV.

Pismeni jeziki slovanski so v namen primerjevanja na boljšem, nego narečja, ki živé v slovanskem ljudstvu. Za pismene, tudi mlajše jezike je v večí ali manji meri gradiva nabranega v slovarjih ali književnosti posameznih slovanskih narodov.

Če tudi ti jeziki niso doveršeni, kakor smo mi želeli v prvi in drugi številki tega premissljevanja, je vendar razvidno iz njih toliko, kolikor potrebujemo za ocenjevanje njih medsebojne vrednosti gledé na najpoglavitniše jezikove strani. Vidi pa se berž iz tega, da nam pokaže nasledek našega primerjevanja po največ relativnost, ne pa popolno prednost tega ali onega slovanskega jezika.

Pri vsej prostosti, katero ima Slovan gledé na odločbo za skupni literaturni jezik, je vendar pri izbiranju omejen na odločeno gradivo svojih jezikov. In ko bi bili ti jeziki poprek slabi, bi pač Slovani potrudili se, da ne odberejo najslabšega srednika svojemu duhu, v resnici pa bi vendar ostali slabi na to osodno stran.

Jezik je pred vsem drugim sredstvo za mišljenje in porazumljenje. Kot tak je bolj ali manj sposoben za imenovano posredovanje, in samo na to stran je večje ali manje vrednosti. Oni, ki si jezike izbirajo n. pr. iz političnih in verskih vzrokov, vedejo se, kakor bi med jeziki ne bilo razločkov gledé na notranjo in prvo njih vrednost. Jezikom se po taki poti krivica godi, ker ne dobi vsak svojega mesta, kakoršno zasluži.

Zato so nam tudi slovanski jeziki najprej posredovalna moč za razvoj in rabo slovanskemu razumu. Druge moči, proti

katerim bi se jezik upiral brezvspešno, se že takó same bojujejo za svojo veljavo. Kjer pa se jeziku nobene sile ne godi, tam naj po zasluženji deluje na zgodovino, kolikor je jeziku mogoče. Zato ogledujmo si slovanske jezike tudi tukaj kot bolja ali slabša sredstva v gornjem smislu.

Pred vsem naj nas vodijo razgledi, ki daleč sezajo, ne pa vsakdanji in začasni in zahipni dobički sedanjega zaroda slovanskega. Vse nenaravne in maloserčne sklepe drugače slovanski nasledniki uničijo, in se bodo še jezili nad sedanjo kratkovidnostjo ali pa zaslepljenostjo. Saj se vidi, kakó imajo pozneji zarodi, predno kaj boljšega osnujejo, toliko opravi samó s podiranjem narodnih naprav svojih prednikov.

In nič se ne godi drugače pri snovanji in uterjevanji narodnih jezikov, kakor priča tudi jezikova zgodovina pri nekaterih narodih. Jezikom je v prvi versti potrebna moč razvijanja ali zmožnost, s katero se jeziki uterjujejo in bogaté po svojih notranjih močeh in z lastnimi pervinami.

Slovanski pismeni jeziki se sicer niso razvijali strogo po enem načelu in sploh po ljudskem govoru. Obogateli in uterdili pa so se vendar kolikor toliko vsled enakih notranjih moči. V primeru med seboj imajo poprek enake verste jezikovih debel, prednic, slovarskih in slovničnih končnic, pa tudi enake verste zvez v slovnični skladnji in sploh enake govorne dele in enake stavkove kategorije. Tudi gledé na število pervin v posameznih naštetih verstah niso slovanski jeziki bistveno daleč vsaksebe. Bogateli so po enakih močeh in enakih analogijah, ki živé v imenovanih močeh. Razločujejo se samó v tem, da so eni bogatejši, nego drugi; bodisi, ker so se začeli prej razvijati, bodisi, ker z večimi močmi in iz drugih vzrokov in razlogov lahko izdatnejše ali intenzivniše delujejo za jezikova obogačenja. Ko bi bili tedaj slovanski jeziki zdaj v enakih početkih z enako delavnimi močmi, in ko bi jim šlo za stavo, bi bistveno ne pokazal eden prednosti pred drugim, ampak prišli bi v določeni dobi blizo ob enem časi do določene stopinje svojega razvoja.

Bistvenega razločka tedaj slovanski jeziki ne kažejo v svojih kalih ali prvotnih močeh in raznoterih pervinah.

Prvotno enake in skupne moči jim v velikem številu živé tudi za nadaljnje razvijanje.

Ta skupna lastnost slovanskih jezikov je najboljša stran gledé na prihodnjost, in je v tolažbo onim slovanskim vejam, katerim je pismeni jezik še le v početku in nepopolen. Najpopolniji slovanski jezik nima pred najmlajšim sorodnikom bistveno nikakoršne prednosti na to stran.

Ko bi videli, da je kak slovanski jezik relativno doveršen, pa da je okamenel v notranjih močeh, odrekli bi mu mi prednost pred najmlajšim gledé na prihodnjost.

Popolnost in pa okamenelost ali okostenelost se pobijati tudi v jezиковi rasti. Ko bi bil oterpnel kak slovanski jezik, ne mogel bi se ponašati v sedanji dobi še sè svojo, če tudi relativno doveršenostjo, ker do zdaj vsaj Slovani niso mogli razviti in utrditi jezika zlasti, kakor ga potrebujejo raznoteri vednostni oddelki za vsakotero notranje razredovanje različnih in najsorodniših pojmov.

Nam po takem ne more biti toliko na tem, da je kak slovanski jezik že popolen, nego na tem, da si je krepost notranjih moči ohranil za nadaljnji napredek. Krepkost in čverstost notranjih moči pa ostane samo takó dolgo neomahljiva, dokler so pismeni jeziki v dotiki in zvezi z živim ljudskim govorom.

Že vsled samo te resnice odrekamo n. pr. staroslovenščini sposobnost za skupno slovansko pismenost. Staroslovenščina je za nas mertev jezik, in s tem nehajo vse namere in poskušnje za literaturno slovansko skupnost.

Pravi jezikov razum utegne pač tudi mertvim jezikom vdahniti nekoliko življenja. Z bistrostjo jim marsikotero pervino po notranjih analogijah oživi. Kaj takega opazujemo pri takó znanih novodobnih latinistih, ki po ostrih zakonih klasične latinščine pomnožé vsaj umetno n. pr. tehnični slovar za kako pervino in lepo drobtino. Pa kaj so take poskušnje proti zahtevam rastočih potreb naprednega življenja, n. pr. narodov sedanje dobe!

Gledé na staroslovenščino bi bili še v izgovarjanji težko edini! Po tem pa, kje bi ta jezik ustrezal potrebam sedanjih ved! Živo življenje slovnično v skladnji bi težko dobivalo dovolj analogij za nadaljnje razvijanje, in fizijologičnim zakonom gledé na izgovarjanje bi še takó modri jezikoslovci krivico delali posebno v naglasu. Kdo bi nas prepričal o pravem ritmu, ki se tudi nahaja v prav razvitem jeziku! Kot taka naj ima staroslovenščina najpopolníše slovarsko in slovnično lice: za živo rabo zlasti v sedanji dobi ji je življenje za vselej nehalo.

Ako bi se tedaj kak jezik, kakor n. pr. ruski, skliceval na to, da je prvi ded po staroslovenščini, je to samo toliko prav, kolikor goji v sebi pravilnih življev in oblik po pravilnosti staroslovenščine, pa ne na podlogi staroslovenščine, ampak svojega v sedanji dobi še bolj ali manj živega ljudskega govora. Da ruski jezik svoje življenje krepi in povečuje po pravilnih ali nepravilnih potih iz narodnega govora, to je gotovo in edino tolažljivo za ruski jezik. Preveč in slabo bi o ruščini pričali oni učenjaki, ki bi nevkretno povzdigovali ruščino z neveljavnimi razlogi.

Po vsem je razvidno, da ostajajo Slovanom za odločbo skupnega jezika samo zdaj živi jeziki.

Z živimi jeziki pa se naslanjajo nekateri Slovani prav pametno na svojo večjo ali manjšo književnost, v kateri je združena večja ali manjša uterjenost in bogastvo jezikovo.

Eno dobro stoletje je, od kar se kažejo strani novega življenja izobraženim in neizobraženim narodom evropskim in njih ameriškanskim naselnikom. Bolj in bolj se kažejo strani in življi, vsled katerih nastopa doba za predrugačenje najimunitniših vsakoverstnih človeških in narodnih razmer. V tej dobi je tudi početek zgodovini slovanskemu svetu.

Z novo dobo pa nastaja tudi nova literatura vsem narodom, na katere delujejo moči zaznamovane dobe. Književnost pred to dobo je že zastarela. Ostaja samo literatura novodobna. Slovanska literatura ima veljavo na sploh, kolikor je ima, iz nove dobe. Pa kakor drugod, je tudi slovanska književnost sedanje dobe bolj efemerna, bolj za današnje potrebe in razmere, kakor za prihodnje rodove slovanske. Vsa sedanja literatura, ne samo slovanska, obstaja poprek samo iz poskušanj z novimi predmeti in vprašanji. Stalnega tedaj v tej dobi na sploh ni iskati za slovanske naslednike; po tem tudi ni razlogov sklicevati se na večjo literaturo in prednost enih slovanskih narodov pred drugimi v tem delu.

K temu je prištevati, da tudi zaostali slovanski oddelki hitijo in se z vsemi močmi poprijemljejo v svojih jezikih enakih problemov, enakih dognanih resnic v vedi in leposlovji. Zaradi ugodniših književnih razločkov samih bi se po takem ne uklanjali drugi Slovani, ki so zaostali na to stran.

Jezik se je nekaterim Slovanom zaradi večje literature pač zares uterdil in pomnožil. Za ta del imajo nekateri Slovani zares že to, kar morajo drugi še le doseči. Pa prvič bo do skupnega

jezika še mnogo časa poteklo, in do takrat tudi drugi Slovani ne bodo deržali križem rok v pismenosti. Drugič imajo razviti jeziki vsled naših načel še mnogokaj popraviti, česar se mlajši narodi pri večji jezikovi zavednosti lahko s početka oganejo, in se pravega poprimejo. Gledé na pravilnost in pravo notranjo moč jezikovo se tedaj mlajši slovanski jeziki lahko razvijajo boljše, in po takem vsaj v strahu ne bodo pred zdaj razvitišimi jeziki.

Samo misel, da so se jeziki pri razvitiših slovanskih narodih na mnogo strani pravilno uterdili in obogateli, in da se bodo mlajše veje razvijale v jezikih po cnakih potih, takó da po istih zakonih boljšega ne dosežejo, nego oni, ki že imajo enake vspehe pred seboj: samo taka bolj ali manj opravičena misel daja nekoliko prednosti razvitim pred nerazvitimi jeziki, ako bi prišlo iz tega vzroka zdaj — d o odločbe! Razvijalno moč imajo po prejšnjem pojasnilu mlajši in stareji jeziki slovanski enako v sebi. Za prihodnjost so tedaj na to stran dobri.

Ali jeziki rasejo in usihajo na vsakotero stran svojega življenja. Slovanom pa mora biti v prvi versti na serci, da jim ne začne vsaj skupni jezik hirati, takó rekoč, predno začne zgodovinsko delovanje slovanskega duha.

Pismeni jeziki imajo sicer dobro varstvo v oblikah, ki so stalniše, nego izpremenljivi glasovi ljudskega govora. Književne oblike ne poginejo takó naglo. Pa po našem pojasnilu mora imeti pismeni jezik svoje življenje v živih narečjih. Pismeni jezik tedaj ne more svojih oblik veliko bolj krepiti, nego so v ljudskem govoru; drugače se pismeni jezik preveč oddaljuje od živega govora, in lahko izgubi tla pod seboj. Slovanski jeziki kažejo tudi po kreposti oblik ninože razlike; bodisi, da so te razlike posnete iz živih narečij, ali pa, da jih je umetno glajenje in lepšanje napravilo krepke in šibke, ravno kakor se kažejo, n. pr. v sedanjosti dobi.

Mi pa imenujemo tukaj krepke oblike, prvič one, ki imajo več polnih glasnic nego ozkih in medlit; drugič take, ki imajo več terdih tihnic, nego mehkih. V jezikih je pa taka doslednost, da so s krepkimi glasnicami združene tudi krepke tihnice in narobe. Fizijologični zakoni ali njih moči so tem doslednostim vzrok.

Jeziki napredujejo po poti slabljenja svojih oblik. Napredek v notranji vrednosti jezikovi se verši po razmernem hiranji prvotno močnih oblik. Posamezne oblike se slabé in kot take so manj vredne nego krepke. V sestavih

govorovih pa podajajo jeziku hitrost in sposobnost za naglo mišljenje in sporazumljenje. Iz tega vzroka bi bilo želeti kar mogoče šibkih in kratkih oblik. Ali oblike so znamenja za različnosti jezikove. Slabljenje in glajenje ima svoje meje tudi v oblikah. Saj še številke z gotovo kratkimi znamenji imajo na zadnje pri vsej kratkosti neko velikost; če ne, bi se ne razločevale več med seboj.

Tudi jezik, ko oslabi do neke meje v svojih oblikah, mora varovati take skrajne meje, ali pa začne mešati oblike raznega pomena. Premajhene pervine izgube občutnost za prvotne pomene in stavkove razmere.

Tako se je prigodilo romanščini, da je izgubila občutnost za sklone v sklanji, in francoščina n. pr. je izgubila občutnost tudi za osebne končnice v glagolu. Nemcu se je to zgodilo že davno na obe omenjeni strani. In kaj delajo taki jeziki? Občutnost si zopet krepijo s prirastki na eno stran z nastalim členom, na drugo stran s pridevki osebnih zaimkov pred glagoli.

Ali je to napredek v smislu naglega porazumljenja? Gotovo ne, in ravno tako bi se lahko godilo onim slovanskim jezikom, ki so si že ošibili v veliki meri oblike.

Na sploh so slovanske oblike krepkeje, nego sploh romanske, pa šibkeje nego n. pr. nemške. Po dolgosti debel, prednic in končnic slovanskih in slovničnih pa prekosijo slovanski jeziki romanščino in germanščino. Med seboj pa so slovanski jeziki, n. pr. česki in poljski, šibkeji, nego n. pr. hervaški in slovenski.

Ruščina ima tudi mnogo mehčevanja v sebi, pa je vendar vmes med šibkimi in krepkimi oblikami drugih slovanskih jezikov.

Po takem bi kakovost ruskih oblik najbolj uga-jala oblikam drugih slovanskih jezikov. Gledé na absolutno krepkost oblik bi kak drug slovanski jezik bil nad ruskim jezikom; gledé na prestop k skupnemu jeziku vseh drugih Slovanov pa bi ruski jezik kazal najugodniše oblike.

Pogled v bodočnost in trajalnost jezikov bi tedaj Rusom podajal gledé na vse Slovane prednost pred drugimi slovanskimi jeziki.

Gledé na logične razločke oblik, n. pr. v sklanji, bi mi tukaj tudi prednost odkazovali ruščini. V tem ima gotovo staroslovenščina zaslužnje za ruski jezik, ako ne gledamo na ljudsko podlogo pismenemu jeziku.

Pravilnost in zakonitost slovanskih jezikov je poprek bolj ali manj enake veljave. Poprek ne zaslu uje noben slovanski jezik prednosti pred drugimi jeziki. Morda bi pa krivico delali, ko bi ne povdarjali, da je videti jezik  eski in poljski pravilniši in dosledniši, nego mnogi drugi slovanski jeziki.  eski jezik je posebno dosleden tudi v naglasu in vsled tega tudi v ritmu jezikovem. Ta stran sama na sebi daje jeziku veliko vrednosti, in mu obeta bolj ali manj neizpremenljiv obstanek oblik v daljnem razvoju.

 eski jezik in drugi z enakimi naglasi pa naglasu ve ine drugih slovanskih jezikov ne ugaja. Tak naglas, kakor je  eski, mora po naravni poti slabiti občutnost slovninih kon nic in še celo skerhati slovarska debela tam, kjer so sestavljena s prednicami.

Sploh pa je naglas preiskovati v raznih pismenih jezikih, ker ta daja krajšo ali daljšo prihodnjost jezikovim oblikam.

Ostaja nam še slovarsko gradivo v presojo. Manjši narodi slovanski vsled notranjih jezikovih mo i ustvarjajo si s  asom lahko take slovarje, s kakoršnimi se ponašajo že zdaj ve e slovanske veje.

Po na elu razvoja pismenih jezikov na podlogi enega nare ja bi slovar majhenih slovanskih vej vzrasel najpravilniši. Vsaka prvotna analogi na mo  bi vsled tega nosila cela bremena slovarskih pervin, in jezikova mehani nost bi se okrepila tak , da bi jezikov  ut varen bil pred vsakim tujim vplivom. Taka pot je slovarskemu razvoju malih narodov slovanskih odperta. Bati se je samo, da bi po takej poti ne bilo dovolj logi ne razli nosti v slovarji. Bati bi se bilo dalje, da bi ne bilo dovolj prvotnih mo i, po katerih bi se jezik bogatil. Manjšemu narodu prihaja premalo gradiva iz  loveških razmer, iz naravnega  ivljenja, iz naravnih predmetov, dogodkov in prikazni. Naravno je, da nima tak narodi  vseh analogi nih mo i v sebi za razvoj jezikov, kakoršnega v sedanji dobi vede, razmere in naredbe  loveške potrebujejo in zahtevajo.

Po takem je majhen narod prisiljen izposojati si slovarskih pervin ne samo v svojih omejenih, ampak tudi v sorodnih nare jih in celo v tujih jezikih. Po taki poti pa mora po  asi napredovati, ako no e notranjih jezikovih mo i preve  utruditi. Tega bi se ne bilo toliko bati, ko bi bilo delavnih in gmotnih mo i dovolj za razumno uterjevanje prenesenih in razumno predelanih sorodnih in tujih slovarskih  ivljev.

Majheni narodi tedaj ne morejo naglo v jeziku napredovati ne toliko zaradi opešanih ali premajhenih jezikovih analogičnih moči, kolikor zaradi premalega književnega delovanja, katero ne more premagovati slovarskih pervin z uterjevalnim berilom zlasti leposlovnih, v tak namen v prvi versti sposobnih izdelkov. Vsled teh za male narode neugodnih resnic je treba za pravilen in uterjen slovar velike podloge ljudskega govora večega naroda. Pravilnost jezikova, tedaj tudi slovarska, je v nasprotnem razmerji z bogastvom jezikovim tudi v slovarskem oziru. Ali življenjem jezikovim, ki izvirajo iz raznoterih verst raznih narečij, in ki kazé mehaničnost in čut jezikov, dela nasproti mnogo pisateljskih moči z leposlovnim in vednostnim gradivom.

In večí narod z večimi narečji je še vedno na boljšem, nego manjši; prvi obdeluje samo svoja narečja z zakoni glavnega narečja; manjši narod pa si mora izposojevati življev vsaj iz sorodnih jezikov.

V enem primeru predeluje narečje narečja lastnega naroda; v drugem primeru ima domače narečje predelovati pervine narečij vsaj sorodnih sosedov.

Po vsem ima tedaj ruski jezik najboljše pogoje za slovarsko stran, naj si bodo drugi narodi slovanski še takó bogati v tem delu.

Iz vsega vidimo po našem načelu dve ugodni strani, kateri dajati prednost ruskemu jeziku pred drugimi za literaturno zedinjenje. Pervič so oblike z ozirom na vse Slovane pri učenji v sredi med oblikami drugih Slovanov, in podajajo ruskemu jeziku upanje za trajalnost njegovih oblik.

Drugič ima poleg vseh neprilichnosti ruski slovar največe upanje za obseganje vseh vednostnih pervin in za pravilno uterjevanje teh pervin.

Po takem ne ostaja drugega, kakor pogledati, kaj bi imel ruski jezik za se še storiti, da bi zadobil ono veljavo, katera bi Slovane izpodbujala k delovanju v skupnem jeziku.

V.

Rúščino smo z jezikovih stališč in z ozirom na vse Slovane pripoznali kot sposobno za občeslovanski literaturni jezik. Za najviše načelo nam je bil pri tej odločbi jezik kot tak in pogled v njegovo naravno življenje v bodočnosti.

S tem nismo izrekli, da je v ruščini že vse doveršeno. Kakor pa sploh priznavamo vsem slovanskim jezikom samim na sebi bistveno enako zmožnost za nadaljnji razvoj, ravno tako kaže ruščina še posebej sama iz sebe moči in upanje za najmogočniji in daljši obstoj v bodočnosti. Ne ljudstvo, katero govori ruščino, nam je bilo tukaj pred očmi; ampak jezik sam, kateri ima po notranji moči razmerno največjo sposobnost za skupni jezik, dajal nam je razloge za omenjeno določbo. Kljub temu in zlasti zato pa ima ruščina še veliko nalogo za svoj poklic.

Mi v ruskem jeziku šč glavnega zakona nismo zasledili vsakemu pismenemu jeziku. Dolžnost naša je bila poiskati glavno narečje vsakemu pismenemu jeziku pri primerjevanji. Pa videli smo, da ni bilo mogoče dozdanjih pismenih jezikov razviti na takó čisti podlogi. Tudi drugi slovanski jeziki se tedaj ne morejo ponášati na to stran.

Perva in največja naloga ruskemu jeziku nastane, da si svoja narečja preiskuje, in da se po svoji moči zakonito doverši po naravnih potih živega jezika.

Ruski jezik takih preiskav bolj potrebuje nego vsak drug jezik, ker ima v svoji velikanski razširjenosti toliko različnih življenj v sebi, ki so nastali iz različnih naravnih pravilnosti.

Kakó bi mogla drugače ruščina predelati po analogičnih močeh ene organične celote toliko slovanskega in slovničnega gradiva, katero je vzraslo v različnih organičnih celotah ali raznoterih ruskih narečjih!

Ruski jezik je nastal iz zgodovinskih namétkov bolj umetno brez naravne podloge nego po zakonih ruskih narečij.

Tudi po taki poti je mogoče napraviti vsaj neko stopinjo jezikove pravilnosti in doslednosti. Ali taka umetna zakonitost ni nikoli gotova, da bi je natančni psihologični ali vsaj fiziologični zakoni ne zavrnili zaradi mnogih neorganičnih življenj. Že naglas sam priča po svoji doslednosti ali nedoslednosti, ali je jezik vzrasel po naravnih potih. In ruščina ima za ta del potrebo še mnoge premišljevanja.

V slovarji ruščina brez strahu ostane lahko sama pri svojem, in tukaj ji je zopet potrebna zavednost o enojnih zakonih jezikovih. Zakoni pa morajo segati v vse pervine do korenike do končnice. Drugače ne pride ruščina nikdar do prave jezikove zakonitosti. Samo po enojnem glasoslovju, po enojni

slovnici doseže tak velikan, kakor je ruski jezik, potrebno mehaničnost. Samo po tej poti si vzredi pervine, ki so po zlogih in naglasih pravilne celote. Samo po tej ostrzi zakonitosti doseže ruščina ritem in čut, s katerim se ustavi navalom tujih življenjskih jezikovih.

Vsestranske zakonitosti je tedaj ruskemu jeziku v prvi vrsti potreba.

Po uterjeni zakonitosti doseže ruščina tudi ostro logiko jezikovo.

Skupni jezik več narodov ne more terpeti v slovnici omahljivosti in brezpotrebnosti. Vsako majheno znamenje kaže v pravi slovnici svoj določeni pomen, in ostane dosledno za enake razmere v vseh verstah vsakoterih zvez. O slovarji ni pričakovati, da bi bil že popolnoma logičen. Pomen določnih znamenj se s časom uterdi. Ruščini se pa ni bati, da bi najnadrobnejših razredovanj v pojmih ne mogla pokrivati z določnimi in posebnimi znamenji. Sorodnih znamenj za skupne pojme ne bo mogla pogrešati. Posebno jezik z velikimi narečji znamenja za isto reč v raznih pokrajinah porabi v pismenem jeziku, če ne za popolnoma enake, vsaj za sorodne pojme.

Pleonastičnosti ni treba v nobenem jeziku, ruščina pa najde v pokrajinah veliko pomoč za najfiniša logična razredovanja natenkih ved. Takó imenovana „synonyma“ so takemu jeziku za logično bistro razločevanje, in takó je tak jezik gledé na bogastvo popolnoma kos drugim svetovnim jezikom.

Slovarska popolnost, slovničnolgična občutnost in pa vsestranska zakonitost so strani, katere so ruskemu jeziku potreba in prva dolžnost, ako hoče postati glavni jezik drugim slovanskim vejam.

Enojnost vseh zakonov jezikovih naj bo tudi ruskemu jeziku vzor!

Samo po enojnosti se okrepi in ostane ruski jezik močan. Enojnost poda ruskemu jeziku relativno popolnost.

Enojnost zakonov je jeziku ruskemu pa potrebna zaradi ruskega jezika samega.

Ruski narod je razkropljen in različen po narečjih. Samo po zakonitosti pa je mogoče naučiti se relativno naglo kakega jezika. Že za Ruse same je potreba zakonitega jezika za-

radi lažega učenja. Za druge slovanske narode pa je polajšava učenja po poti zakonitega jezika še potrebniša. Ruski jezik ima biti skupni jezik; prostovoljno si ga Slovani izberejo za takega. Vredno je tedaj, da jezik sam pokaže prvo svojo veljavo po svoji enojnosti, potem pa po isti poti polajšavo učenja vsem Slovanom.

Kdor bi menil, da enojnost ne polajšuje učenja, naj se spominja na sorodne melodije. Poslednje so vsaka za se celota, in prestop iz ene v drugo je najteži; po prestopu pa je pot mehanična; nehoté biti melodični glas vsled mehaničnosti naprej. Taka je z zakonitim jezikom.

Ruščina pa je brez volje ali pripomoči drugih Slovanov že v sedanji dobi svetovni jezik. Tujcem tedaj notranja zakonitost ruščine še najbolje stori, in gotovo je tudi tak povod vreden, da Rusi delujejo na enojnost svojega jezika.

Čem večje vspehe pokaže ruščina na to stran, s tem večim upanjem jo bodo pripoznavali drugi Slovani, in ne bo jim težko slediti z znanjem svojega jezika, tako rekoč svoje melodije, glasovom največe in potem najvredniše sorodne melodije ruskega jezika.

VI.

Ruski jezik ima v svoji sredi sè svojimi pervinami še mnogo opravka. V glavnih potezah pa smo mu brez obotavljanja dali najsposobniše mesto za občeslovansko literaturno skupnost. Če tudi se da razgovarjati na to in ono stran še z drugih stališč, in če tudi se nam bo tu pa tam oporekalo, namera mora ostati veljavna tudi za drugačno in nadaljnje razgovarjanje.

Stališča, s katerih smo razgledovali imenitne strani, ostanejo nepremakljiva v nasledkih, tudi ko bi Slovani združili se v dve glavni skupini z dvema glavnima jezikoma.

Razgovor pa je gledé na odločbo prav potreben, ker je od odločbe odvisno nadaljnje razvijanje mlajših jezikov.

Slovenci n. pr. se približujejo Hervatom v jeziku s tem, da zlasti svoj slovar množé z raznoterimi življi hervaščine.

Recimo pa, da bi se Slovani zedinili za en sam skupni in sicer ruski književni jezik. Vsled takega sklepa bi začeli Hervati ruske življe sprejemati, Slovenci pa hervaške in po skupnem sklepu tudi ruske.

Zakaj pa bi Hrvatje ruske življe sprejemali, ko jih še Slovincem izposojajo? In kedaj naj potem vzame Slovenec na posodo ruski in kedaj hervaški živelj? V kak namen sprejemlje po tem hervaške življe?

Ali ni to velika zmešnjava gledé na ravnanje z jeziki? Dalje: Ali se je hervaški jezik že uterdil, da ima v sebi ono enojnost, o kateri smo gori govorili? Slovenci se bližajo jeziku, kateri ima sam še dovolj dela z uterjevanjem. In Slovenci sami niso še svojih narečij preiskali dovolj, da bi videli, kje so preubogi.

Pa ne razpravljajmo dalje strani, katero smo ogledali samo v pojasnilo.

Nasledki našega razgovora so razvidni. Naravna pot je vsakemu slovanskemu jeziku razvijati se samemu iz sebe. Takó nastane domača celota z vrednimi močmi za nadaljnji razvoj. Sorodni ali tuji življi morajo dobivati obliko narečja, v katero se preselijo. Brezpotrebni ali lahkomiselno izposejeni življi delajo krivico močem domačega jezika.

Tudi sklep za skupni jezik se ne dotika zakonov vsakega pismenega jezika posebe. Skupni jezik ni proti jezikom posameznih vej. Analogije so v snovanji jezika enega naroda samega. Tudi tukaj je prehod od narečij do pismenega jezika; tam pa je prehod od pismenih jezikov do enega pismenega jezika. Vsako narečje živi za domače potrebe poleg pismenega jezika. Takó živé lahko pismeni postranski jeziki poleg glavnega.

Pri Slovanih bi ostali postranski jeziki kot samostalni jeziki; pri drugih narodih so postranski pismeni jeziki bolj narečja nego samostalni jeziki.

Narodi imajo svojo široko podlogo čez in čez v ljudstvu, in ljudstvo potrebuje lahko umevnega jezika, vzraslega na domačih tleh. Brez zadržkov se tedaj lahko po sedanji poti razprostrajo domači pismeni jeziki, in toliko več domače književnosti rodijo, kolikor več neprimerne gradiva zdaj za ljudstvo tiskajo.

Spominjajmo se k sklepu, kake strani smo tukaj naglašali. V prvem odstavku smo kazali na narečje kot temelj vsakemu pismenemu jeziku. S tem povdarkom smo kazali na teoretične in praktične nasledke pri snovanji pismenih jezikov. Mešanje razno-terosti iz raznih jezikovih celot nam ni bilo dovoljeno. Zato smo

mislili v tretjem oddelku na težave o prehodu slovanskih jezikov k enemu glavnemu. Četerta številka nam je na zadnje pokazala prednosti nekaterih jezikov. Slovanske razmere so nam pot pokazale k ruskemu jeziku; pa tudi ta mora se še vreden kazati svojega poklica, kakor smo pojasnjevali v petem oddelku. In na zadnje smo z bližnjim nam izgledom pokazali na nasledke doslednega približevanja.

Vsi ti deli so nam služili posamezni kot samostalni, in vendar je bil n. pr. prvi podloga tudi glavnemu namenu, namreč razsodbi o literaturnem približevanju.

Pri narečjih nismo mogli naštevati stališč, po katerih bi jih cenili, ker nismo imeli gradiva zato. Pismeni jeziki so nam dali enaka stališča tudi za presojevanja narečij. Nekateri strani so se nam zdele zraven ali na poti glavne namere vredne še posebnega povdarka. Razjasnjevanje o utemeljevanji pismenih jezikov nam je dalo povod za posebno metodo. Ravno tako smo posebno pokladali na serce naglas in ritem jezikov, kakor v zvezi s temperamentom. Mehaničnost jezikovo smo strinjali posebe s čutom jezikovim. Te strani niso tako lahke, pa jih ni bilo mogoče tukaj bolje razjasniti.

Vsa tukajšnja teorija ima biti tudi splošne veljave, in samo ogled slovanskih razmer nam je dal povod teorijo združiti s prakso. Vendar pa ni natančnost terpela ne na to, ne na ono stran. Nauk je jase, njegovo korist pa smo že večkrat naglašali.

Razvoj jezikov ima tudi pri Slovanih mnogo zadržkov. Alfabeti jih križajo, kratkovidnost in ozkoserčnost na to stran pa še bolj.

V verskih stvareh se tudi gledajo po strani, in kratkovidno prinašajo to škilavost tudi v sicer nedolžne jezike.

Po takem je edino vredno jezik obdelovati kot tak. Naravin pridelek je jezik.

Samo pametni naravoslovci in umetniki jezikovi bodo tudi pri Slovanih branili zakone jezikove in pospeševali na vsako stran njegovo naravno življenje.

Na Dunaji, po leti 1878.

France Podgornik.

Kitica.

Za kosci mladenka otavo troseč
Povila si v njedra je šobek duhtěč.

Ko v mraku popeva po bèrvi domóv
Omahne jej kita v vertenje valóv;

A zorni mladenki nikakor ni žal,
Da kito deroči je potok odgnál.

Na bèrvi postane, gledaje v vodó
In kiti naroča, ki plava nad njo:

„Le plavaj le plavaj po vèrhu vodé
Naj sreča pripelje te v prave roké!

Tam doli pri malnu je dragi domá,
Kedó te je pletel gotovo spozná;

Prinagne k valovom se mladi junák,
Otmě iz potoka, pripne te za trák,

In s kito mi drevi priuka na vás,
Tisòč pozdravil mi zapoje na glas!

X.

Primula.

Poletni dan na zlatih žarkih
Iskril na svet je solnčni práh,
Po tratah se vsejál in jarkih,
Zarfl se v pèrst, zavil se v máh.

Tam solnčue matere rojenci
Bledé zaperti v gròb temán,
Svetov nobeških izseljenci
Merjó v nesreči dan na dan.

Že zimski dan vesí nad bregom,
Čez plan besní ledén vihár
In hrib in dol ječí pod snegom, —
Gorjé ti, vboga solnčna stvar!

Kakó sirota zdaj trepeče,
Oh, da bi mogla gor nazáj, —
Če ne, — pa vsaj iz nočne ječe,
Da gleda vsaj svoj rojstni kraj!

In mati solnce, glej, prigreje,
Odpre sneženi se zapáh,
In solnčic stotisoč prismeje
Se tam, kjer merl je solnčni prah.

Oj to se v travi jasno bliska,
Po jarku vse svetló, zlató,
Stotisoč tam trobentic piska
Glasán pozdráv domú v nebó!

X.

V dan vérnih duš.

Od bóli malo ne merjem,
Ko grob njegov, otožna zrem,
In v veli travi tam klečím,
Grob bridko s solzami rosím,
Da zmóčeno je cvetje nánj —
Najrajša bi jaz legla vánj!

In borno lučico prižgem,
Molíti, oj, molíti hčem,
A volji duh se vpira vbog,
Obupa mi je plen in tog;
Promišljam in vprašujem se,
Kakó da sem na sveti še? —

Pogléd k višini dvigam svoj,
In hipno duh zvedrí se moj,

Ker milo smiha se nebó,
Čistó je, sinje in lepó,
Kot bil je zvestih svit očij,
Kakoršnih tú na zemlji nij!

Krotkejše silno je gorjé,
Ojači tožno se sercé,
Ljubezni večne čuti moč,
Ki temno v dan prominja noč:
Pomiloščena čujem zdaj
Besedo, ki mi kaže ràj!

Tešilno jo šepeče zrák,
In na gomili cvet sladák,
Vse stvarstvo vsklíka jo željuó,
A vriskajoč svetló nebó:
Besedi svídenje je glas,
In v njem živím ter upam jaz!

Lujza Pesjakova.

Triplet.

Pozabil te nikdár ne bom,
Zastonj je vse prizadevanje,
Spomin na te mi v serce vžgán je —
Pozabil te nikdár ne bom! —
Naj grem na daljno potovanje,
Naj zapustím svoj kraj, svoj dóm,
Pozabil te nikdar ne bom,
Zastonj je vse prizadevanje! —

Po svetu nosil bom gorjé,
Dokler me zemlja ne pokrije;
Zanfčevan brez domačije,
Po svetu nosil bom gorjé! —
Naj tebi vedno sreča klije,
Očital ti ne bom, molčé
Po svetu nosil bom gorjé,
Dokler me zemlja ne pokrije! —

Ko bleda me objame smert,
Ozdravljene so moje rane;
Mordá ti kaka solza kane,
Ko bleda me objame smert! —
O naj te moja smert ne gane,
Saj z njo mi spet je raj odpert;
Ko bleda me objame smert,
Ozdravljene so moje rane! —

Fr. Zbašnik.

Hitra proména.

Lani:

Na bréghih, kder Sava penéča
Valóve dreví,
V ljubezni goréča
Prisegla si ti:
Da bistra se vóda
Prej v strugi oberne,
Kot iskra se tvoje
Ljubezni uterne!

Letos:

Na iste posávske bregove
Zahajem zdaj sam,
Ko gledam valove,
Te v mislih imam! —
Ti silni pritóki
Življenje so moje,
Begoče njih péne
Prisége so tvoje! —

Viktor Eržén.

Potoku.

Potočec le ženi bistro valove,
Le šumi, le šumi skoz lepo dolino,
Ogledat si hiti druge svetove,
Poj pesmico milo šumeč čez skalino;
 Cvetja raduj se krasnih cvetic,
 Breg ki ti lepih venčajo lic.

Le vij se, le vij po dalni ravnini
Med tersjem in travniki in senožeti;
Pozdravljaljaj mi vse preserčno in celi selini
Povedi: Sercu moč ni dalje živeti,
 Ako se z njenim strinilo ne bo,
 Semkaj ki bodi zajemat vodó.

Ko serna je bila ona priskakljala
In v beli roci pèrsten verč deržaje
Ljubo mi sè svojim okom se nasmehljala.
Veselo devico takrat pozdravljalje
 Tekel si potok žuboreč,
 Gnal si valove svoje šumeč.

Zigravalo v tebi se solnčice zlato,
So ribice v tebi se radovale,
Na dnu se zerlo je bregovje gorato,
Skerjančeve pesni glásno odmevale;
 Vsa narava se veselila,
 Sreča je meni venec povila.

Cveteti začelo je meni novo življenje,
Nezmerna ljubezen pognala vopersji,
Ki mi ne vsahne, dokler tvoje žuborenje
Se čulo bo po travnikih, ob tersji.
 Torej potočec teci naprej,
 Svetu ljubezen to razodej!

Zdaj v tebi ne gledam več za solncem zlatim,
No za očesom device drage meni;
Med tvojim bregovjem goratim
Najlepše se mi vidi verč persteni.
V verč zajela bo tvoje vodé,
Mojo ljubezen pa v svoje sercé.

A. Sterlè.

Sonet.

Umikajo temíne se svetlôbi,
Rodí novó nam jutro zora krasna,
Skerjanca pésen vse izbuja glasna
Kar počivalo v nočnej je milôbi.

In, veseleč se tej prelepej dobi,
Begočnost ki podaje mu jo časna,
Otrésa rôso cvet, da srebrojasna
Na zêmlje išče tléh zavèt blestôbi.

A dnovi perve brezskerbne mladósti
Človéku mínejo, in duh poterti:
„Enkrát še!“ koperní po njih dobrósti.

V ljubezni oživé željé, načerti,
Enkrát še — zadnjič vpíja vse
sladkósti,
Jih síplje, kakor cvetka rôso
v verti! —

X.

Medailon.

V enej odličnejh kavarn v Petrogradu sedel je necega dopoldne mlad in lep nadčastnik, pl. Brzezowski. Čital je v nekem listu; večkrat ga je odložil, skočil nemirno od mize, a zopet se vsedel in zopet ga vzela v roke. Videlo se mu je, da je zelo razburjen. A, da si mu pogledal čez rame v časnik, prepričal bi se bil, da ga ni takó vznemiril kak politični članek, kajti čital je na zadnjih straneh med „inzerati“. Tim bolj čudno. Versilo se je to dejanje kake pol ure; kar stopi drug častnik k onej mizi, pri kateri je Brzezowski sedel.

Opazivši ga, ta hitro vstane ter pozdravi: „Dobro došel, Rilijev! Kje si bil?“

„Pri grofici Pavlovni sem bil, klicala me je danes na vse zgodaj k sebi.“

„Kako je tam?“

„Zakaj vprašaš? Ali že kaj veš?“

„Čital sem ravnokar.“

„Da, da, vsaj mora biti že v časnikih. Vsa obupana je nad to izgubo.“

„Je li bil medailon tako lep, tako dragocen?“

„Tega ne vem, kakošen je bil; a njej je bil zató takó drag, ker jej je bil, kakor pravi, edini spomin na njeno prezgodaj umerlo mater.“

„In kaj je rekla, ko si bil pri njej?“

„Tožila mi je in jokala je!“

„Grofica Pavlovna jokala? Ni li razupita za terdoserčno?“

„Da, — in v enem oziru morda po pravici; a to je tim večje poroštvo, da jej je ta izguba prebridka!“

„In če se ne najde?“

„Potem bode obupala.“

„Rilijev, ti bi bil pač srečen, go bi ga našel! Potem bi si nedvomno za večno zavezal njeno sèrce!“

„Da, da, a nimam upanja; niti upanja nimam, da bi se sploh našel.“

„Rilijev!“

„No! Ti si danes zelo čuden, kaj ti je?“

„Rilijev, jaz vem, kedo ima medailon!“

„Brzezowski, nikar se ne šali!“ —

„Mojo besedo, Rilijev, jaz vem kedo ga ima.“

„Nikar me ne pusti dolgo čakati, govôri, kedo ga ima!“

„Jaz ga imam, Rilijev! ali ga vidiš?“ —

Pri teh besedah izvleče iz žepa zlat medailon z enako verižico. Rilijev začudenja obmolčí, še le čez dolgo časa zamore vprašati:

„Kako si prišel v njega last?“

„V parku, na levi strani za vodometom, tam, kjer stojijo one tri lipe, sem ga našel.“

„Ti sam si ga našel?“

„Jaz sam, ko sem se danes na vse zgodaj tam sprehajal. Kedaj ga je ona izgubila?“

„Včeraj popoldne, — in poslala je takoj v vse časnike naznanila. — Ti si srečen človek, Brzezowski!“

„Me li zavidáš?“

„Da!“

„Sedaj imaš vsaj priložnost predstaviti me svojej kraljici, jaz bi se rad z njo seznanil. Kedaj me popelješ k njej?“

„Ob katerem času je sedaj?“

„Ura je enajst.“

„Tedaj greva lahko precej. Odpravi se!“

Rilijev je bil med potjo zelo molčeč, cel čas je zèrl v tla, — in Brzezowski je moral vedno po dvakrat ponavljati vprašanja, tako nepazljiv je bil.

Čez kake tri četert ure se ustavi in reče: „Tukaj sva na mesti.“

„Prav“, odgovarja Brzezowski, „pojdiva gori!“

Grofica Pavlova ju v prvem hipu ní posebno prijazno sprejela, videlo se je, da je v skerbeh. Ko jej Rilijev razloží, s kakim namenom prideta, hipoma spremenilo je njeno lice barvo.

„Vi gospod?“ — vpraša neverjetno — „je li res?“

Brzezowski jej galantno pokloni stvar. Ona hlastno poprime, pritisne medailon na ustni in potem se radosti razjoka. Še le čez nekoliko časa se zavé.

„Vi ste Poljak, kakor kaže Vaše ime?“

„Poljak, ekscelenca“, priterdi Brzezowski.

„Kako naj se vam primerno skažem hvaležno? — Pomagajte mi sami iz zadrege!“ —

„Grofica, jaz sem presrečen, da me je doletela tolika čast, — večjega plačila za me ní.“

„Brzewowski, tedaj ostanite moj prijatelj!“ Pri teh besedah podá mu lepo roko. Brzewowski jej jo poljubi s primernim poklonom. Rilijevu pa je šnila nekoliko kri v glavo.

O poldne ostala sta na povabilu pri grofici.

* * *

Grofica Pavlovna je bila dama kakih 26 let, še neomožena. Pravili so, da je bila prej zaročena s mladim človekom visoke rodbine; bilo je že blizo poroke, ko se je iz neznanih skrivnih razlogov vse razderlo. Od tedaj je bila Pavlovna do možkih zelo nezaupna in hladna. Zadnje dve leti je poskušal pri njej svojo srečo naš znanec Rilijev, sedaj z večjim, sedaj z manjšim vspohom; po vsem pa vendar ní vedel, pri čem da je. Od onega dne bila sta Rilijev in Brzewowski še večkrat povabljeni k grofici; a Rilijev začel je bolj in bolj spoznavati, da je vsa pazljivost Pavlovne obračala se le bolj do njegovega prijatelja; tim bolj, ko se je celo prigodilo, da ga je grofica brez njega k sebi poklicala. Brzewowski je bil pa tudi zelo nevaren ženskemu spolu. On je bil eden tistih srečnih, ki je pri vsakej ženski takoj njeno posebno lastnost spoznal in po tej se ravnal. On je vedel, kedaj in kje treba premagavati s prošnjo ali milobo, in kje z moževsko resnobo in moževskim pogumom. Ní se dalo tajiti, da je bil tudi pri grofici Pavlovni srečen. To je v Rilijevem sercu zbudilo strašno ljubosumnost. Od dne do dne začel se je bolj ogibati Brzewoskega; čedalje bolj se mu je sèrd vzbujal do njega, in če ga je srečal, pozdravil ga je le po strani. Brzewowski je vse to razumel, zato se mu je po sili nastavljal, ne, da bi ga jezil, ampak, da bi dobil priložnost z njim razgovoriti se.

Prigodilo se je, da sta se sešla zopet v onej kavarni, kjer smo ju v začetku našli.

„Rilijev“, ga nagovori Brzewowski, „zakaj se me ogiblješ?“

„Ta ga temno pogleda in povzame: „Ali se norčuješ?““

„Rilijev, jaz vem, da ti leži nekaj na sercu, zato sem te piskal! Govori, sedaj imaš priložnost!“

„„Je li to tvoja resnoba, da naj govorím?““

„Govori!“

„„Tedaj vedi, Brzewowski, vedi, da si tat moje sreče!““

Brzewowski se pikro nasmehne ter pristavi: „Ali bi se ne dalo temu v okom priti?“

Rilijev ga nezaupno pogleda, potem reče: „Da, temu bi se dalo v okom priti, ko bi bila tvoja volja.“

„Moja volja? Kaj naj tedaj storim?“

Rilijev povzame z mehkim glasom: „Brzewowski, ti si dober človek, stori mi to, ne pojdi več k Pavlovni!“ —

Nekoliko časa je tiho, potem Brzewowski: „Sram te bodi, Rilijev, sram te bodi, da si hočeš na takov način pridobiti žensko sèrce. Ko bi imel ti značaj možev, vedel bi se bil drugače v pričo mene pri Pavlovni in bilo bi tudi drugače. Pri Bogu, jaz nisem upotrebljeval nikdar posebnih umetnostij, da bi izpodrinil tebe iz njenega sèrca!“

„Storil si to, ko sam nisi vedel!“

„Zakaj nisi podkupil morilca, ki bi me bil zvečer na ulici zavratno napal in umoril, ako si vedel, da ti je moja osoba na poti! — Tu imaš roko, Rilijev, mene Pavlovna ne bo več videla v svojej palači; a še enkrat ti rečem, Rilijev, sram te bodi, da si zadovoljen s tim, kar ti drugi iz milosti prepusti!“ —

„Brzewowski!“ vsklikne ragserdèn Rilijev, „ti me zasramuješ, — Brzewowski, jaz zahtevam zadostenja!“

Brzewowski, ki je hotel že oditi, se verne. Mirno pogleda svojemu nasprotniku v obraz in mirno mu reče: „Potolazi se, Rilijev, nisem te mislil žaliti — ali — Rilijev — ti ne veš, kaj sem ti storil.“

Na to padeta drug družemu v naročje in sè solznimi očmi se ločita.

* * *

Zastonj je Pavlovna pričakovala Brzewowskega, zastonj mu pošiljala vabila, zastonj vpraševala ga, zakaj ga ni. Njega ni bilo, niti dostojno odgovarjal jej ni. Prigodilo se je, da ga je na sprehajališči srečala. Kri jej je šinila v bleda lica, ko je videla, da se jej bliža. A zbrala je vse moč in kolikor mogoče razžaljenost pokazala v obrazu. Brzewowski se ni zmenil za tó, hladnokervno jej je salutiral in mimo šel. To je res žalilo njen ženski ponos. In ko ga je drugič srečala, hotela se je maščevati. Ošabno je dvignila glavo in skoraj zaničljivo vperla vanj pogled. A Brzewowski ni spremenil tudi sedaj lica, šel je enako hladnokervno mimo nje. Poskusila je zopet drugič z vso milobo ženske krasote otajati led njegovega serca. Solza jej je igrala v očesu, tako britka solza, ko ga je pozdravljala; toda Brzewowski ni hotel opaziti te solze, ni

hotel razumeti hrepenenja, ki se je bliščalo v tej solzi; tudi sedaj je šel mirno in hladnokervno mimo nje. —

A v njegovem sercu ní vladal mir, v njegovem sercu je rjul hud vihar in boj; vse močí je moral zbrati, da se je premagal. Dostikrat je bil blizo, da bi ga bila omamila sladka skušnjava, vendar se je še o pravem času spomnil svoje oblube in se ojačil; — skazati se je hotel možá. —

Pavlovna pa ní bila tistih, ki jim kmalo upade pogum; kadar se je kaj doseči namenila, ní odjenjala prej, dokler je dosegla, ali pa popolnoma se prepričala o nemogočnosti stvari.

Če je Rilijeva vprašala, zakaj njegovega prijatelja več z njim ní, ta se ve da, ní mogel odkritoserčno govoriti; rekel je, da se tudi zanj več ne briga. A Pavlovna je hotela na vsaki način stvari do konca priti. Brzezowskega je čislala, visoko čislala, ali, kaj bi tajili, ljubila ga je, goreče ljubila. Tacega moža je dolgo zastoj iskala, tako ponosnega, tako neustrašenega, tako brezobzirnega. Da, njegova brezobzirnost jej je bila mnogo, mnogo ljubša, kakor prilizljivo sladkanje in molénje. Pred takim možem ponižati se ní sramota! Sklenila je obiskati ga v njegovem stanovanji.

Bilo je necega dne ob štirih popoldne, ko se je odpravila k njemu; ta čas je vedela, da je doma. Res dobila ga je pri pisanji, ko je vstopila v njegovo sobo. Pervi trenotek ostermela sta eden nad drugim; Pavlovni zastala je beseda na jeziku, temna rudečica jej je prelila lice; tudi Brzezowski je spremenil barvo, bil je ta prihod preveč nepričakovan, da bi se bil zamogel popolnoma zatajiti.

Čez nekoliko časa vendar spregovori Pavlovna: „Gospod, ali oprostite mojo prederznost?“ —

„Jaz nisem še nikedar imenoval človeka, ki me je sè svojim prihodom počastil, prederznega“, odgovori dovolj mirno Brzezowski. Blagovolite si prostor izvoliti!“

„Veste zakaj sem prišla, gospod Brzezowski?“

„Jaz sem pripravljen poslušati Vašo željo.“

„Gospod Brzezowski, zakaj se me ogibljete?“

„Ogibljem! ní res, grofica!“ —

„Ní res? Zakaj ste odbili vse moje prošnje, zakaj se niste zmenili za vse moja vabila, če se me ne ogibljete?“

„Imel sem vzroke, in navedel sem jih vselej v odgovoru.“

„O ti vzroki, kako so bili poveršni, kako je vse kaj drugega iz njih gledalo, kako malo skerbljivo so bili izmišljeni!“

„Grofica Pavlovna, če sem se pregrešil zoper dostojnost, prosim vas odpuščenja.“

„O tem ni zdaj govorjenja! Jaz vas prosim, da mi poveste, zakaj me zaničujete! Kdaj sem vam kaj žalega storila?“

Te besedo so bile neizrečeno milo izgovorjene.

Brzewowski je nekoliko omotljen ponavljal: „Nikdar, nikdar!“

„To ni odgovor, gospod Brzewowski, jaz vas prosim, da mi odkritoserčno poveste, zakaj niste prišli k meni na tolike prošnje!“

„Ni sem smel!“ — —

„Niste smeli? Kedo vam je branil? Recite raji: ‚Ni sem hotel!‘ —

In Brzewowski je mehanično ponovil: „Ni sem hotel!“

Tega Pavlovna ni pričakovala. Z glasnim vsklikom in s strastjo dalje vpraša: „In ne boste tudi od zdaj za naprej še hoteli?“ —

„Grofica, potolažite se!“

„Jaz vas pa še enkrat vprašam: Ne boste tudi od zdaj za naprej še hoteli k meni priti, in tudi ne, če vam nekaj povem?“

„Če mi nekaj poveste?“

„Da! če vam povem, da vas ljubim, da vas ljubim iz cele duše, — iz celega serca — o!“ — —

Pri tej priči se verže k njegovim nogam in onemogla se oklene njegovih kolén. Brzewowski odskoči raz svojega stola, hotel je nekaj spregovoriti, a predenj mu je prišla beseda iz ust, stopi nekdo hlastno v sobo.

Pavlovna se takoj spametva in obrniti se vsklikne: „Rilijev — pošast!“

Na to Rilijev ves razven sebe: „Brzewowski, ti si res deržal besedo, ha! — ali ta! — Pavlovna, ali se ne sramuješ, Pavlovna?“

„Proč od tu!“ zakriči Pavlovna na vso moč kviško se spenši.

„O vsaj grem, in k tebi me več ne bo, tega bodi preverjena. A to ti še rečem, predenj grem, Pavlovna, sramuj se, da se takó za onimi mečeš, ki te od sebe pehajo, takó, kakor kaka — vlačuga!“

„Rilijev!“ zagromi Brzewowski, „Rilijev! prekliči besede, ki si jih izustil!“ —

„Nikdar!“

„Rilijev! jaz ti rečem še enkrat, prekličiči besede!“

„Nikdar!“

„Rilijev! jutri ob devetih se najdeva zunaj mesta v carjevem gozdu.“

„Dobro! jutri ob devetih ti prestrelim tvoje persi!“ — —
Izgine.

Pavlovna se verže Brzezowskemu na persi in glasno ihteč govori: „Brzezowski, o sedaj razumem vse! o moj Brzezowski, jutri bodeš umerl, záme umerl!“ —

„Pustite to grofica!“

„O moj Brzezowski, zakaj sem te spoznala! Jutri bodeš umerl — ali ní mogoče temu izogniti se, ali ní mogoče drugače časti zadostiti?“ —

„Ní mogoče!“

„Ní mogoče“ — je ponovila in še en čas slonela na njegovih persih. Potem se je hipoma sklonila in s terdim glasom rekla: „Gospod Brzezowski, jutri bodo trije pogrebi!“

„Pustite to grofica, nikarte si tega ne ženite do serca, mene ní škoda.“ —

„A jaz vam rečem, gospod Brzezowski, jutri bodo trije pogrebi. — Z Bogom!“

Bila je že pri vratih, ko jo Brzezowski na pol glasno zakliče: „Grofica Pavlovna, en poljub v slovo!“ — —

In pala mu je zopet v naročje in glasno je jokala. Tudi njemu se je vternila solza in pala na njeno lice ter združila se tam z njenimi solzami. Stisnil jo je na svoje serce, poljubil jej vroče čelo, potem jo lahko odrinil od sebe rekoč: „Z Bogom, grofica Pavlovna!“

„Z Bogom!“ odgovorila je ona in šla. —

* * *

Drugi dan ob določeni uri in na odločenem mestu stala sta si duelanta nasproti s samokresi v rokah. Sekundanta gledala sta na ure in točno, ko je udarilo devet, jela sta šteti: Ena, dve, trí — strel je spremljal zadnjo besedo. „Brzezowski je v persi zadet“, začuje se glas, „Rilijev je le v roko ranjen!“ — Pri tej priči se prikaže ženska podoba. Divje se verže na morišče in v strašnem kriku ponavlja: „Brzezowski v persi zadet!“ — Potem

se oberne proti Rilijevu rekoč: „Vzemi svoje plačilo, Rilijev, pojdi v dno pekla!“ Rekši potegne samokres iz njedrij in izstrelil Rilijevu v glavo, da so takoj zverne. — Potem pade Brzezowskemu na persi, razjoka se na vso moč in obupno kliče: „Brzezowski, o moj Brzezowski!“ in vedno zopet ponavlja: „Brzezowski, o moj Brzezowski!“ — Ko so jo hoteli okolostoječi mertvemu iz naročja iztergati, zakliče še: „Brzezowski, jaz sem ti rekla, da bodo danes trije pogrebi, — jaz grem za teboj!“ —

Na to izproži drugo cev samokresa sebi v serce in mertva se zgrudi svojemu izvoljenemu v naročje. —

Bili so tisti dan trije pogrebi! —

Fr. Zbašnik.



Hrvatski odio.

Predgovor.

Ovaj bi zabavnik imao čitatelju pružiti nekoliko crtica u svih slovjenjskih jezicima; ako nam kraj svega našega nastojanja nije pošlo za rukom, da svaka slovjenjska knjiga bude zastupana, nije naša krivnja, nego se nalazi uzrok u tom, što se zastupnici dotične narodnosti, odnosno radne sile nisu našem pozivu odazvale. Kraj svega toga mislimo, da smo izdanjem ovoga zabavnika koji za međusobno upoznavanje slovjenjskih jezika, toli za duševnu uzajemnost svoju doprinieli. — Buduća sudbina našega zabavnika ovisiti će o tom, kako ga bude štovano občinstvo primilo; pa ako nas bude zapala ugodna zadaća, da ga godišnjakom izdajemo, tada ćemo ono, što je na njem sad manjkava, popuniti.

Putuj dakle, knjigo, popraćena našimi najtoplijimi željama u sve slovjenjske kraje, po kojih se milozvučna slovjenjska rieč razleže; susretala svagdje onu istu ljubav, kojom te mi u svet popratismo!

Tartufov unuk.

W o m e d i j a u S ě i n a h.

Napisao K.

O S O B E.

Tartufov unuk.
Mati mu.
Zlatka, sestra mu.
Petar, gradjan, susjed Tartufov.
Marta, žena mu.
Anka, kći im.
Karlo.
Janko, gradjanin.
Niko, sin mu.
Jurićka.
Dva gradjana.
Tri stranca.
Djaci.
Služavka.

Č i n p r v i.

Prizor prvi.

Soba kod Petra; na zidu jedna Ticijanova slika.

Petar, dva gradjana, zatim Marta.

Petar. Vi ste ljudi valjda čuli za mog susjeda?

Oba. Jesmo, jesmo! To čitav sviet zna za tog pobožnog čovjeka.

Prvi. Pripovieda mi moja žena kako je neki dan liepo govorio pa grdi, kaže, žene i djevojke.

Petar. A pravo i ima.

Drugi. A što veli o ženah?

Prvi. Vi momci, veli, idete na večer djevojkam pa ih štipate . . . Mislite-li, da božje oko obnoć ne vidi?

Petar. Božje oko! . . .

Prvi. A vi žene, vi ostavljate muževe pa idete drugima . . . Al čekajte samo, sve paklene sile kuju već nože pa će vas bosti skroz i skroz pa vam srce iz prsiju izčupat.

Drugi. Strašno, grozno . . .

Petar. Svetac, pravi svetac.

Prvi. E da! Nije to još ništa, al da vi čujete moju ženu, kad vam ta stane pripoviedat.

Petar. Više ne će s mojom Ankom nijedan mužkarac prozborit . . .

Blago tebi pa imaš takovu ženu . . . al moja, moja . . . živa sotona; kamo sreće, da je nemam.

Prvi. Čuo sam, kako mu je ime!

Oba. Kako? Reci za boga.

Prvi. Krasno ime . . . Mijat.

Petar. Sveti Mijat — baš na sveto Miholje.

Marta. A što ste se uzbrbljali o tom svetcu a osobito ovaj moj!

(Dva gradjanina mrko ju gledjuć izšuljaju se van).

Poludi l' žena — biesi nek ju nose —

Ta žena 'e žena — dugačke je kose

Al čovjek, čovjek -- smiluj mu se bog.

Prizor drugi.

Marta, Petar, Anka, Karlo.

Anka (Karlu). Ho! sladki moj zar i ti jednom k nama?

Karlo. Navratih tek se uz pnt. Kako Vi?

Petar. Ja promišljam o mužu onom svetom,

A žena eto hoće da pobiesni.

Marta. Kad muž poludi žena tad pobiesni.

(Ironično). A znaš li Karlo ješte nešto nova?

Gospodina ću svoga ostaviti,

Potražiti ću si drugog kavalira,

Pa da me barem svetac onaj vjenča,

U nebu ću se moći bar pohvalit.

Petar (za se). Ne napijaj mi ženu zdravica.

Anka (Karlu). Ja sanjah noćas, da sam te iztukla.

Karlo. Hahá! Sve jedno ljepše od drugoga.

Sad s bogom budte, vratit ću se skoro. (Polazi).

Anka. Al brzo dodji, čuješ brzo dodji.

Marta. Da sbilja Karlo — otac reče jutros,

Da ne ćeš dobit Anke; valjda će ju

Poklonit svetcu, da mu pete ljubi.

Karlo (tiho). A što 'e to starcu od nekoga doba?

Je l' sišo s'uma? Uviek je u crkvi,

A počešlje se ko žalostna vrba;

Ni pogledat me skoro više neće.

Marta. Zamaglio mu onaj svetac pamet,

Al kušat ćemo izprati mu mozak. (Izadju sve troje).

Petar. Taj dječko mi se već ne dopada.

Doduše obećo sam kćer mu — ali . . .

Ni čuti više a tom ne ću ništa.

Od Tureta je gori; već mi je

I kćer i ženu — oh! pokvario.

U kloštar nju ću dat, njegov izčerati

Čim u kuću mi udje, hulja pasja. (Udju Anka i Marta).

Ja ostajem pri onom što vam rekoh,

O udaji već nekate ni mislit.

Pa što li ste se izkitile tako,

Ko da su sjutra veće svatovi? —

Marta. Pa što to tebe ide što se kitim?

U svetak ne ću ići ko ciganka.

P e t a r. Pa ako i je svetak, navješati na se
Ne mora čovjek takovih grdoba;
Jer ne će gledat bog, je l' svila na tebi
Il skrivaju ti dronjci smrtno tielo.
Rugobu kakvu napravi od kćeri!
U kloštar snjome, nek se uči molit,
Ne — zaljubljuvat kao bula turska.

M a r t a. Ta neka samo toliko se žestit!
Zar tako liepo tielo. pa da krpe
Po njemu vise — bila bi grehota,
I kad si liep — ne moraš grješnik biti. (Udje Tartufova
mati. Marta, Anka odu.)

Prizor treći.

P e t a r. Uputio vas amo isti bog! (Klanja se).
Još nij me dosad usrećilo nebo
Da sveticu u kući svojoj vidim.

M a t i T. Blagoslovljena budi kuća taka,
Jer vidim, da se u njoj štuje bog. —
A tko su, molim, one ženske dvie?

P e t a r. Kći ona mladja, ono drugo žena;
Al niesu vriedne, da ih pogledate;
Na radinost im baš ne mogu se
Potužiti — al druge stvari, druge.
Ta vi ste mislim vidjeli ih sami.

M a t i T. Oh! gadne žene! . .

P e t a r. Da gadne! Samo misle na vaujštinu,
Za dušu pako stota im je briga.

M a t i T. Oh! gadne žene! . .

P e t a r. Ali ja sam gospe

M a t i T. Ne, nekate me tako nikad zvati,
Jer robkinja sam božja ponajniža.

P e t a r. Oh! sveta žena. I ja jesam takav.
Ma kudgod išo, mnim u crkvu idem,
Ma štogod radio bog mi na pameti,
I pre neg riečcu reknem, na njeg mislim.
I štogod imam, sve od njega imam —
Al kći i žena misle posve drugće.

M a t i T. Oh! gadne žene, nevriednice podle!
Al neka, neka, kaznit će ih bog,

Kad budu ošle s ovog svieta na 'naj.
Upitati će Višnji ih ovako:
Koliko na dan molitvica liepih
Na moju slavu izmolile vi ste? (Petar privuče joj se bliže,
topeć se od slasti).
A duše će im drhtat kao suhi
Na grani list o vjetru studenom.

P e t a r. Uh! gadi mi sada već ih gledat
U kući svojoj, kukavice sinje.

M a t i T. Il možda još će kaznit ih na zemlji
Previšnji, kao što je već i druge.
Moj sladki sinak (Petar klanja se do zemlje) juče mi povjedo:
U zemlji jednoj, odalekoj dosta,
Zaboravili ljudi posve boga;
Ni glad, ni kuga, niti ostale
Božije kazne niesu ništ pomogle.
Pa zato bog im kao zvjeradi
Na tielo grdan preliepio rep; (Petar se križa).
Al tako velik, vjerujte, i tvrd,
Da ne mogu se ni na zemlju sjesti,
A uzhćednu l' ga odsječ — namah umru.
Sad pomislite svetu božju kazan!
A narod taj je hud i krvoločan,
Da svakog tudjeg čovjeka sažeže,
Koj blizu samo zemlji bi mu došo.
Al muža jednog — sljedbe Ježuitske,
Ni da je rukom samo dirnuo;
Jer ruka božja takve ljude štiti.
Moj dragi sin poznade svetca toga,
Jer jedan svet je uprav ko i drugi.

P e t a r. Ja ništa tako rado ne slušam,
Ko rieč svemogućoj o božjoj moći.
Nadarit barem, da me hoće bog,
Da kadkad mogu barem jednu rieč
Prosboriti sa svetim sinom vašim.
Pričinio mi Isusom se često,
Kad smierno preko crkve koraco.
Prolažati ga često vidjeh ovud,

Pa sklopih ruke, bogu hvaleći,
Da svetac takav kraj kuće mi ide.
I svedj ga motrah dok mi ne izčeznu.
Znam, jednom kiša strašno pljuštala,
A zvono uprav zvonilo je pol dne,
I uprav prodje on, gologlav posve,
A ruke sklopio, pobožno se moleć,
Ne žureći se ništa, ni ne mareć
Što kiša curi licem mu i čelom,
Pričinio se tad mi bogom pravim.

Mati T. Al da ga istom doma vidite!
Posvetio se već na zemlji reć bi:
Nit štogod jede niti pije štogod,
A samo malko u po noći spava;
Već uvijek, uvijek, vjerujte mi moli.
A kad ga pitam: nijesi li gladan,
I zašto uvijek toliko se moliš?
Tad pogleda u nebo pa mi rekne:
Ne živi majko čovjek tek o kruhu,
Za cio sviet se čovjek mora molit,
Ne samo za se.

Petar Bože! pravi svetac.

Mati T. Pa k tomu jošte kakav li je dobar!
Od svojih usta zalogaj će dati
Prosjaku; svakog ćedna u kuhinju
I po sto metne sliepцем novčića.
Pol svoga novca siromakom dieli.
I svakog sliepca, svakog prosijaka
U svoju sobu na razgovor zove,
Popitujuć ih jesu l' skoro bili
Il možda idu baš u Jeruzolim.
Pa ako koji podje, tomu dade
Sve štogod ima, da mu put olakša.
Po tisuć puta znade ga poljubit,
Da mjesto njega ljubne stope Krsta. (Petar topi se od slasti).
Baš neki dan je zadnji dao ćilim (pokazuje u sobi na ćilime).
Jeruzolimskoj crkvici na dar.

Petar. Oj! tako nikad nikog niesam čuo
Govorit liepo od kako se rodih.

(Klekne) Pa biste l' molim tako dobri bili
Te dali vašem božanstvenom sinu
Taj sitan ćilim, da ga pošalje
U moje ime, u tu svetu zemlju.
Na koljenih vas molim, ljubim skute.

Mati T. Ta dignite se. Sve što pobožno je
U sinu mojem ima pomagača.
Siromak ima toliko posala,
Al ipak to mu briga ponajpreča.
Velite, da u vaše ime pošlje
Taj ćilim na dar svetoj onoj zemlji;
Da znate koli milo će mu biti
Kad sazna, tol' da susjed njegov gori
Za svetu vjeru — dražeg nema za njeg!
Al hoće l' bit to boži ugodniče
Po ćudi vašoj ženi pa i kćeri,
Jer niesam rada blagosov da kućni
Baš ničim smutitim il poremetim.

Petar. Al molim, molim — Ah! te gadne žene . . .
Uvriedile mi sveticu u kući . . .
Al molim, molim nekate se sbunit:
Gospodar mislim ja sam u svom domu.

Mati T. Ja mislim barem . . .

Petar. Pa mogu činit što me god je volja,
I upotrebit na što me je volja,
A kamo l' ne na takve svete svrhe . . .

Mati T. Što bog je dao treba dati bogu.

Petar. Pa makar žena prigrizla si jezik,
Ne samo ovaj nego još i ovaj. (Daje joj i drugi ćilim).

Mati T. Da, malen dar je — al iz čistog srca.

Petar. Ne samo ovaj, nego još i ovaj. (Daje joj i treći).

Mati T. Oj Višnji već vam raj otvorio je,
Medj prvi svetci sjedit ćete vi;
Oj blago duši vašoj svetoj, krotkoj.
Moj sin će tisućput vas blagosovit. (Ode).

Petar. Oj sretan onaj kog on blagosovi.

Prizor četvrti.

Petar, Marta, kašnje Anka.

Marta (posprдно). No sladki moj bijaše l' u nebesih?
De rec i meni što si vid'jo tamo?

Imade l' ondje dost onakvih hulja,
Pa je l' ti teško bilo lećet gore? (Ustuboči se opaziv, da
neima ćilima).

Pa dopadaju l' ćilimi se svetcem?

P e t a r. U kući ja sam gazda — a ti šuti.

M a r t a. U kući ja sam gazda — a ti šuti.

P e t a r. A tko sam ja?

M a r t a. A tko si ti — de reci?

Za kukavice kojekakve zar sam

Ja mučila se?

P e t a r. To 'su svetcí, šuti.

Ne vriedjaj boga, bog ti prosti griehé.

M a r t a. De sutra ako ne doneseš ih

Za ovim stolom sa mnóm jesti ne ćeš.

Ta valjda će ti svetac dobrostivi

Za blagodati tolke dat što jesti!

P e t a r. Ta ćuj! — u Jeruzolim . . .

M a r t a. Čuj me, ćuj!

U nedjelju nek crna vrana ona

Obučé na te čístu košulju.

Izmamila je valjda dosta već ih

Od mula takovih ko što si ti!

P e t a r. Ta kako možeš ženo takva bit!

Da znadeš što sam svašta liepog ćuo.

M a r t a. Ta idi do vraga i ti i lopov taj,

I kožu zar mi hoćete ogulit?

P e t a r. Sigurniji ti bit će put u raj . . .

M a r t a. Pa kad je tako — a ti hajd se seli,

Poskidaj sa se sve pa ogrli se

Sa huljom onóm, pa hajd s njim u raj.

P e t a r. Da nije tebe tako bi i bilo. (Dodje Anka).

M a r t a. De vidi kćeri kakovog otca imaš;

Podavo sve je onóm kusóm vuku,

I nas će valjda prodat vragu tome.

P e t a r. Sad smutljivice šuti, sad je dosta,
To nevino mi diete kvarit ne ćeš. (Polete oboje Anci otima-
juć se za nju).

Što hoćeš kćeri, vatru ili vodu?

A n k a. Ta nekate zagušiti me živu.

P e t a r. Sad ženo, da si puštala mi diete . . .

Marta. Sad čovječe, da pušto si mi diete . . . (Anka u neprilici, neznajuć kome bi).

Petar. Govori čija jesi? (Udje Karlo).

Anka. Njegova sam. (Poleti Karlu).

(Karlo, Marta i Anka stoje u jednom redu, Petar je u sredini izmedj njih i vrata).

Marta. Ha! tako valja. Tko je Karlov, taj je I moj; a ti sad sviraj dokle hoćeš.

Petar. Iz moje kuće selite se svi!

Marta. Do vrata mislim, da si bliži ti!

Karlo. Ta što je to? Ta ja sam još ko lud.

Marta. Podavo sve je onoj crnoj kugi,
Što žuljevi sam ja izradila . . .
Ni jesti nebi imo, da nij mene!
Poludio za lažisvetcem onim;
A da je pošten, ne bi žo mi bilo,
Već obješenjak, da mu para nema . .

Anka (za se). Oh! bože moj poludit ću od težka.

Petar (Marti). Razsvjetlio ti višnji duše pamet. (Udje Tartuf).

Prizor peti.

Petar, Anka, Marta, Karlo, Tartuf.

Tart. U svetosti me nadmašiste brate;
Već vani čuh o svetom duhu rieč,
A majka moja diže vas nebesom. (Krsti se svetom vodom
što je kod vratih i škropi ostale; Petar ne zna gdje mu
je glava).

Marta (za se). Ha! lisice al imaš sjajnu kožu!

Da niasam žena letio bi van.

Tart. Je l' ovo sin vaš — ovo vaša kći? (Primiče se Karlu — taj
se odmiče).

Marta. Da ovo kći je — ovo zaručnik.

Petar. Ne, nije zaručnik, oj nije.

Tart. (neslušajući Petra). A znadu l' što je ženitbena sveza?

Marta. Ta znadu! Baš sam učila ih sada,

Da ne daju se od nikoga varat . . .

Petar. Ušuti ženo, moj je red govorit.

Tart. (ko prije). I to je da, al nije oto prvo.

Marta. Da nikad nikom ne zamažu oči . . .

Petar. Oprostite molim . . . Ne čuje . . . Uh ženo . . .

Tart. (ko prije). I to je da — al nije oto prvo.

Marta. Da navjek budu kakvi jesu, a ne

Izvana janjci, nutri kao vrag . . (Na rieč: „vrag“ kriknu

Tart. i Petar u jedan glas).

(Za se.) Od svoje slike preplaši se djavo. (Tartuf šapće nešto s Petrom i skreće glavom).

Petar (Tartufu). Ne zamjerite zlobnoj ženi brate;

Već hajdemo o svetih stvarih sborit.

Tart. (Petru). Ta vele, da je ženu vrag stvorio.

(Na glas.) Al liepih slika imadete brate . . , (Podje gledajuć slike i to prema onoj strani, na kojoj je Anka).

Marta (za se). Ni hram Jeruzolimski nema takih!

Tart. (gledač Anku, za se). Ljepota cura, da ju je poljubit . .

(Na glas.) Gle! to je slika apoštola Petra.

Petar (za se). Vidj! kako pozna svaku sliku — svetac.

Tart. (Petru). Al hodte amo prijatelju dragi,

Da sakrijem za vaša pleća lice,

Jer kći vam je i žena smiešnih očij.

Petar (za se). Baš pravi svetac! Vidi svače srce,

Pa ne smje niti gledat grješnica. (Marta izvadi švelo,

Karlo i Anka govore tiho).

Tart. (gleda preko Petrovih ramena požudno na Anku.)

(Za se.) Ljepota cura, da ju je poljubit.

(Petru.) A kad će brate biti svatovi?

Po odjeći bih reko — on je bogat.

Petar. Ja ne znam, da l' će ikada i biti.

Ja tražim zeta, koj bi ko ja bio,

A ovaj ne zna niti moliti.

Tart. Šta brate sladki? Ne kažite dvaput.

Oj ovako vas molim: Ne dajte je

Za bezbožnike takve — bog ih satro.

Marta (Karlju). Gospoda valjda čuju šapat s neba.

Karlo. Il možda vide Jakobove ljestve.

Tart. (za se). Ljepota cura, da ju je poljubit.

(Na glas.) Oj! jaki Bože! evo Ticijana,

Božanski bje vam brate slikar to.

Ej! da je meni takvu sliku dobit,

U Rim bih poslo ju u crkvu koju . . .

Jo! žena vaša brate danas šije! . .

Marta. Kad krast se smie, smie se i radit. (Petar i Tart. leljaju glavu; Marta, Anka, Karlo smiju se).

Petar (pokazuje na sliku). Za crkvu dajem sve — ta uzmite ju.

Marta (ustane i prieti se Petru). Usud' se jošte jednom reći to. (Tart. ne čuje).

Tart. (ko prije). Ljepota cura, da ju je poljubit.

(Na glas.) Ja imam brate lice tog slikara,
Baš ljubi slikar otaj dragu svoju *)

Beatriču — ovako gledjite . . . (Poleti, ogrli Anku i poljubi ju; Anka cikne, iztrže se, Tart. pade, Petar ljubeć diže ga.)

Marta. Hohó, hohó! gospodine moj dragi,

Ta valjda ste zabunili se malko;

Ta nije nebo to, već zemlja, soba . . .

Oh! rajsko svjetlo zasjeni vam oči!

Izvolite do vrata ću vas odvest.

Petar. Joj! jeste li se udarili jako?

Tart. Oprostite mi brate, tako molim,
U kćeri vašoj sveticu sam gledo.

Petar. Oj! gdje je, da ju satrem, ubi svetca . . .

Marta. Šta čovječe?

Petar. Da, da ju namah smrvim . . .

Marta. De reci jošte jednom.

Petar. Sad ušuti.

Tart. Oj nekate ni dirnut dobre kćerke.

Jer vjerujte mi brate, ja sam kriv;

Na! ubite me, al' nekate nju . . .

Oj sbogom budte božji ugodniče. (Petar ga odprati).

Marta. Zar ne ćeš sliku poniet u Rim huljo?

Prizor šesti.

Tri djaka, Karlo, Marta, Anka.

Prvi (Karlju). No hvala bogu! Tražismo te već

Po zemlji svoj, od sjevera do juga.

Drugi. Je l' bio tudi onaj hulja?

Anka. Da!

Marta. Pokazasmo mu okuda će van.

Karlo. A što ste došli, ima l' važnog posla?

Prvi. I jošte kakvog! Mrežu pletemo,

Pa da nam i ti pomogneš ju splest.

*) Poznata slika.

Karlo. A za kim će se mreža bacit?

Svi. Za njim!

Karlo. Živio! Za njim!

Marta. Pobjeda je naša!

Svi. Kad žena loži — skuhat će se kaša.

Anka. Ah! evo oca.

Karlo. Hajdmo brže van.

Petar (udje). Oj hvaljen budi Isus.

Svi (izlazeći). Dobar dan!

Marta. Ta pustite ga, nek se moli bogu,

Da uspije nam naš žudjeni plan. (Odu. Petar razširenim rukama prama nebu. Zastor pade).

Čin drugi.

Prizor prvi.

Siromašna soba kod Tartufa. Jurička s pokrivenom košarom.

Tart. De sjedite, siromašan je stolac;
Ubožtvo vlada u svoj mojoj kući;
Al znajte, da je najbogatiji,
Tko boga radi osiromaši.

Jur. Zapisat rieči vaše ću duboko
U srce svoje i u dušu svoju.

Tart. Pa kako draga, dajte recite mi:
Koliko puta na dan molite se
I kome molite i šta to?

Jur. U jutro jedan sahat prije neg što
Zazvoni blago zvonce sa crkvice
Sa sinom, vašim djakom, dignem se
Pa molim svedj dok zora ne svane;
Ponajpre očenaše, vjerovanja

Pa krunice, pa deset zapovjedi (Tart. zažmiriv kima glavom, tobož odobrava. Jurička stavila je košaru ne daleko od sebe, Tart. pomiče tako svoj stolac dok ne sakrije košaru i diže rubac s košare, da vidi što je. Jurička svega toga ne vidi).

I sve što mladu nauči me mati.

U pol dne isto tako; prije nego

Što radit počnem, prekrstim se triput.

A na veče se molim dok ne zaspim.

- Tart.** Ugodiliste besjedom mi vašom.
Ej! kamo sreće, da je sav svijet takav,
Već zemlju bog bi pretvorio rajem.
Ko što ste dosad molite i odsad,
Jer molitva je, znajte, i pobožnost
Najveće blago i najsigurnije.
Tko viek se moli, taj je naviek bogat,
Tko ne moli se, tom nij nikad dosta.
Siromašan sam kako vidite,
Ni krajcarice reć bi skoro nemam,
Odielo mi je traljavo i staro,
Pa opet smislim, da sam najbogatij!
Za molitvu mi bog dô zadovoljstvo.
Ne nalazim na svijetu veće slasti
Do kad se mogu cio danak molit.
I svakom volim kao bratu svome,
I ljubim svakog kao istog brata,
I ne molim se nikad samo za se,
Već za svijet cio — višnji bog mi svjedok!
Sirotinju mi lahko je podnašat,
Jer radi boga sirotanak jesam;
A što se čini radi boga, od tog
Na svijetu nema sladjeg — ma mriet bilo!
Al da vas dugo ne zadržajem —
Vi čini mi se, došli ste u poslu?
- Jur.** Da došla sam vas pitat za svog sina,
Je l' poslušan i uči l' kako treba?
- Tart.** I poslušan i uči kako treba, (Izvadi „Notes“).
Al da — jedan put trko je po noći —
- Jur.** Moj sin? — —
- Tart.** Ta da — al ne bojte se ništa.
To znadem ja pa više nitko drugi.
- Jur.** Oj čime ću vam na tome zahvalit!
- Tart.** I da — jedanput došao je pijan . . .
- Jur.** Moj sin? — —
- Tart.** Ta da — al ne bojte se ništa!
Da rekнем rječcu, izćeran bi bio.
Al bože sačuvaj! — To neće bit.
Ogriješit duše ne bi time hćeo,
Pa makar odmah lišen bio časti.

J u r. Oh! čime ću vam na tome zahvalit!

T a r t. Pa kako rekoh: Poslušan i uči . . .

Al da — jedanput ništa nije znao . . .

J u r. Moj sin? — —

T a r t. Ta da — al ne bojte se ništa.

J u r. Oh hvala, hvala! vi ste vas božanstven,

Da nije vas već propala bi zemlja.

Zahvalit čim ću na toj vam dobroti?

Bar ovaj malen darak ne prezrite. (Pokazuje na košaru).

T a r t. (Skoči). Šta, šta? To nipošto i nikada!

To uvrieda bi pravednosti bila.

J u r. Ta primite, ta malim darom otim

Okaljat nećete pravedne si duše.

T a r t. Od nikog niesam nikad ništa primo,

Do l' tada kad bi tkogod hćeo crkvi

Poposlat kojoj, sitan koji novčić,

Il možd' u drugu koju božju slavu, (Jur. razvezuje rubac,

Tart. požudno gviri).

Il svetici il svetcu kojem na čast.

(Za se). Izmamit labko lude je od žene. (Jur. izvadi dukate).

(Na glas). A što su molim oti liepi stvori,

I čemu rabe ote žute stvarce?

J u r. Ta dukati su, zar ih ne poznate?

T a r t. To dukati su zar? Ta gle, gle, gle!

Još vidjeo ih niesam u životu. (Uzme jednog).

Gle! ovo car je — višnjem budi hvala, (Uzme drugog).

A ovaj baš je isti ko i onaj;

Još vidjeo ih niesam u životu.

J u r. (za se). Ni dukata još ne vidje siromak . . .

T a r t. Da vidi moja draga majka to, (Uzme trećeg).

Ni ona toga ne vidje još nikad!

Pa gle! i ovaj isti je ko oni,

Razaznat ne mož koji li je ljepši,

Ko da ih jedan stvorio je stvorac.

A kojoj ću ih recte crkvi poslat?

Još ne dobi nijedan hram tog dara.

A vaše ime spominjat će crkva,

Dok bitisala bude na toj zemlji;

I onaj malen dar ću, sve ću predat. (Uzme košaru i odnese ju u kut).

Sve spremi ću, da ništ se ne ošteti.

Nadariti će bog vas tisućkrato,

I sinu vašem dat će svaku sreću.

J u r. Oj! bog bi dao — to jedino želim.

Tart. A poslušan je znajte, dobro uči,

A um mu bistar kako riedko kome;

Ja svakom sgodom brinut ću se za njeg. —

J u r. Oj ja vas molim!

Tart. Ko za svoga sina.

Od svijuh mi je on ponajmiliji,

Kad govori milota ga je slušat,

A kad se moli tad je ko anđjelak.

J u r. Još jednom molim, pripazite na njeg,

Oj molim vas! — Sad sbogom! (Ode).

Tart. Sbogom!

Prizor drugi.

Tart. Zlatka.

Tart. (Ljubi dukate). Oj sladki moji, zlatni moji janjci!

Polako li se kupiti pastiru.

Ostali sviet vas ne zna tako čuvat,

Već ljuto baca vas iz žepa u žep,

Ni zatočišta sigurnog vam ne da;

Već svačim kalja moje sladke janjce. (Ljubi ih).

A ja u toru liepu znam vas čuvat. (Izvadi iz ormara veliku kesu dukata).

Kad bit će jedan tor i jedan pastir!

Gle! ovog sladkog od grofice dobih,

Za grofovnu što dušicu se moljah . . .

Al molio sam! Proklinjo sam babu

Što nij mi više nego jednog dala! . . .

A ovog dobih od gospoje Klare,

Da laćmana joj nadjem za ženika;

A ova dva mi opet laćman dao,

Da gospi Klari kažem, da ju ljubi . . .

Al za nos dobro znao sam ih vući . . . (Čuju se koraci iz vana).

Uh! koji vrag je opet! Ne daju mi

Ni da se sladkih nagledjem janjaca . . . (Udje Zlatka).

Ha! dobro, da si došla; baš te moram

Zapitati za jednu važnu stvarcu. (Zlatka gledje u dukate, tresuć glavom).

- A što se hulja amo zagledala?
Zlata. I opet jednu zavaraste dušu;
Ni isti pako nije tako zloban.
Da mož'te cio sviet bi prevarili;
Ta zar vas nije sama sebe stid?
Tart. Šut lajavice! razbit ću ti glavu.
Od ubožtva ne mogu poslati te
Ni iz kuće; zaslužiti ništa ne znaš,
Pa opet smiješ proti meni brbljat.
(Sladko). Al da isbilja — začuh, da si sretna.
Zlata. Ja sretna?
Tart. Začuh, da te Niko ljubi.
Zlata. Da ljubi me pa što je onda, jer
I ja njeg — —
Tart. Dosta, dosta — već je dobro!
Zapamtit ću si — Niko tebe ljubi . . .
Iz svačeg treba korist vući znati.
Zlata. Ha! vara se gospodin lažisvetac,
Kad misli mene ludom svojom držat.
Ogulio ste gospodine brate
Već cio sviet — ta evo gle ih, gle ih! (Otkrije dukate).
Tart. (ćusne ju). Bezobraznice znat ćeš tko sam ja!
Zlata. Baš hvala liepa gospodine svetče,
Za biskupa se valjda pripravljate,
Da uzaznate krizmat kako treba!
Tart. Ha! svrako, zmijoj sad ćeš tekar dobit!
Ta gdje je štap, ta gdje je, da joj platim? (Traži po sobi štap).
Zlata. Medjuto ja ću nagrabiti novca.
Tart. Prokleti vraže stani, čekaj, stani! (Ganja ju dvaput oko stola,
skupi novce).
Paklena zvier mi hćela poklat janjce,
Na štap ću objesiti te kao zmiju. (Iztrče za njom van).

Prizor treći.

Dva gradjana, zatiem Tartuf.

Prvi. Ja strepim; ti?

Drugi. Ko da sam u nebesih . . . (Obojica se strašljivo ogledju po sobi.)

Prvi. Ko da ću doći sad pred obći sud.

Drugi. Ja ko da čujem proročanske glave.

- Tart. Pomozi bog vam braćo moja draga!
Zabavljate li svetima se stvarma?
- Prvi. Govorili smo dosad sve o vami,
O vašoj svetosti, pobožnosti.
- Tart. Tolikog vašeg poštovanja niesam
Nevriednik nit zaslužio.
- Drugi. Zaslužili ste najčastnije mjesto
Medj svimi svetci na nebu i zemlji.
- Prvi. Baš rekao nam prijatelj naš Petar,
Da k njemu ste se udostoj'li doći.
I reče nam za bogom, da gorite,
Da kupite siromašne za crkve
Po koji novčić — niesmo ni mi zadnji,
Stog primite i od nas koji darak. (Daju mu novca).
- Tart. (za se). Ta ti su ljudi nego ja pametan.
(Na glas). U zlatnu će vas knjigu bog upisat.
(Za se). A ja u knjigu prvih ludovnjaka.
(Na glas). I ja ću za vas moliti se nebu.
- O b a. Božanstva vašeg vjerne sluge mi!
- Drugi. Je l' opet skoro, molim, koji blagdan?
- Tart. Jest! U četvrtak Spasovo je sveto,
Kad no je Isukrst i sveti bog naš
Po smrti svojoj četrdeset dana
Još probavio na toj zemlji, učeć
Sviet svoju svetu vjeru, pričajući
O sladkom rajju i o strašnom paklu —
Od andjela sa zemlje bogu odnet.
- Prvi (za se). Oh! pravi svetac; kako znade pričat.
- Tart. U petak vam je sveti Mamerto,
Bijaše negda biskup to pobožan;
U subotu je mučenik Pankracij . . .
Sliedećeg ćedna nema većeg svetca,
U sriedu samo Ivan Nepomučki.
A zatiem jesu sveti Duhovi!
Tih svetih dana nekate propustit,
A da se nebi bogu pomolili,
Da udieli vam svoju svetu milost,
Da svuda oko njegovo vas prati;
A svakom svetcu preporučte dušu,
Jer oni stoje baš na vratih raja,

Pokraj njih duša ide na sud bogu.
Stog molite ih, da se za vas mole.

Drugi. Na usta vaša sbori isti bog;
Što rekoste nam, činit ćemo sve.

Tart. A sada sbogom! prijatelji dragi.
Al da — zamolio bih još vas nešto,
Bi l' hćeli tu mi uslugu učinit?

O b a. Što vi rećete to je nama sveto.

Tart. Oj! dobar sam, pa znajte, da se brinem
Za djake svoje ko za braću svoju;
Od svakog zla sam rada ih odvratit,
Mladjahnj još su — a sviet pun je zala,
A riedko zlu tko odtrći se može . . .
Pa stoga uvijek pazim i promatram,
Kud ide koji i što radi ondje;
A kod kuće se znate uvijek molim,
Pa stog ne mogu svaćem u trag ući,
Nit saznat gdje zlo ovom, onom prieti.

Drugi. Za djecu otac ne brine se tako!

Tart. Pa stog vas molim, da budete dobri,
Pa vidite li kojeg u sumračju,
Da za njim podjete, dakako tajno — —
Il možda kadgod ciela ih je hrpa,
Uhodite ih — bio l' dan il noć . . .

Prvi. Šta ja sveg toga znadem, bože moj!
Kad pomislim — oj! plakati bih moro.

Tart. Ah! recite mi, molim vas ko boga,
Oh! bože, bože! ne uzmi im za grieh! . . .
A sviet će kazat — učitelj je kriv,
A ja ih učim kao malu djecu.

Prvi. Sa posla išo baš sam nekog dana,
Spušćavo mrak se, zvono zvonilo;
Ja skinem kapu pa se moljah bogu,
A djaci — bješe jedan ih desetak —
Na brdo popeli se pa vikahu
Iz svega grla što su igda mogli.

Tart. Oh! bože moj! uvriediše te jako,
Oprosti im jer ne znaju što čine.

Prvi. Pa zatiem s brda spuštīše se hrlo,
Sve vikajućī: Živila Hrvatska!

A ja od vike niesam molit mogo,
I prokleo sam tad ih — bog mi prosti.
Tart. Oh! zašto nij ih zemlja progutala,
Kad vriedjaju mi u molitvi ljude.
Oprost' im bože, ja te za njih molim!
A i vas tako molim, prostite im!
A sad vas jošte jednom ono prosim:
Prijav'te mi kad o njih što saznate.
A sada sbogom! dragi kršćani,
Ni slušanjem si duše ne smiem griešit. (Oba odu).

Prizor četvrti.

Tart., zatim Janko.

Tart. Al ludog bože stvorio si svieta!
Ta ne će ovca vjerovati vuku,
Ma magareču kožu navuko.
Al sviet od ovce tisuć put je ludji.
Nastvarao si bože magaraca! . . .
A čemu ta je zvjerad dugouha?
Ta čemu, neg da gosi zlato vuče!
U koži svojoj treba znat se kretat,
I dobro znati prevrtati okom
I zagrljaji drugoga zaludit,
Pa tada ti si najpametniji.
Ovako treba psine ote gnjesti. (Stiska ruku).
Do krajcare oguliti ih treba,
Izčupat dušu i izkopat oči,
Da ne znaju što rade prstima.
Na majstora su baš se namjerili;
Pogodit samo treba ih u žicu —
A tad ne štedi dok ne popuca! . . .
Zar da se djaka bojim? Dragosti! . . .
Ta dobro znam, da ruju kao krti;
Al oči svietu prevuko sa mrenom,
Da grom je ne bi — kamo l' krt odlup'jo . . .
Al gdje je Janko — poslao sam po njeg . . .
Ha! evo ga — baš ide ravno amo,
Iz čuture mu sama mudrost viri!
Blagosovljen mi budi dragi brate!
Janko. Ja niesam vriedan . . .

- Tart.** Neka brate tako,
Ta svi smo braća, djeca jednog otca.
- Janko.** U molitvi sam možda sbunio vas.
- Tart.** Dovršio sam! Bogu budi hvala.
Nek božja volja na meni se vrši . . .
Još posljednju forintu imadoh —
U crkvi bijah, sad se vratih iz nje,
Pa putem valjda netom ju izgubih.
Izmolih namah trijest očenaša.
Ma ništa danas ne imao jesti,
Na molitvu zaboraviti ne ću.
Ta sve na svietu, sve je božja volja.
- Janko.** Baš sada primih nešto malo novca,
U kući nemam uprav velje nužde,
Pa stoga primite taj malen dar. (Daje mu novca).
Da nesreća se vaša meni sbila,
Učinili bi vi, znam, isto meni.
- Tart.** Nebeska su mi mana rieči vaše;
Da nije vas sad, ja bih umriet moro
Od pustog glada — Višnjem budi hvala. (Hotomice pogazi
cipele Jankove).
Oh! sladki brate ovako vas molim! (Padne pa ljubi i čisti
(tobož) gdje ga je zakaljo).
Ja niesam vriedan, da vas ustnom dirnem.
- Janko** (ušeptrljio se). Ta nekate, ta nekate oh! brate. (Sagne se,
da zaprieči Tartufa u ljubljenju, odmićuć se sve dalje;
buduć da mu Tart. kruto obuhvatio noge, to pane na
njeg pa se poljube licem u lice).
- Tart.** (za se). Šta niesi vraže glavu tu razlupo.
(Na glas). Čudesa tvori i dan danas bog,
Oćutih sada njegeve ruke moć,
Što uvijek samo dobro s dobrim spaja.
- Janko.** Pričinja mi se, da poljubih boga.
- Tart.** (govori Janku u uho, okrećuć se, da ih nitko ne vidi.)
Da sbilja! čuo sam, da sestru moju
Vaš dragi sinak jako rado ima.
- Janko.** A preda me je kleknuo i strepo,
Ne mogav rieće izreći siromak . . .
Tek ustne drhtale mu, da ju ljubi. (Tart. tobož sav blažen
kima glavom).

Al nigda niesmo ni spomenut smjeli
Sa svetcem takvim u rodbinu doći.

Tart. Oj! sladki brate a ja jedva čekam!
Već rekoh sestri, da oženi Niku —
Al stid me brate, nemam ni novčića.

Janko. Je l' vaša volja samo — novca bit će.

Tu peticu podajte sestri vašoj,
Da znade kako volimo joj svi.
Kad reknem sinu sada, umrieti će
Siromah od veselja! (Ode).

Tart. (za njim). Da bog da umro!
U takovu Abderu jošte nije
Nanesla kob me Gavrani ne znadu
Ti što je lija . . . Danas baš sam sretan;
Sve ide kako treba; čekaj Niko
Na Zlaticu dok sunce s' neba pade.
Ti dragi Janko skupljaj petice,
Da napunimo brže sandučić — — —

Ta Arka, to je sbilja božica,
I živo biće rieči: nedužnosti;
Obljubiti ju ne bi škoda bilo.
Pokušat ćemo postaviti mrežu! . .

Al žene one čuvati se treba,
Jer hulja jeste nada hulje sve,
Prevejanosti svake arcidjelo!
A Karlo? Da je bogat vidjeo sam,
Al duše još ne poznam mu i srca.
On Anku ženit hoće? Ne će, ne će!
To ne da otac — sve baš kako treba.
Na moju méku Karla da j' navabit,
Da uzme Zlatku; ako ne će nju,
Da ovdje barem malko pomogne! (Pokazuje na novce; vadi
ključe iz žepova).

I ovaj tu, i taj i taj . . . (Obtrče sve ladice, da vidi jesu l'
zaključane).

Sve dobro!

A vi da nieste hulje nikom rekli! (Pokazuje na slike na zidu).
A ti ćeš dragi bit mi vjekom vjeran. (Poljubi svoj svjetlopis
i ode).

Prizor peti.

Niko, Zlatka.

- Niko. Odavna veće ne vidjeh te Zlatko,
Uvenula si, pô ti s lica ruj;
Ne smieši ti se ustna više sladko,
Na zenice ti čudan pao nuj —
Ta možda drugog ljubi zlato moje! . .
- Zlata. Ti mene valjda sudiš po sebi.
- Niko. Od poljubaca ustne mi se zuoje,
Čim vidim ustne namah mi se zli!
A ti se valjda zabrinula jako —
Koliko puta posla me u pako?
- Zlata. Ja sbilja ne znam je l' to sa mnom Niko.
- Niko. Ta Niko, Niko, zlatna moja diko.
- Zlata. Jer vjeruj, da te ne ljubim odviše,
To rekla bih, da ne ljubiš me više.
- Niko (približi joj se). Al čuj me zlatna — prvi cjelov primi,
Do sada nikom još ga niesam do.
- Zlata. Od ljubavi će srce puknuti mi;
Pa koliko mi srca žar je mamen,
Da poljubiš mi jošte lice to —
Prosukljao iz grudi bi mi plamen.
- Niko (opet hoće, da ju poljubi — ona izmiče).
Ta neka biti hladna kao kamen,
Za jedan cjelov još mi vrati sto! (Poljubi ju).
- Zlata. Uh! al je gorak ko vragova sto!
- Niko. Uh! sladja ti je ustna nego med! (Imitira ju).
- Zlata (za se). Jest hulja, huncut, da mu nema para.
Pretvarah tek se, da ga izkušam,
Ej! da je žena Belzebub bi bio!
- Niko. Ti sklapaš ustne a ne ima glasa;
Sa duhovi se valjda razgovaraš.
- Zlata (osbiljno). Na nebo naše ljubavi se oblak
Navuko paklen, taj je oblak brat moj.
Je l' ti ga štuješ? A ja velim: lud si!
I cio sviet taj jeste jedna luda.
Ne krivi lica, znadem što govorim.
Znaj! on je zloba, da je nema veće;
I ako hoćeš zlobu, lukavost
I prvog hulju, podlost, lakomost

U živoj slici vidjet — gledji njega.
Izmamio je tvome ocu novca,
I rekao mu, dat će mene tebi;
Je l' tako? Neka vjerovati, neka!
Jer ne budete l' opametili se
I jezik će vam iztrgnut iz ustij.
On mene tebi ne da! Čuj, što kažem,
On snuje druge podle osnove,
Ti misliš, misli sviet: Siromah je!
U istinu je pak bogatiji
Neg svi vi skupa! Čuj me što ti kažem.
Ti misliš, da je pobožan, da moli;
Oj nije! — Novce mjesto toga broji.
A meni, slušaj, meni ne da jesti,
On znade tko sam ja i znade dobro,
Da znadem sve i sva, pa boji me se.
Ko pseto me na lancu drži spetu,
Da svietu tajne izreći ne mogu.
Da bozi bar u jadu mom me čuju!

Niko. Oh! grozne srdjbe to mi srce ruju.
Zlata. Al čuj! izgubit glavu ne smie čovjek.
Ne pozna sviet ga jošte — ja ga poznam:
Suprotstavi l' se tkogod malko jače,
Tad uplaši se, al se zna pritajit
Ko da ni ne zna za strah, zatiem gleda.
(Na vučju kožu lisičju obukav.)
Lukavštinom te svojom obajati,
Tol fino, čuj! da čovjek ne zna gdje je.

Niko. Šut! koraci se čuju.
Zlata (sluša). Jest, jest! On je!
Ne prepani se samo.
Niko. Ne boj se!

Prizor šesti.

Prijašnji, Tartuf.

Tart. (zapanjen trče po sobi tražeć štap).
Ho hó, ho! hó gle mudre frajlice,
Baš rad si danas štapom pit bratinstvo. (Uzme štap pa poleti
Zlati, Niko ga prieči stojeć pred njim).

Niko. Gospodin zete ček'te malko, molim.

Tart. Gospodin zet, gospodin zet — tko kaže to?

Niko. Moj otac kaže! Peticu vam dô,
Da date njoj ko zaručnici mojoj,
Al vama to ni na kraj uma ne bje.
Je l' tako Zlatko?

Zlata. Uprav tako, jest!

Tart. O guštere, o zmijo! (Poleti k njoj, Niko ne da).

Niko. Gospodin zete ček'te malko, molim.

Tart. Gospodin zete izvolite van,
Dok ja njoj najpre njenu plaću dadem. (Sve troj oko vrata;
Tart. gura Niku van).

Niko. Gospodin zete ček'te malko, molim.

Tart. Gospodin zete izvolite van. (Niko stvori vrata, pusti Zlatku,
zaključa opet i turi ključ u žep).
(Tartuf skrsti ruke i šeće po sobi gore-dole; isto tako
Niko; svaki ima štap. Tart. glede Niku popreko).

Tart. (za se). S njim kruške brati ne bi dobro bilo.

Niko (za se). Gospodin zete, da se ogledamo.

Tart. (za se). Da nije jak, prikrenuo bih vrat mu.

Niko (za se). Gospodin zet ko da se stidi mene.

Tart. (na glas, digao oči k nebu).
Sačuvaj bože jezika me zlobnih,
Što ruju potajno pod dobrom zemljom.

Niko (za se). Al lopov sebi pjeva hvalospjev!

Tart. I znadu krti omraziti dobrog
Pred zlobnim svietom, bog im neka prosti.
Ja volim bože biti ocrnjen,
Neg da ja igda ocrnjujem druge.
I hvalim tebi, jaki bože, toli
Dobrostitivoga što si stvorio me.
Kad mogu reći: Hvala tebi bože,
Da niesam ja Farizej kao oni.

Niko (za se). Gospodin zete! kušat ćemo sreću. (Na glas, vrlo pre-
vevano, ogrli Tart.).

Amice dragi hajd pomirimo se.

Tart. (prevevano). Amice dragi, što vam pada na um,
Ja ne znam, da se igda zavadismo.
Oprostit će te prijatelju dragi:

Bi l' hćeli kazat mi — s kim imam čast?

Niko (za se). Ah! saprment, ta to je čedo pakla.

(Na glas). Ta je l' moguće prijatelju dragi?

Ta ja sam Zlatin zaručnik, sin Jankov.

Tart. Amice! vi zar Niko? Sretna mene!

Kad takvog mladca zetom zvati mogu. (Poljubi ga).

Niko (za se). Id sotono — pa paklu dah ti smrdi.

(Pričinja se). Ha! to je to! Ja gledam, je l' moguće,
Da mene dragi ze: bi moj izčero! . . (Pljeska ga po ra-
menih).

Tart. Da znate dragi koliko vam volim! .

Stog ne dam Zlatki s nikim ni govorit,
Da nebi mogli na me se potužit;
Pa kako dužnost vršim, sad ste vidli —
Gdje ono mišljah, vi ste netko drugi, —
Pa stoga molim, da mi oprostite.

Niko. Amice dragi! ta ja ne znam, da ste

Uvriedili me, vi si utvarate,
Ta vi ste dragi jako fini bili.

Tart. (za se). Ah! zlatna smijo — al ti blješti zlato.

Niko. Pa kako, što velite, kad bi moglo

Bit vjenčanje i pir? Da znate, ah!
Koliko ljubim liepu sestru vašu,
Znam, da bi rekli: odmah sutra, odmah.

Tart. (za se). Za veću ljubav više petica.

(Na glas). Što rekoh dragi: Čim uzmože prije,
Večeras još ću o tom promislit,
Pa javiti vam sutra prvom zorem.

Niko. Do vaših obećanja mnogo držim.

(Za se). Ni pišivoga boba bolje rekuć.

(Na glas). Sad budte sbogom! (Ode).

Tart. Odneo te djavo.

Prizor sedmi.

Tart. Marti mu.

Mati Tart. (Donese punu košaru, keseć se). Do zemlje vašoj mud-
rosti se klanjam.

Tart. Ja opet ljubim toli fine ruke. (Poljubi ju, ode vidit što je u
košari).

Aj, aj, aj, aj! što takve ruke vriede!

Mati (pokazuje mu kesu s novci). Andjelče moj gle! malih andjelaka.

Tart. Ponizan klanjam se do crne zemlje.

- Mati.** Zatvorila sam kreštelicu onu,
U podrum, neka nauči se štitit.
- Tart.** Aj, aj, aj, aj! Ta vi ste anđjel s neba.
- Mati.** Da hoće bar je ne stat stoga svieta!
- Tart.** Baš mislim dat je jednom bogatašu,
Al samo treba jošte mreže splesti.
- Mati.** Nek ide k vragu, da smo jednom sami,
Procvjetat tada tek će zanat naš.
- Tart.** Aj, aj, aj, aj! Al to će biti slast. (Zagrlje se).
- Mati.** Tom svietu gulit kožu, zlato krast.
(Zlatin glas čuje se iz vana:)
A ja ću svietu sve te tajne reć!
- (Oboje trgnu se, po lete na vrata). Ah! kuju, kuju treba ubit već!

T r e ć i ć i n.

Prizor prvi.

Isto kao u drugom činu.
Petar, Tartuf, kašnje Karlo.

- Petar.** Blagostivo se nebo smilovalo.
I ja se želje doželio svoje,
Da opet jednom vidjeti vas mogu.
- Tart.** A i ja tako. Od onoga dana,
U kući vašoj kadno vas posjetih,
U duši mi je samo vaša slika.
- Petar.** I ja ću dugo sjećat nog se dana,
I onih sladkih naših razgovora.
- Tart.** A kako brate, molim, vaša kćerka?
Odkako vidjeh ju, i za nju molim;
Plavokosa pa svetici je slična.
- Petar.** Baš hvala bogu, da je moja kći
A materi ne naliči ni trunka.
- Tart.** A kako Karlo, kako ženitbom? . .
- Petar.** Na vrbi svirala! Što rekoh jeduom,
Oporeć više ne ću nipošto.
Pa još za onog dječka — sačuvaj bog!
- Tart.** Je l' opet kakvog zla počinio?
Al nekate ga samo strogo sudit . . .
- Petar.** Ja ne sudim, već velim istinu.
- Tart.** (toboz). Ah! liep je mladac prijatelju moj!

Oprostite mu, valjda nij baš takav.
I Anka znam, da odveće ga ljubi,
Sirotica bi umrla od tuge.

Petar. Nek umre! Da vi znate što je hulja

Govorio, bi s mjesta prokleli ga.

Tart. Oj! ne bih, ne! A što je molim reko?

Petar. Ja sbilja ne znam, bi l' vam reći smio,

Strahota čut je, kamo l' vjerovat!

Tart. (za se). Ha! ruje krt! Već znadem što je, znam.

(Na glas). Al recte, molim, recte samo brže . . .

Petar. Obećajte mi, da će te mi sve,

Što budem kazao, oprostiti.

Tart. U ime boga ja vam praštam sve.

Petar. U ime boga i ja počimam.

Govorio ja Anci svojoj jučer,

Da bude dobra kao i do sada,

Da štuje vas ko boga na nebu,

I svaku rieč vam dobro da zapamti,

Jer pravednika većeg nij na zemlji.

A na to skoči on ko biesan ris,

Nazove psetom vas i prvom huljom . . .

Ja sbilja ne znam što je sve još reko, — —

I što bi reko — —

Tart. Što ga nieste pust'li?

Nek rekne sve što na srcu mu leži.

Petar. — — A ja ga pljus! po zubih što sam mogo,

I trgnem štap i izćeram ga van,

U mojoj kući ne trebam ga više.

Tart. Oj! zašto nieste puštali ga, dragi,

Da rekne sve — ja sve mu praštam.

Petar. Tko prijatelja moga tako vriedja,

I mene vriedja. Ta prokunite ga,

Jer nije vriedan, da mu oprostite.

Tart. Oj! ja sam dobar pa mu praštam sve,

Al kako Anci bit će bez njega?

Petar. Pa kako bilo joj — da bilo. Rekoh!

Tart. Oj! sretan sam kad prijatelja imam,

Koj tako gori za bogom i vjerom. (Karlo udje).

Petar. Al evo gledj ga — psa ne mogu gledat.

Oprostite što ostavit vas morani.

Tart. Ta ne bojte se ništa, ostanite.

Karlo (za se; ogri Tart., tetura se tobož pijan).

Da vidim kako uspjjet će nam plan.

(Na glas). Amice! Al sam noćas lumpovo,

Cijele noći oka ne zaklopih! . .

Tart. (krikne). Taj ide bože i po noći! . . (Sklopi ruke).

Petar (krikne). A joj! (Poleti Karlu, koj je ogri Tartufa).

Sad pusti ga il' razbit ću ti glavu.

Tart. (Petru). Ta pustite ga, nije pri pameti.

Karlo. Amice! Vas je strah zar ić po noći?

Tart. (Karlu). Imate valjda puno novca dragi?

Karlo (viče). Imade novca tog — — —

Tart. (prekine ga). Ta šutite!

(Za se). Da hoće ovaj vrag me ostaviti, (Pokazuje očima na Petra).

Izmamit bi se možda štogod dalo.

Petar (za se). Baš dobro, da tog Karla znam još bolje.

(Na glas). Sad sbogom dragi, moram ić! (Ode. Prikrije rukama lice i to s one strane na kojoj je Karlo).

Tart. (za se). U pako!

(Karlu). Amice! čovjek taj dosadjuje mi

Ko mušica, ne mogu već ga gledat.

I svedj mi brblja kakov pobožan je,

I kako ljubi me ko istog boga . .

A nije vriedan, da se zove čovjek,

Od noći se je eno uplašio.

Karlo (svedjer igra pijanog).

Haha od noći! Al nas dva amice —

Sotone je li ne bojimo se.

Po noći mi smo prve junačine!

Tart. I mukte pit, i ljubit mlade žene,

I vući sviet taj za nos . . . Liepa noći!

A kada zorom ponestane mraka

Navući treba svjetliji haljetak,

Na tielo i na duš; je li tako?

Karlo. Nas dva smo: Jedna duša, tiela dva.

Tart. (za se). Nategnut ćemo sada druge žice.

(Na glas). Amice! Začuh, da ste jako bogat.

Karlo. Ej! ima toga novca kao blata!

Tart. Ja dragi bome nemam. Igrao sam

- Baš neku noć i proigro sam sve;
Amice! bi l' mi mogli što pozajmit?
- Karlo. Pozajmit?! Kako možete takav bit!
Poklonit ću vam trideset stotina!
Ta ima novca toga! . .
- Tart. (za se, kesi se sladko). To baš valja.
- Karlo (kopa po žepu). Dok samo nadjem, oj! taj vraži žep.
- Tart. Amice moj! igrasmo se mi „zwicka“.
Nas deset. S prva bilo na novčiće,
Pa na seksere pa na forintače,
Pa na desetice . . amice čujte!
- Karlo. Au, au! Ta vi ste čitav majstor dragi.
- Tart. S početka ja oštruljo sto forinta;
Al ne dô mira vrag — ja hćeo još sto . . .
- Karlo. Pa ostadoste stotinarku dužan . . .
- Tart. Baš tako je! Ta vi ste čitav majstor! (Gleda požudno u Karlov žep).
- Karlo (za se). De gledji, gledji — ne ćeš dogledat. (Poozbilji lice).
U ovom žepu nij — al ovdje bit će. (Traži u drugom žepu).
- Tart. Ej! blago meni s takvim prijateljem! (Ogrli ga).
- Karlo (za se). Ej! vidjet ćemo — još se ništa ne zna.
- Tart. Al k večeri ću istom psima dati,
Oštruljat ću ih sve do gole kože.
- Karlo (za se). Ej! vidjet ćemo — još se ništa ne zna.
(Na glas). Ni ovdje nema! Je l' to vraži poso!
Ha! evo ih! No hvala budi bogu.
- Tart. (Od milinja gladi se lievom rukom po licu.)
Oguliti ću psine sve do kože.
- Karlo (za se). Ej! ko da ne znam kako ti to misliš.
(Skoči). Amice dragi! pokrali mi novce.
- Tart. (za se). Oh! vrag te odno, to je sbilja grozno!
(Na glas). Sve pokrali vam, sve do krajcare?
Prokletstvo palo na taj ljudski rod.
- Karlo. Oh! to je sbilja strašno prijatelju,
Da čovjek nije siguran u žepu.
- Tart. Amice! palo mi je nešto na um:
Da l' znate, da vas Petar spopo za vrat,
Baš toič! . .
- Karlo. Ha! jest! Lopov, lopov! (Za se). Ti si! (Šakom po Tartufu).

Tart. (za se). Hoho! Amice! to su moja ledja.

(Na glas). Pogodili ste sve na dlaku dragi.
Sa jednom rukom grlio vas, s drugom
Vas krao . .

Karlo (udara po Tart.) Lopov, obješenjak. (Za se). Ti si.

Tart. (za se, uvija se). Ta niesam ja taj, to su moja ledja.
(Na glas). Sad ja tek znamem zašto me polaža
Taj vraži čovjek, uprav svaki dan.
Već znate što — obtužite ga, ja ću,
Svjedokom bit! . .

Karlo. Ha! znat će hulja, znat će. (Udara ga).

(Dvolično). Sve bolje hvatam ga u svoje mreže.

Pa čujte dragi! Čovjek taj još hoće,
Da uzmem kćerku njegovu za ženu.

Tart. Ha! sad se istom vidi što on misli:

Zavirio je on u kesu vašu,
Pa kćer bi svoju za novce vam prodo.

Karlo. Al neka, neka znat će tko sam ja!
Al čujte dragi! reko bih vam nešto:
Zaljubih se u liepu sestru vašu,
Odavna već — vi znate što je bol
Ljubećeg srca, bi l' ju hćeli dat mi?

Tart. (veseo, ozbiljno). Za ženu?

Karlo. Da za ženu, jer ju ljubim.

Tart. Nek bog me čuje: Zlatica je vaša!

Karlo. Oj! sad sam sretan. Idem brže kući
Reć roditeljem.

Tart. Bog ih blagosovio! (Karlo ode; na vratih daje mu Zlatka
papir).

Prizor drugi.

Tartuf, zatim Mati mu i Zlatka.

Tart. Tuj leži oganj a tuj voda! Uzmi
Što hoćeš! moram samu sebi reć.
Sve klanja mi se! Onaj svojevolutno
O udaji sa Karla ni čut ne će,
A taj još manje uzeti ju kani.
Kud segnem rukom odsvakud je dobro.
Al ja ću kušat pružit za obojím.
Dva prijatelja, kažu, niesu vierna.

Ma ne bili — ja zato slabo marim,
Nek samo igraju mi što im sviram,
Rad kćerí će si onaj meni klanjat,
A tog ću za nos vuć rad moje sestre . . .
Od ljubavi za Ankom sbilja drhćem,
Za poljubcem ko diete žedjajući. (Zamisli se, domisli se ne-
čemu, odobrava).

Jest, jest! Što mora bit to mora bit.

Mati (tura pred sobom Zlatku). Unutra vuc se!

Tart. Što je opet, što je?

Mati. Zar ne vidje — ta list je onom dala!

Da vrag ju sobom nosi . . .

Tart. (lagano). Ništa zato.

Zlata (laskavo). Napisala sam, da ga jako ljubim.

Mati (brže od druge strane Tart., obe su rad mu ugodit).

Prokleta zmija izdat će nas svietu.

Zlata. Poljubih mu na pragu ustnice . . .

Mati. Al ja sam danas lovak ulovila . . .

Tart. (od veselja ne zna kojoj bi odgovorio).

Na pragu . . . krasno . . . lovak ulovila — —

Zlata. A on me nježno milovo po licu.

Mati. Al takve sreće nebjah jošte nikad.

Tart. Po licu nježno . . . nikad take sreće . . .

Zlata. I rekao mi, uzet će me skoro.

Mati. Oh! da ih vidiš kakovi su liepi! (Pokazuje mu papire).

Tart. Oh! kakvi liepi . . . uzet će te skoro.

Zlata. I rekao mi, da je jako bogat.

Tart. Ah! jako bogat! . .

Mati. Kakovi su liepi! . .

Tart. Oh! da ih vidim kakovi su liepi.

(Odoše u dno pozorišta. Niema igra: Mati pokazuje Tart.
prstom po papiru; neizmjerno veselje; odoše zagrljeni).

Zlata. Da znate hulje kakovi ste liepi!

I opet djelo vraže počiniste . . .

Lukavštinom sam bar izvukla se . . .

Al neka, neka! Zvoni već i vama,

Odzvoniti će čini mi se brzo.

Ta nije svakom mozak zamagljen,

Ko što gospodin brat i majka misle.

Ko ptice ćete pahvatani bit

Pod mrežom zobljuć, ko na među muhe.

Prizor treći.

Zlatka, Niko, Karlo, Janko, Marta obučena kao služavka. Janko ju ne pozna.

Niko. Ah! što nariče moj andjelak to. (Ljubne joj ruku).

Uh! al je gorka ko vragova sto.

Zlata. Oernio si kao ciganin.

Niko. Po suncu trčuć za djevojčicama.

Zlata. A ja sam sretna za mnom da ne idu

Ludovi takvi, kao što si ti.

Niko. Za danas mi je dost šipaka tih!

Janko. Milota čut je kako li se vole.

Marta. (igrajuć služavku obzire se ko ludkasta po sobi, klanja se

Zlati). Na sreći čestitam vam gospodjice

Zlata (Janku). Milota čut je! Jelte? Koja korist,

Kad ne moguće saviti nam vienac,

Da okrunimo srdaca si plamen.

Janko. A zašto, molim, zašto ne moguće?

Zlata. Oj! zlim ste putem udarili oče!

Vi ono tek čitate što vidite;

Izmedj redova neviditi ništa.

Janko. Fabulirate isto što i sin mi.

Zlata. Al zlatan smiso tim je fabulam!

Niko (Karlju). Moj otac ne zna o tom jošte ništa.

Karlo. Ni ne treba mu baš ni riečce reći.

Niko. Al da mu kažemo, bi uvidjeo,

Ja mislim, bolje vražu dušu onu.

Karlo. Ja primam na se odgovornost svu.

Al Zlatku ćemo o tom obavijestit. (Okrene se Janku i Zlati.)

Tvoj otac, Niko, otet će ti Zlatku.

Janko. Ja ne znam što e to djeco, mlada krv,

Uzpaliste se kao mladi jarci,

A ne znate, da čovjek onaj obći

Sa istim bogom . . .

Marta. . . S vragom, ancikrstom! . . .

Janko. Ti šuti, ti si služavka, je s' čula!

Karlo (Janku). Oprostit ćete, pričat ću vam jednu

Prastaru priču. Imo čovjek psa;

U ruke ljubit gosu, mahat repom,

Zno psina otaj ele! baš majstorski.

I goso mislio: Baš sbilja vjeran;

Pa davao mu čak iz ruke jesti;

Kad bilo sutra — uzme pas iz zdjele,
A preksutra — iz zubi svoga gose!
Gospodar samo računao na vjernost
I prijateljstvo milog svoga druga;
Al šarov bio mudriji od gose — —
I grabio i častio si psine,
Dok najkašnje mu ne pograbi sve,
Pa go o moj od psa si moro prosit
Komadić kruha — — Ali hoćeš da!
Moj šarov fuknu repom — sbogom Niko!
Oštruljao sam tebe, sad ću druge.

Marta. Oštruljo meni ova tri ćilima.

Janko. Ta ti si crna buha, šuti kujo.

A vi ste lude svi, svi! . . . Trebalo bi
Sa brezovačom pamet vam osolit.

Niko. Ja mišljah oče, da si pametniji.

Janko. Ta ti ćeš mene pameti zar učit?!

Karlo (uhvati Janka za ruku, Zlata i Niko približe im se).

Oprostite mi! Zna te l' vi što znači
Tuj, onaj pas u prenešenom smislu?

Janko (trza se). Sotone vi ste, lopovi ste, hulje! . . .

Pa što je to u prenešenom smislu?

Karlo. Da j' svetac onaj obješenjak prvi,

I da vas vara, ko crljena krpa
Na vodi žabu, dok ne uhvati vas.

Janko (Zlati). A vi zar brata svog ni ne branite?

Zlata. Ne! Znam bo, da bih griešila prot bogu,

Da s vragom plešem u istome kolu.

Ma bio on moj brat — što jest, to jest!

Marta. Ja glasujem, da mah ga objesimo!

Karlo. I ja!

Niko. I ja!

Zlata. I ja!

Janko (trza se iz njegovih ruku). O bože moj!

Poludio sam, sgnjaviše me djeca (Poleti van).

Svi (osim Marte). Poludio je, brže za njim brže! (Odu).

Marta. Il bolje rekuć: Vraća mu se pamet!

Poludio je! Ej! budale svieta!

Na lanac da vas sve povezati

I vodat vas po svietu za krajcaru — — —

Al ne bi l' bilo bolje, da pokupim

Te ćilime . . . pst! koraci se čuju.

Prizor četvrti.

Marta. Tartuf.

Tart. Hoho! A tko 'e to? A tko ste draga vi?

Ah to je sбилja liepa curičica!

Marta (ponizno ga ljubi u ruku, za se).

Da nemam kćeri, djevica bih bila! . .

(Na glas). Kod Anke ja sam služavka . .

Tart. (veseo). Zar vi!

Pa je l' vas možda amo poslala?

Marta. Pogodili ste!

Tart. Što mi kaže Anka?

Ljepotica ste vi od služkinjice. (Hoće ju poljubiti — ona se izmiče).

Marta. Ja niesam nigda još poljubila.

Tart. Zar nigda još! — Oj! dedte, da vas ljubnem. (Ogrli ju — ona se iztrgne).

Marta (obziruć se, plačnim glasom).

Ah! gdje su vrata, ja ću namah pobjeć,

I reć ću Anci: hćedoste me ljubnut.

Tart. Oj! nekate, oj ne! de sjedte amo.

Pa što je, molim, dala reć mi Anka;

Odavna veće vidjeo je niesam.

Marta. Pornčila vam, da vas ljubi žarko.

Tart. Zar ljubi dakle? Ja sam preveć sretan.

Marta (za se). Oj nije sreća sve — što čovjeku se

U prvi mah prićini . . čuvaj je se!

(Na glas). I veli, da vas veće željna vidjet.

Tart. Oh! recite joj, da ću sutra doći.

Marta. Zar sutra? Kada? Recte, da joj kažem.

Tart. Od prilike pred deset sahata.

Marta (za se). U crnoj duši toj, svih sedam boja

Zrcali se — al jedna crnja druge. (Gleda neprestano ćilime).

Tart. Vi nešto ste se tamo zagledali?

Marta. U ćilime se krasne zagledah.

Baš neki dan spomenu Anka majci,

Da vidje negdje krasnih ćilima,

I da je sama željna imat kojeg,

Al nitko ne će takva štogod prodat.

Tart. Ne mogu slušat više rieći vaših.

Ugodit mislim, da ću zlatu svome —

Stog poklanjam joj sva tri. Jedan ljepši

Od drugog; ne prezre li samo dare

A s darovi i mene ujedno.

Marta (za se). Polovicu pogodio si.

(Na glas). Oh! bože! kako možete tako misliti,

Kad umire od ljubavi za vama. (Uzme ćilime).

Tart. Poručite joj tisuć pozdrava

I poljubaca; recte, da ću doći.

Marta (za se). Poručit ću, da doček bude sjajan! (Ode).

Prizor peti.

Tart. za tiem Zlatka.

Tart. Ko vodja slavan, nepredobitan!

Od same sreće pamet ću izgubit.

Tek pomislim — a ono veće vidim.

Ta Anka mene ljubi, pa još šalje

Gorućeg srca svojeg poruke mi.

Utopit ću se u tom moru slasti.

A Karlo ljubi Zlatku — ona njega,

A Karlo taj je bogat — jako bogat!

A sbilja mal' da ne raboravih. (Izvadi papire).

Ta majka, ta je meni drugi: Ja! (Čita dva lista; sve se više mrči, drhće).

Ah! joj! Ah! joj! (Pade u nesviest).

Zlata (doleti). Što j' to, što j' to? (Uzme jedan list, čita u pol glasa).

..... potvrđuje da je mati Tartufova, Karlu S.

10000 fr. pozajmila! . . .

Tart. (miče se). Ah! joj! . . . Karlo je lažni bogataš . . .

Zlata (turi list u žep). Bjež brže! . .

Č e t v r t i ć i n .

Prizor prvi.

Soba kod Pelra. Na desnoj strani vrata pokrajne sobe, na lievoj visoki ormar.

Anka, Karlo, Petar.

Anka. Pa ti još, bože! dragi vesel toli,

Gđje meni vienac tuge vjenča čelo?

Karlo (nježno). A što je drugo žiće naše cielo,

Neg vienac jedan uzdisaja, boli?

Tko većim borbam svieta tog odoli,
Taj slavnije izvršio je djelo,
Tom potomstvo je živi spomen splelo,
Koj dulje traje nego kamen goli.
A što sam opet stao pričat tudi! . .
Oj! tebi hćele veće pukuat grudi
Od ljubavi! . . . Znaj! spomenik ću tebi
Sagradit ja sred mladog srca toga.
Daj reci sad mi — je li veće spao
Taj vienac tuge sbielog čela tvoga? (Ljubi ju).

Anka (blažena). Već spada! . . (Udje Petar).

Ne, još čvršće stoji sada.

Petar. Ne ljubi Anko, već se pripravljaj
Na djelo kojem bog odredio te.

Karlo. Oj! kud će vas ta tvrdokornost dovest?

Petar. Pred lice božje — tebe na dno pakla.

Karlo. Za koji danak vidjet ćemo sve.

Al kćeri barem ne vucite sobom

U tminu; diete mora roditelj

Baš tako štovat kao ono njega.

Pa za što molim ne činite dužnost

Najsvetiju si? (Pokazuje na Anku, koja je klekla pred ota).

Petar (zatvoriv uši). Ništ ne čujem, ništ!

Omamit ćeš mi uho liepim riekom,

A zmija sikće iz njegov.

Karlo. Znam već zašto

Oduzimate danu već mi rieč.

Petar. Oprost' mu bože ne zna bo što čini.

Karlo. Da ne vodi vas to propasti vašoj,

Ja ne bih riečce reko al ni riečce — —

Zamamio vas, spleo vas je lopov — — —

Petar. Oprost' mu bože, ne zna bo što čini.

Karlo. . . . U jake mreže, iz kojih vas težko

Izčupati je; kako l' ne vidite

Bar sada, gdje vas obješenak gnjete — —

Peter. Oprost mu bože, ne zna bo što čini.

Karlo. . . Sa gvozenom si rukom, da vas smrvi.

Ta on je lopov, Turčin, nije svetac!

De čitajte što sestra njegovka kaže. (Baci Zlatin list, što mu ga dala).

- U zidu ima tajno skrovište
Sa sabljami, pištolji kao hajduk.
- Petar. Ne mogu veće slušati te zmijo!
Ded recte sada gospodine dragi,
Da niste pijan bio — znate već kad?!
- Karlo. Za vaše dobro pjanim se pričinih,
I tada istom prokletnika onom (Petar se krsti).
Zavirih u dušu i srce pakleno, (Petar se krsti).
I sgrozih se nad zlobom vraga toga. (Petar se krsti).
Jér osim njega takovome zlu
Nijedan čovjek nije vrstan.
- Petar. Šut!
Prelila mi je čaša; sad znam tko si.
Sotona jesi: Hvalim ti o bože!
U pravom svjetlu što mi ga pokaza.
Pa nevrjednik usudjuje se drznut
Na onog čovjeka. O! prost' mi bože
Slušajući njega ako i ja sgrješih!
Iz kuće mi se seli, nekaljaj mi
Sa poganom si nogom mirnog praga.
- (Anci). A na te bacam otčinsko prokletstvo,
U duši samo pomisliš li na njegov.
A sad se spremaj, sutra ću te odvest
U manastir. (Ode).
- Anka (pade). Ah! otče, dragi otče!
- Prizor drugi.*
- Marta. Anka. Karlo.
- Marta (dotrči). A što je bože, što se opet sbilo?
Je l' opet on, umorit će mi diete.
- Karlo (zamišljen šeće gore, dolje). U manastir će sutra odvest Anku.
- Marta. U manastir! . .
- Anka (plačući). U manastir oh! majko.
- Marta. Ta ne boj mi se diete; nije sveto
Što otac kaže; vidjet ćemo kom će
Bit gušća kaša, kome li će prisjest.
- (Karl). I ti si mi se nešto zabrinuo.
- Karlo. Svoje glav kakav je, pa neka je
Odvede sutra — propali smo svi.
- Anka. Ja ne vina pa opet bože! kriva.

- Marta.** Al rekoh veće, da je ne dam ja,
Ma nebo vatru na me bljuvalo.
Pa onda dalje — al ste plitke glave!
Zar ne znaš, da je Ježuita onaj
U Anku zaljubljen? A čovjek moj
Zapitat će ga sigurno za savjet;
A on će reći: Ne! — Haha! što misliš?
- Anka.** Dô bog da bude tako sladka majko.
- Karlo.** Jest tako, jest! divota! Sve nam ide
Od sama sebe — po osnovi našoj.
- Marta.** Zaboravih ti nešto reći Anko:
Za koji sat će neman ona doći;
Ja rekoh, da ga ljubiš — —
- Anka** (uplašena). Ne ljubim! —
- Karlo** (miluje ju). 'Ta znamo mi to, slušaj samo dalje.
- Marta.** On sbilja misli, da ga ljubiš; ti pak
Pričinjaj se i ponašaj se, kako
Zaljubljena već mora.
- Anka** (drhtavim glasom). Mene strah je,
Ne mogu, ja ne znam tog — o bože! . .
- Marta.** Ta što bi strah te bilo? Ja ću se
Za ormar sakrit, Karlo pako ondje! (Pokazuje na vrata po-
krajne sobe).
- Anka.** Ja ne znam što ću početi kad on dodje,
I reć ću možda: U sobi je Karlo
A majka za ormarom! . .
- Karlo.** Haha, haha!
- Marta.** Što zapita te, to mu odgovori;
I budi stidljiva ko što i jesi.
- Karlo.** A on će pod tiem razumievat ljubav.
- Anka.** A hoću l' reć mu, da ga ne ljubim?!
Ja nevinna pa opet svemu kriva! . .
- Karlo.** Čuj! koraci se čuju . . .
- Marta.** On je možda.
- Anka** (poleti majci). Oh! bože, kud ću ja sad! . .
- Marta.** Ta ne plaći! (Marta podje za ormar — a Karlo u drugu
sobu).

Prizor treći.

Prijašnji. Tri stranca. Jurička.

Prvi. Oprostite nam; ne znamo bo jesmo l'
U pravoj kući.

Marta. Koga tražite?

Prvi. Uh! kako zove se! (Gleda u drugog).

Drugi. Ja ne znam!

Treći. Ni ja!

Prvi. Da bies ga odno — lopov, prevejanac,

U licu žut je, mršav, Ježuita . . .

Marta. Oj! poznamo ga dobro, ovdje je

U susjedstvu. A što vam treba on?

Karlo. Izvolte sjesti; znadem, da ste trudni.

Prvi. Pa kako možete obstat u susjedstvu

Sotone te, poznate l' vi tog hulju?

Marta. I predobro! Al svatko ga ne pozna.

A tko ste vi, i odkle ga poznate?

Drugi. Sva trojica smo posjednici, pa smo

Za dčgom došli, koga nam je dužan.

Treći. Ej luda glavo, bolje da sam mrtav!

Siromah ja naslagô dvie tri kese.

A znate, tako volim taj svoj novac —

Ne mogu izreć! Kad mi njega nije,

Da nij ni mene. Znate, ja sam s novcem

Ko malo diete, igro bih se s njime.

I volim ga — ja ne znam reći kako.

Al dodje lopov taj, pa reče: „Dragi!

Od gladi vidiš umirem, o bože!

Pomози, daj mi sto forinti, molim!

Da kupim čizme, šešir, poderan sam —

Iz crkve iduć novce sve izgubih —

Čim ćedan prodje, vratit ću vam sve.“

Pa stao plakat, cipele mi ljubiti,

I grlit me i uzdisat i strepat,

Da niesam mogo podniet, pa mu dadem

Tri sto — ej! da sam glavu tu odsjeko.

Pa da mi ga je samo sad uhvatit —

Ovako bih mu dušu iztiskô! . . .

Marta (Karl). Ni s otcem ne bi mnogo bolje bilo.

Drugi. To 'e dobro još! Al samnom što poradi!

Od žene novce sve izmamio,

Ljubakô s njom se — ne smiem ni govorit.

Al obješenjak znat će, tko sam ja.

Karlo (Auci). Da vidi otac apoštola svoga.

- Prvi. A ja ću štitit, najbolje će biti;
Zažmirit moro bih bo, pa govorit.
- Jurićka (dodje). Ko luda tražim ancikrsta onog.
- Marta. A što je kumo draga za boga?
- Jurićka. Dok ljudi oti odu, reć ću sve.
- Karlo. Govorte samo, jedan svjedok više.
- Jurićka. Na ulici poljubio mi kćer,
Od sina pako ukro zlatan sat . .
Rugobom bijah danas cielog svieta . .
- Karlo. Ni um ne može većeg gada smislit . .
Otupit će mi sluh!
- Marta (zvoni). Ha! gdje je otac! (Služavka).
Hajd! reci otcu, neka namah dodje.
- Služavka. Gospodstvo njihvo nedavno je ošlo. (Ode.)
- Martu. Što nies' gospodstvu rekla, da ostane! . .
- Prvi. Ne zamjerite treba ić za poslom. (Odu sva trojica).
- Jurićka. A nij ni meni krzmat, sbogom Anko! (Ode).
- Marta. U horu ćemo svi se naći.
- Anka. Sbogom! . .
- Karlo. Što koji dan — to veća njegva zloba.
- Marta (tiho). Ne tako jako, uplašit ćeš Anku.
Već deseta je — mora sada doći.
- Anka (nehajno). Al otac nebi svemu tom vjerovo. (Izgledje na prozor).
(Čuju se koraci.)
- Karlo. Jest on!
- Marta. Na svoje mjesto brže!
- Karlo. Idem. (Odu tiho; Marta za ormar, Karlo u pokrajnu sobu
Anka ne čuje toga, još uvijek na oknu).

Prizor četvrti.

Anka, Tartuf. Na koncu Marta.

- Anka (začuv škripanje vrata, trgne se). Oh! bože moj! . .
- Tart. Po vašoj želji evo mene. (Anka okreće se bojazljivo po sobi).
- Tart. (razgledje se). Ne, ne bojte se! Nigdje nikog nema.
Uslišilo mi nebo molitvu,
I nadjosmo se eto posve sami,
Da odkrijemo srdaca si želje.
- (Za se). Sirotu strah, da ne čuje nas nitko. (Pružaj joj ruku, a kad mu
ona svoje ne pruži, uzme ju sam — ona ju iztrgne)
Moj dolazak vas silno uzburkô;
Razumiem dobro ćud ljubećeg srca.

Anka (za se). Ja jošte ne znam, gdje mi 'e glava bože!

Tart. Već prvi puta, kada-no vas spazih

U ovoj kući, kad no vas poljubnuh, — (Hoće da ju poljubi,
ona izmakne, on ju uhvati za prste).

Potajna sila svedj me k vama goni.

Anka. Kazivo mi je često otac moj,

O krotkoj duši i pobožnosti vam,

I rekao mi, da ste živi svetac.

Tart. (za se). Uh! opet to — sirota plašljiva je.

Anka. Ja pobožna sam, štnjem rieč otčevu,

I boga ljubim — — —

Tart. Znete l' liepa vi,

Što znači ljubav?

Anka. Bog je vječna ljubav! . .

Tart. (za se). Ta je l' to bože teološki izpit?!

(Na glas). A znate l' draga prvi zakon božji:

Da j' ljubav prvi čovječji zadatak

U kratkom nam životu? . . Ne možemo

Pre boga ljubiti — ne ljubeći se

Medjusobno — da l' čuste liepa moja?

Anka (hladno). Zapisat ću si to u srce svoje.

Tart. (za se). Ko kamen hladna — čudnovata ljubav.

(Na glas). Al čujte dalje mudri božji zakon:

Da j' lakše svietu vršit otu dužnost,

Naredi Višnji, da se po dvoj ljube.

Anka (za se). Moj otac griěši, kad ja ljubim Karla.

(Na glas). Moj dragi otac drugojače misli.

Tart. Vaš otac ne zna sve.

Anka (naivno). Pa reći ću mu.

Tart. Predobri bog je jošte na nebesih

Izabrao za svakog muža ženu —

Pa vas odredio je me — — —

Anka. Na svietu ima dakle toľko žena,

Koliko ljudi, je l'?

Tart. (za se). Uh! to je grozno!

Ja zidom tiem čini mi se brbljam. (Uzme ju za ruku,
na glas).

Vi nieste draga shvatila mi rieći. . .

Anka. Ja sbilja niesam, ne dokazaste bo,

Što 'e ljubav?

Tart. (za se). Baš sam prava luda.

Ja amo tamo — ona jezgru hoće.

(Na glas). Što j' ljubav, pitate me? . . . Ja vas ljubim! . . . (Klekne, uhvati ju za obe ruke).

Anka (skoči, upre pogled u vrata, za kojimi je Karlo).

Pričin'lo mi se, ko da škripe vrata . . .

Tart. (uplašen, digne se, ode lagano do vrata i prislušiva).

Ne! ništa nije — — varala vas mašta.

(Za se). Oh! bože moj, al plašljivo je diete — —

Il plaha je — il ne ljubi me možda? (Uzme ju opet za ruke).

Al liepe prste imadete draga.

Anka (nevino). I vaši mora, da su negda bili . . .

Tart. (za se). Sad opet tako! . . . Bjahu negda liepi — —

Naučila je tek na plitkom plivat.

(Na glas). Dopustite, da poljubim vam ruku. (Hoće da poljubi — ona otme).

Anka. Ja jošte ne čuh, da se ruke ljube . . .

Oh! bože moj, ko da se miču vrata.

Tart. (sluša). Ne, ne miču se! . . . Liepi l' su vam prsti,

A prsten, al je ružan, skinite ga,

Nakazuje vam ruku, evo ljepšeg. (Skinje svoj prsten).

Za ovaj prst — ko da je stvoren, vidite.

Anka. Oh! ne, ja ne smiem toga primit, nikad.

Uvriedila bih oca svoga time.

Tart. Usuprot! Otcu vašem bit će drago . . .

On ljubi mene, pa će bit mu milo,

Da od mene ste darak dobila.

Anka. A što će majka reć?

Tart. Veselit će se, poznam dobro žene. (Skinje njen prsten, pa joj stavi svoj).

Aj! pogledjite kako li vam stoji.

Anka. Ja niesam vriedna dara vaše ruke.

Kolika sreća! Prije niesam smjela

U lice pogledat vam to božansko . . .

Vi pako sniziste se u dobroti

I darivate mene nevriednicu.

Tart. Al nekate se tako ponizivat,

Najvriednija ste vi u srcu mojem.

Anka. Ja vikoh ljubav vraćat ljubavlju,

To nalaže nam bog i vjera naša — —

A ne znam, čim da zahvalim vam na tom.

Tart. Baš ničim! Ljubav vaša dostatna je.

Anka. Do ljubavi i hvale malo drži

Sviet danas; stog da bude svakom pravo

I račun dobar — uzmite vi moj.

Tart. (primi ga). Oj! ja sam sretan! (Čuje se škripanje).

Sbogom! moram ić. (Poljubi joj kradomice ruke.)

Marta. Al opeć će te cjelov taj lopove! . . . (Tart. sguri se i poleti
brže van).

Prizor peti.

Anka. Marta. Karlo.

Anka (klekne pred Martu, skine prsten).

Oprosti majko, bacit ću ga odmah.

(Karlju). Ja moga dadoh misleći na boga,

Na ništo drugo.

Karlo. Diž se moja liepa

Junakinjo, jer pobjeda je tvoja.

Marta. A ovaj prsten bitku će odlučit.

Hod! amo Karlo, da ti rekнем nešto. (Šapće mu, on odobrava).

Karlo (uzme Anku pod ruku i odu u drugu sobu).

Znaš meni reći, što je ljubav?

Anka (poljubi ga). Oj znam! . .

Marta (sama). Oh! koliko mi muža svoga žao,

Da svatko s njime kao ludom igra.

Popustljiva i slabe brave vrata

Na duši su mu, svatko nutra može.

Prot njemu nemam ništa, on je dobar;

Al proti onoj guji, što ga vara . . .

Ja ljubim svoga muža, al ga moram

Izliečit makar zlimi riečmi, činom.

Prizor šesti.

Marta, Petar, Anka.

Marta. A gdje si bio danas dragi moj?

Petar. Za poslom gospe, pune su mi ruke.

Marta. Za poslom! Ko da doma nema prečeg.

Petar. Što ima to? Žalobita si nešto.

Marta. Što ima? Bože! ko da i sam neznaš.

Od nekog doba ne mariš za kuću,

- Zaboravio posve si obitelj.
Gdje meni tuj od tuge srce puca,
A ti za sve to ko da ništ ni ne znaš.
- Petar. A kakvo zlo je opet? Reci brže.
- Marta. O, ko da ne znaš! Pričinjaš se samo — —
A što je Anka ošla — to nij ništa! . .
- Petar. A kud je, zašt je ošla, tko ju pušto? — —
- Marta. U manastir — po zapoviedi tvojoj.
- Petar. Oh! brže za njom!
- Marta. Stignuti je ne ćeš;
Ta ti si reko, zašto sad se kaješ?
- Petar. Da, ja sam reko — al jedino diete — —
O bože moj! al sada brže za njom. (Poleti na vrata —
Anka udje u putnom odielu).
Ti tudi zar — oh! sladko diete moje.
- Anka. Daleko bijah, al ne mogoh dalje,
I moradoh se opet vratit amo:
Ne mogoh oć bez blagosova tvojeg.
Jer bez njegov grižnja život bi mi jela.
- Marta. (za se). Naučio ju Karlo dobro nauk.
- Petar. Oj sretna mene. Ja sam naj sretniji,
Kad ti me slušaš štujuć moje želje. (Poljubi ju; — ustrašen.
Tvoj prst ne resi više onaj prsten! . . .
A odkle taj ti, pa još tako sjajan?)
- Anka (obori pogled). Da nije stid me — ja bih rekla otcu.
- Petar (zdvojno). Badava moja radost — je li tako?!
Da, stid te reći, kada časak prije
Pohvalio te otac. . . Opet Karlo! . . .
Oh! on je oblak na mom vedrom nebu.
- Anka (plačna). Ne nije on, ne grišite si duše,
Jer da je od njeg, ja bih namah rekla.
- Petar. Da tko bi drugi?
- Marta. Znaš ga!
- Anka (baci prsten). Otče, znaš ga! . .
- Petar. Ne, nije on! Ta svu ste veće zlobu
Navalili na pravednika čistog.
Al sada nasjedoste; dosta ste me
Već za nos vukle, ja ću odsad vas.
- Anka. Jest otče on, u ovoj sobi dô mi, (klekne)
A moj je uzo za se; danas, ovdje.
- Petar. Umukni liepa zmijo! (Ode).
- Anka. On, o otče! . .

P e t i ć i n.

Prizor prvi.

Soba kad Tartufa; u zidu tajno skrovište.

Tart. u sredini, s jedne strane Zlata, s druge Niko, do Nike Janko. Sjede.

Tart. Obećah prije Zlaticu vam dati,
Pa sretan sada vršim obećanje,
I dajem vam ju blagosovom svojim.

Zlata. Do groba ću vam zahvalna bit brate.

Janko (gledje ljutim pogledom Niku).
Da mogu sada dušu bih ti satro,
Nies' vriedan njegovog blagog pogleda.

Niko. Ta šuti otče — što ti pada na um.
(Tartufu). Moj otac zahvalan vam ljubi ruke,
Prehladjen je — pa ne može govorit.

Janko (Niki). Ta što to buncaš — Oj ne-sine hudi. . . .

Niko (Janku). Ta šuti sada, samo da ti 'e brbljat.
(Tartufu). Moj otac kaže, nikom nij volio,
Ko sada vama odkako je živ.

Tart. A ni ja nikog ko što njega sada.
Je l' bila Zlatka ikad tako sretna?

Zlata. Još nikad!

Niko. Mi smo sada djeca sreće.

Tart. A otoj sreći ja sam otac, je li?
Da, vi ste sretni! Jesam li i ja?
Ja niesam sretan; tvojoj je u vlasti
Da i ja budem.

Niko. Sve što mogu dat ću;
I zadnju srca kap za vaše dobro.

Tart. I bog bi blagosovio vas, kad bi
Učinili mi ljubav tu.

Niko. O molim! . . .

Tart. Ja znadem, da ste bogat; pa bi l' hćeli
Pokloniti mi onih deset tisuć
Što majci mojoj vi pozajmiste?

Niko. O bože moj! rad te malenkosti
Toliko rieči gubit; ta pozajmiv
Već sam poklonio vam.

Tart. Ja sam sretan.

Pa stoga ćemo ugovor poderat.

(Traži po žepovih, al ne može nać, jer ga je Zlatka uzela na koncu trećeg čina).

Niko. Ja moga s moje strane odmah derem. (Podere).

Tart. Ja ne znam, gdje je moj . .

Niko. Svejedno je;

Poderat ćete kašnje, vjerujem vam.

Janko (Niki). A koji vrug je to, ja ne znam ništa.

Niko. Ni ne treba da znaš — jer ne znaš ništa.

Janko. A kakvih deset tisuć, nije šala,

Ta to su novci, daj govori huljo! . . . (Sagne se, da uzme papir, što ga je Niko u 6 diela razdero. U isti tren sagne se i Tartuf, ugrabi i podere na sitne komadiće).

Niko (Tart.). Izkazujete otcu velu čast! . .

(Janku). Gospodin štuje vas i ne da vam,

Da tako bolestan se sagibate.

Janko (Niki). Sotona da vas oba odniela! . .

Ta zar sam ja vaš luda, zar ja niti

Govorit ne smiem?

Niko. Šuti! Zar te nij strah

Uvriedit svetca koga toli štuješ? (Janko hoće nešto u ljutavi reć, Tart. ga preteće).

Tart. Ej! radostnu mi viest Zlatica reče

O vašem blagu; ja se niesam nado.

(Janku). Oprostite mi što sam prije držo

Toliko malo o bogatstvu vašem?

Janko. No hvala bogu! do rieči da dodjoh —

Ta ja sam sirot

Niko (Janku). Šuti! viek bi brbljo! . .

(Tartufu). Moj otac kaže, da mu još nij dosta,

A ima veće preko sto tisuća.

Janko (gurne Niku). O vjestice te trgale, ti pseto,

Ni sto novčića ne imam u žepu.

Niko (Tartufu). Moj otac nema rado, kad se priča

O njegovom novcu, taji svoje blago.

Tart. A ima pravo, jer bi došle psine — —

Niko (za se). Ko što si ti — —

Tart. . . . Pa sve odvukle; poznam dobro sviet.

Janko (Niki). Ne kažeš li mi sada sve to jasno,

Uzkratit ću ti otčev blagosov.

Zlata, (koja je opazila nemir Jankov, sjedne do njega, poljubi ga u ruku). Ne pozna nebo ljepšeg para od nas,
Siroti jesmo — al smo ipak sretni.

Janko (pane mu kamen sa srca).

Koliko ću te milovati kćeri.

Tart. Blagosivljem vas djeco moja! nek vas

Sa vječnom svojom svezom nebo sveže. (Odu).

Prizor drugi.

Tartuf. zatim Petar.

Tart. Sto tisuća! U jednoj polovici

Tog srca gori blagi plamen sreće,

U drugoj gori osveta! — Ha! tu je! (Petar dodje).

Vas brate veće dugo nebje ovdje.

Petar. Posala imah svakojakvih važnih,

Pa morah otić za koj dan odavde.

Tart. I vaša sreća! .

Petar (začudjen). Moja sreća? Zašto?

Tart. Znam, da ste mehka srca, puklo bi vam,

Da bjaste doma.

Petar (uplašen). Što je dragi bože?

Tart. Ja ne znam, bi l' vam reko! Dobro reć ću;

Zna cio grad — pa čuli bi i kašnje.

Petar. O meni cio grad? — o bože moj!

Tart. Da, cio grad! Sramota, da nij veće.

Da niesam vidio, vjerovao ne bih.

Petar. Govorite mi dok sam jošte živ.

Tart. Govorio bih — ali tolik zločin

Tim jezikom mi izreći je teško.

Sad istom, dragi, vjerujem vam ono

O Karlu onom što mi rekoste.

Petar. I opet on — izrecite molim brže,

Da čujem sve — pa da ga idem ubit.

Tart. (šapće). On ne misli na vašu kćer, već čujte!

Na ženu vašu; zasto sam ih same

Ljubačuć — — dalje ne smiem ni govorit.

Petar. Oh! da sam zno, na putu bih se satro!

Tart. Al vaša žena brate — što mislite!

Da l' ikad ste se tomu nadali?

Stog ne vjerujte lažnoj ženi nikad,

Jer to su ose — a jezika mednog.

Petar. Pred očima mi sada istom puca . . .

Oh! kako li ću doći do kuće?

Tart. (zlobno). Umotajte i glavu si i oči,

Začepite uši, da ništa ne čujete! . .

Petar. Oj molite se, do kuće da dodjem! (Ode).

Tart. Al samo ženi ne vjerujte ništa! (Ode).

Prizor treći.

Zlata za vjenčanje obučena. Anka, Karlo.

Anka. Ta skoro ne bih poznala te sada.

De stani, da ti kosu namjestim.

A što ti srce drlće tako, liepa?

Zlata. To samo ja znam — drugom reći ne znam.

Ta znat ćeš sama za koj dan, kad budem

Ja tebe tako kitila, oj vjeruj.

Anka. A hoćeš ići na vjenčanje plaćuć?

Zlata. Ha! plaćuć. Bože! ala si mi čudna.

Po svjetini ću gledat prkosno,

I šibat pogledima mužka lica,

Da svi se redom u me zaljube.

A Niko moj da bude ljubomorán

Već prve noći . .

Anka. Ja ne mogu tako! (Udje Karlo).

De, vidi Zlatku kakova je liepa.

Karlo (šaljivo). Da tebe nij tu — opasno bi bilo! . .

(Zlati). O! ljubim ruke milostivoj gospi.

Zlata. Prenaglili ste jako, još te niesam.

Karlo. Ta jedan sat još jeste ko nijedan.

Zlata. Al ja u crkvi mogu Niki reći:

Ja ne ću tebe, ljubim Karla — —

Karlo. Ja bih

Pak reko: Ne ću tebe — ljubim Anku.

Anka (poljubi ga). Za moje srce te su šale gorke.

Karlo. Al sad na poso, kanimo se igre.

(Anci). Gospodin otac s nova biešni na me;

Špotvorio me opet onaj djavo,

Nateretiv mi zločin na dušu,

Kog samo on je izmisliti kadar.

Al sve će dobro biti; sad će doći

Gospodin otac amo, a za njime
Po dogovoru — ona stranca tri.
Zlata. A gdje je Niko — hajdmo ga potražiti. (Odu).

Prizor četvrti.

Tartuf (sam). Strahota po me — vjerovo je ženi!
Da nije žena, sviet bi bio moj!
Iz njegovih ustij niesam ništ još čuo,
Al govori se! Da, i oni psi su
Nadošli, da im vratim — sutra, čektel!
Potamnjuje mi za čas zviezda sreće!
Al samo treba znati duhnut, pa će
Razsvjetliti se opet! Stranaca
Da nije samo onih, — a sa Petrom
Lagašan bi mi poso bio. Nije
Moguće, da bi mene, njegva žena
Iz njegovog srca iztrgnuti mogla.
Da nije Anka? On ju odveć ljubi.
Al radte što vas volja, cielom svietu
Navješćujem ja samac boj — — — (Vani se čuje
buka; on misleć, da su stranaci, pobježe u potajna vrata u zidu).

Prizor peti.

Petar, Tartuf.

Petar. Oh! ne ima ga! Reko bih mu sve.
On ni sam ne zna, što se sbiva s njime.
Na svietu tome laž i kleveta je
Još gušća nego drač, što sveg se hvata —
I pravednika i najgoreg hulje.
Ja ne znam, gdje mi 'e glava; svatko
Nateže ju na svoju stranu, ko da
I nije za me stvorena O Bože! (Spazi na stolu Ančin
prsten).
Ah! je l' moguće, bože — Ančin — — prsten. — —
Tart. (Koj je mislio, da je taj govor proti njemu naperen, izadje
sa užetom i navali na Petra).
Ha! tu si! . . Došo vrag po svoje; čekaj!
Izplatit ću te, kako treba, huljo. (Sruši ga pa ga veže).
Petar. Oh! dragi brate, zar me ne poznate?
Tart. Ha! znam te dobro — znat ćeš i ti mene. (Udari ga nogom).

Petar. Al ja sam došo — — —

Tart. Znam po što si došo! . .

Il mene slušat — il ne živjet duže!

Petar. Ja štujem vas još više nego boga,

I dodjoh vas upitati za savjet,

Bi l' ženu ubio, il . . .

Tart. (za se). Bože! Što?

Zar niesam dobro shvatio mu rieči?

Petar. Jer opet na vas baci jedan zločin,

Kog vaša duša ni zamislit ne će.

Tart. Ah! tako zar — — Al sad je kasno, kasno. (Hoće da ga digne).

Prizor šesti.

Prijašnji. Tri stranca. Marta, Anka, Karlo, Janko, Zlata, Niko, Mati Tartufova.

Prvi. Hoho! Ubojstvo! (Sgrabi Tartufa).

Anka (poleti Petru). Otče, dragi otče!

Marta. A što je to — — hajdučka špilja. — Svetac. . .

Oboružan sa puškami i užem! . .

Karlo (ironično). Ulovismo ga — ali ništa za to . .

„Ta sve je božja volja, božja volja!“

Tart. (zavezan). Oprost im bože — ne znaju što čine!

Marta (u istom tonu). Oprost mu bože! zaljubljen je čovjek,

Pa ne zna ni što čini — božja volja!

Anka (držec Petrovu ruku). Boli l' vas otče? Jako vas je stego!

Petar. Oh! jako boli, srce ko i duša,

I glava puca mi od teškog jada.

Marta (poljubi ga u čelo). Da, jer se iz nje onaj hajduk seli . . .

A sad mi reci, jesi l' opet naš?

Petar. Da vaš sam, vaš! Izvedite me van,

Da očima ga svojim ne gledam. (Karlo i Anka vode ga).

Oh! djeco moja, bog vas blagosudio! (Sve troje odu, Karlo se namah vrati).

Prvi (Tart.). Poznate l' mene dragi gospode?

Tart. Oprost im bože! ne znaju što čine.

Karlo. Zar prijatelj vas vaš ni ne poznade?

Treći. A znate l' mene dragi gospode?

I moje sladke novce, što si mi ih

Na putu ukro? Sdrobit ću te sada.

Tart. Ja ništa ne znam — — baš sam molio se — —

Oprost im bože! ne znaju što čine.

Drugi. A znaš li moju ženu, moje novce?

Karlo (šapće Tartufu). „I mukte pit — i ljubiti mlade žene!“

Prvi. Sa sjekirom ću sada sve razlupat

I odniet sve.

Tart. (poleti k ormaru). Oj! nekate oh! bože!

Moj zet će dat vam, što god hoćete.

Treći. Sa zetom ništa nemamo, već s tobom.

Tart. Ja ništa nemam do li kože gole. (Poleti opet k ormaru).

Marta. I kožu bi ti trebalo oguliti. (Tart. spozna joj glas, ona mu šapće).

„Al vi ste sbilja liepa služkinjica.“

Prvi. Il dajte ključe, il ću sve razciepat.

Tart. Moj zet će dat vam, što god hoćete.

Karlo. Ha! evo zeta, vidjet ćemo sad! (Niko i Zlatka sa vjenčanja; vani svatovska buka).

Tart. Oj spasite me brže dragi moji!

Niko (osvetljivo) Ha! tuj ste vi!

Tart. (za se). Oh! bože — pa zar svi! . . . (Udje Mati Tartufova; razgledav što je i kako je, hoće da pobjegne. Karlo ju spazi).

Karlo. Zatvorit ćemo sve! Baš šteta,

Što ne imamo k slavi toj ćilima!

Drugi (Niki). Izvolite nam dug platiti vi,

Jer inače ga puštat ne ćemo.

Niko. Ja gospodo vam niesam ništa dužan,

A niesam niti nigdje obvezan,

Da vraćam tuđje dugove.

Karlo, Marta. Jest tako!

Prvi (Tart.). A ti sad plaćaj, il u zatvor stobom.

Niko. Ja imam nešto zetu mom pročitat.

Svi. Ded čujmo! . . . Što to?

Niko (izvadi papir). Stante, sad će bit.

Prije tri godine dodje ovamo čovjek neki, koga mi sad pred sobom gledamo . . . Na čelu mu se moglo čitat, da je podmuklicna, ne-čovjek. Prilizavao se svakom; netko mu pokazao vrata, a nekog je on zaludio, vuka za nos gradeći se svetcem, i ogulio siromaka do gole kože.

Dovuko se hulja i gospodinu Petru, dovuko se i mom ocu — i zavrtio im glavom. I uništio bi ih, da mu je pošlo za rukom.

Svojoj sestri, mojoj ženi, nije dao ni jesti; gonio ju, da je jedva živa ostala.

U zanatu pomagala mu mati.

(Svi gledju na nju, ona se zavukla u ugao).

Lopov lažju izmamljivao od ljudi novca, uništio u mnogoj kući obiteljski mir i život, spotvarao jednoga pred drugim; lopov hotio za se imat Anku, kćer gospodina Petra.

Skrajnje je vrijeme bilo, da mu se stane na kraj, i pošlo je hvala bogu za rukom.

Ljubio sam ja Zlatku — ona mene; ljubio je Karlo Anku — ona njega! Al badava! . . Sve naše želje razbile se o toj pećini.

Poslužimo se varkom.

Karlo — bogataš — dađe meni 10.000; ja ih uzajmim Tartufovoj majci, a Karlo, tobožnji siromak, pozajmi ih opet od nje.

(Tart. zadrhće na te rieči; Janko, koj je dosad sve to niemo buljio, krsti se!)

I tako je uspjelo!

Ja sam gospodine zete siromak, i nekate se od mene novčiću jednom nadat . . Al sam sretan . . Karlo ostaje stari bogataš, i ako bog da, nasmijat će se i njemu bog ženitbe. (Udju Petar i Anka svečano obučeni).

Komediju hajdmo veselo dovršit,

Jer već je u njoj polak tragedije.

(Karlo uzme Anku pod ruku, Niko Zlatu. Odu).

Treći. A mi ćemo si sami krojit pravo.

(Dočim zastor pada čuje se Tartufov glas):

„Plači Izraele — Jeruzolim je pao!“

Da tebe nije . . .

Spjevao C.

Okružuje me trnje golo . . .

Ja ne znam, odkle još sam živ:

Toliko me je već izbolo!

Ta što sam zemlji otoj kriv?!
Ko jetra onom — tako meni

Zarašćuju strahotni mlazi; —
Al jedva da su zacieljeni,

Već iznova ih kljuju vrazi.

Da tebe nije, davno bi me
Već nadhrvale muke te,
Al uvijek napried! bodris ti me,
Da svladam boli, jade sve . . .
I svladav sve, da preporodjen
Na tvoja krila mogu doći;
I odtad tvojom rukom vodjen,
U suncu živim tvojih očij.

Tko?

Tko li će te zagrljivat,
Oko pasa ruku vît?
Tko li ustne te cjelivat,
Tko na grudih tih počivat —
Čija li ćeš dušo bit?

Tko će biti sretan tako —
Uzmogne te svojom zvat?
Kom ćeš, kad ga skrši pakô,
Kom ćeš, kada bude plako,
S oka suze otirat?

Kom ćeš ljubiti oči snene?
Nad kîm će ti duša bdît?
Kom ćeš sklopit mrtve zene,
Shranit kosti umorene —
Tko će otaj sretnik bit?

l.



СРПСКИ ДЕО.



Предговор.

Ова књига ваља да пружи читаоцу књижевне покушаје из свих словенских језика. Да нам намера није баш пошунце за руком пошла, криво је, што не могосмо придобити за суделаче засшунике свију словенских племена. Свакако се надамо, да ћемо овим издањем припомоћи распрострањању упознавања словенских језика а поджећи душевно јединство и узајемност међу Словенима.

Буде ли ова наша књига, са овим смером, наша одзива, биће нам можда могуће претвориши је у годишњицу, ше попуниши њезине садање недосашке.

Пођи дакле, мила књиго наша, жеље нам ше праше на све стране, где се по пространим крајевима словенских племена разлеже словенска реч!

Нека ше свуда приме са оном радошћу и љубављу, којом ше ми ево у свешт пустисмо!

Котва.

Страшно ли је море, живот овог света,
Да нам није котва љубве загрљај!
Та шта ли је човек, мирис слаба цвeта;
Вихар . . . и тек шану вечни опроштај!
Док снева на јави, ето му је мета,
А кад се пробуди тамне ока сјај,
И све што је снев'о у уздах се с мота,
И то му је тачка на концу живота!

Страшно ли је море, живот овог света,
Муњевитим бичем, кад га шине бог!
Та шта ли је живот — струница запета
На ломним гуслама слабог тела твог!
И тако се гуди, ал' у мало лета —
Нема више чара гудала витог,
Препукла је струна, издахнуше гласи,
Е то су ти бџни, последњи уздаси!

Котва нам је љубав, нежно чедо раја,
Стожер наше наде, жеља наших цвет!
Смионо чедашце мога замишљаја,
На њени си недри угледало свет!
Та ја сам те трго њој из загрљаја,
А твој опет њојзи тебе води лет?!
На мајчини груди слатко ли се дрема,
Аој, моја мајко, тебе више нема!

Та нема га више мека крила твога,
Умире у мени рајски осећај!
Не, ево где сјаје по сред срца мога,
Бисер моје душе а твој завештај.

Коснула се љубав срца млађаного
Одјекнуло срце, јек му је овај:
Нека пламти љубав, нек' душа ми сама
Топи се у миљу љубавних песама!

Зрачак врела сунца кроз срце ми мину,
Удари на љубав у срдашцу мом',
Алех моје душе у мени просину
Те сад ево трепти бојом шареном!
Сиротанче јадно од срца се вину,
Дал' ће наћи срца на свету овом?
Зинул' и на тебе црне злобе хајке,
Ни бриге те чедо, ти још имаш мајке!

Страшно ли је море, живот овог света,
Да нам није котва, љубве загрљај!
Та шта ли је човек, мирис слаба цвета,
Вихар и тек шану вечни опроштај!
Па у ког' су будни нежна срца гласи —
Е то му је мајчини понајлепши дар:
Нек пропоје песмом љубавнога чара,
Па у пусти груди срца ће да ствара.

Јован Сисеовић Чокић.

Сиротица.

(Попут Знај- Ј. Јовановићеве баладе: „Јадна мајка“.)

Рани мајка до три сина,
Три мелема туге своје;
Тепа л' једном: „Мој животе!“
Двојици ће: „Очи моје!

Синови ће у старости,
Да јој буду одмор, рана,
Да јој славом име диче,
Сладе муке горких дана.

Међу браћом мезимица,
Старе мајке мила ћерка;
Милују је браћа силно,
Јер је мајци тешитељка.

Ал деспота, милионе
Скиптром својим који дави,
Осетно, да му пада
Моћ и углед у држави.

„Побеснила стока моја,
Узаврела крв је дражи“.
Па по земљи војску купи,
А душмана и сам тражи.

Кога мати одранила,
Сад обести служит' мора;
А што мука зарадила,
На обест се страћит мора.

И старци глас допао:
„Твога сина царе треба“ —
Уздрхтала стара мати,
А сме л' рећи, да га не да?

Други глас јој за тим стиже:
„Цар и другог сина ниште“ —
Врисну стара, ал' испраћа
И другог на бојиште.

Кад и трећи глас јој дође:
„И последњег дај нам сина;“
И он оде — с њим и душа
Одлетила материна.

Победу је душман оди'о,
А у земљи пустош оста;
Сиротиња леба нема,
Ни силинком није доста.

Ратни трошак платит' треба,
И сваки га сноси мора,
Па и она без икога,
Без браће и добротвора.

Зарадити није могла,
Продали јој кућу с главе.
„Па куда ћу сиротица?“
„Свет је широк на све стране“.

И на гроб је мајци пала,
Па рукама обадвема,
Грли земљу, грли крста —
Ал гроб ладан, земља нема.

И по гробљу јадна лута
Око сјајних споменика,
Кроз плач врисне по сто пута:
„Има л' гдегод осветника“.

„Има, има. Ево мене!“
Богаташ јој одговара,
А на њему блешти злато
Од раскошних адиђара.

Одаја је дивна, сјајна,
По њој свила и кадива;
У тој сад је сиротица,
Ал је нујна, жалостива.

Отворише с' врата тијо,
А господар кроз њих шета:
„Добро вече, цуро моја!
Сад си моја, цуро лепа“.

Па је за струк танан хвата,
Она само сузе рони . . .
Многа већ се суза стврдла,
Што пролише милнони.

П. Ј. Марковић.

Слика

из живота српског народа.

I.

— Поштен је човек био . . . бог да му души опрости!

— Он једини још у селу, што не даде синовима, да се поделе.

— Да, да. Уби нас та деоба. Та ето, тек што добисмо своје право, поделисмо се сви, гдегод који. Па осиромашисмо, пропадосмо.*)

— Шта вреди паметна глава и мудра реч! Тако ти је он умео, да заглади, па завије све са иле миле, канда је учио бог зна какве школе.

— Адакако! . . . Сад још и имамо мало у нашем селу од старих људи. Додуше и ми многи памтимо стара добра времена; ал тек ил не умемо, као што су радили наши стари, ил су настала друга времена.

Тако су се разговарали сељаци, идући за сандуком, у ком су на црним носилима носила четири човека у средњим годинама покојника, на кога се тај разговор односио. Сандук је обојадисан црвеном бојом, а преко њега превучен шарен ћилим.

За сандуком се слегло света више него обично. На људима мрки гуњци до испод колена, око цепа ишарани белом и врвеном чојом; сиве плундре пошироке; а око листова црвени обојци омотани, машћу намазаним, кајишима, којима су уједно привезани и шиљкасти опанци у неких црвени, у других намашћени као и кајиши; — сви су гологлави, као што приличи за погребом; а сваки се поштапа подугачким штапом. Жене повезане чистим повезачама; обучене у ћуркове, ма да је лето; и у њих опанци, ал преко плаветних чарапа; у рукама им шарена марама, у којој је по нека умотала какав зелен стручак босиљка, зубра или митвице; — и њихов се разговор врзе око покојника, па дакако да и од њих има свака лепу реч за њега.

*) Док до пре неколико година владаше војнички закон по неким српским покрајинама у Аустро-Угарској, одржао се и баш законима одржавао патријарх. словенски живот у породици.

Благо оном, који је тако проживео свој век, да му се за сандуком и над гробом може с мирном савешћу касти која добра!

Тако је ишао спровод мирно и лагано . . . напред црквени барјак и крст, који ће се законати чело покојникова гроба, да му се бар за неко време сазна места; где му почивају кости; за њима ђаци, појајући нескладно као и обично песму самртницу; за овима чираци и рипиде, што их носе, у беле стихаре обучена деца, радујући се, да ће сваки добити пешкир, што се лепрша према ветрињу, привезан за чирак или рипиду; после деце иде попа обучен у црну, белим первазом опшивену, одежду; а поред њега учитељ, носећи требник у руци; најпосле сандук; за сандуком два повисока млада човека, два покојникова сина; и онда остали пратиоци.

До гробља су трипут стајали, да се учини почасти покојнику и чита молебствије за спас душе му. А звона с куле пратила су их час мумлањем час не хармоничним поткуцавањем.

Дођоше и до вечне куће, што ископаше ашовима и мотикама два човека, надајући се, ако не, да ће и њима једном ко год ту љубав учинити, ал зацело доброј напојници и даћи за покој души покојниковој.

Отпеваше му и последњу песму надгробну. Положише га и у гроб. И попа захвати мотиком прегрш земље, те је просу по сандуку . . . ваљда не зна ни сам, колико их је за свог дугог века опојао! За њим и скоро сви то исто урадише. И већ тутњи сандук под грудвама што их она двојица својим мотикама трпају у гроб, да га зароне и узвисе над њим надгробну унку.

По стоти — стоти пут, рећи ће стари поп-Сима, онима, што стоје око њега над гробом:

— Ето вам, христијани, шта човеку треба! Хват земље у дубљину, хват у ширину четири даске . . . и ништа више. Све, што собом понесе на онај свет, од свега, што је за свог века грабио или другом коме покљањао . . . само две скрптене руке. „Једино јест на потребу,“ вели наш преблаг и спаситељ, приуговљавати се добрим делима за царство небесно и оставити за собом лепо име . . . и ништа више.

Сад му пређе Јован, најстарији син покојников.

— Господине попо, изволевајте нашој соври сада, да се прихватимо за спас душе којим залагајем и гутљајем.

— Е, синко, и треба . . . и треба. Одговори стари поп-Сима, скидајући одежду са себе, па је предаде свом црквењаку, да однесе у цркву, . . . као да би овај могао пропустити, те не оде и сам на даћу, да се, што казао Јован, „прихвати за спас душе којим залагајем и гутљајем“. — Његова је душа заслужила од вас много. Говори опет попа. — Ви сте његови синови. Он је текао и радио, дабоме, што кажу, и дан и ноћ. А за кога? Све за вас, синко, за вас; јер ви сте његови синови.

Јован убриса широким рукавом своје кошуље зној с чела и с лица, а у том протре и очи, па обори главу земљи и тешко уздану.

— Е, синко, шта ћемо? Нико као бог. Мрети се мора . . . један пре, други после . . . тек сви ћемо. А он је стар човек био, дабоме, што кажу, преживио. Па боље, што је он вас заменио. На млађима свет остаје. — Тим речима узе поп-Сима да теши Јована.

И одоше сви на даћу.

Код покојникове се куће већ било слегло доста света. Ту су сви цигани, што их је у селу и око села, из свију черага . . .

Ајд нек они наздрављају у покој душе мртвима а за здравље живима . . . биће ту на послетку можда и: „Млогоја љета“. Од нас је доста, да речемо покојнику:

— Јака ти црна земља, деда-Софроније!

II.

У општинској се писарници држи недељна сесија. Е па није чудо, да се око општинске куће искупило више света него иначе. Па није ни то чудо, да се подигла граја и галама. Ал је то необично, што је ларма највећа долазила из оне куће до општинске, елем из куће покојног деда-Совре.

— За што се твоја жена направила неком госпојом у кући? — Чује се мушки рапав глас:

— Попела ми се већ као ешкуција (ексекуција) на душу, па чантра, чантра као нека свекрва. Зацигољи опет женски глас: Је ли она одранила и однеговала моју децу, да их туче и злостави као мађија? А? . . . Та ваљда није! Није боме!

Јес' чуо, Дамјане, подсеци-дер ти твојој жени мало језик. На то ће други мушки глас тише. — Ако си човек, покажи се на њој; а немој буцати то на мене, то на моју жену.

Сад се указа, као ражљућена Тетида, на вратима друга жена. Засукала рукаве, преденула предње крајеве своје горње сукње остраг, а недра раздрљила. Подбочила обе руке на кукове, па изгледа као пушаво ферт. Све вришти од пакости.

Неко испред општинске куће, кад види њу, како се спрема да чита буквицу, рече, као да чита „битија света“, . . . рече гласно:

— „Битија чтеније . . . Тако глаголет господ.“

На то се и озбиљнији старији људи не моглоше уздржати од смеја.

И сад се отвори „чтеније“ с две стране тако ентузијастично, да су у томе највише аснили скупљени, јер су имали неко време, чему да се смеју, што се можда нису надали; а особе, које су активно суделовале у том призору, поцрвениле, па се поднапириле од тешке вице.

У једној партаји је био син покојног деда-Совре, Јован, на његовој страни жена му, Давина, она што је направила од себе ферт; а у другој Јованова сна, Сока, и као секундант муж јој, Дамјан, јованов млађи брат.

Давина потрча на шор, да зар цео свет чује њеног гласа. Ал је Јован угура унутра и ућутка.

Не потраја дуго, па се опет зачуше изнутра женски, не баш најпријатнији гласови, из којих се могли похватати неки шкакљиви изрази; а на ове су старији људи озбиљно мрдали главом и ћутећи боцкали пред собом земљу својим дугачким штаповима. Омладина пак избацивала је своје примедбе, што су врло одговарале ствари, на које се односише.

За тим се опет зачу мушки глас, рекао бих, нека ужа-сна псовка; онда ударци, као кад би когод замлатао батином по плоту; па врисак, па клетва.

Не потраја опет дуго, а врата се од авлије отзорише; и на сокак истрча Давина сва рашчерупана, грувајући се у прси и страшно наричући. Шта је управо викала, тешко је било разумети; само се могао разабрати рефрен, кога је дакако више пути спомињала:

— Уби ме злотвор . . . зло му чело главе!

И оде. Сигурно мајци на тужбу.

— Тако ти и треба! — Приметиће из публике. — Да је бар чеше!

А онај, што је споменуо „битија чтеније“, запоја:

— Амин!

— Гледајте, људи, ако бога знате, шта се то ради у совриној кући. Еј кукавац, сад да устане, па да отвори очи!

— Рећи ће неко.

Други на то:

— На ново би умрѐо.

— Би за јамачно.

— Гле, како се проуљише та два момка! Ту ти се из дана у дан парби и гложи као међу циганима на вашару.

— Па што се не поделе?

— Би они радо. Ал ево не дају поглавари више ником читавог места за кућниште.

— И право је. Шта ће и то да каже? Запремисмо деобом толике ледине. Сви ти, што су се изделили, изделили се од обести, што им је бајаги тесно, да живе под једним кровом. Заузеше нам толико пашњака, а себи нису ништа вајдили, већ се упропашћују, да им се за неколико година не ће знати темеља. А на послетку не ћемо имати где напасти своју марву.

— Доћи ће време, да ћемо морати везивати и свинче и свако марвинче украј друма, као што приповедају, да је у Италији, који су били тамо у војни. Кажу, тамо нема много пашњака, него морају људи, да праве од својих њива ледине.

— Како смо потерали, биће нам и горе.

— Дабогда, да нам и устреба пашњака!

III.

Елем, као што видите, није прошла ни година дана, како умре деда-Совра, а његови синови, два рођена брата, не могу да се слажу под једним кровом, већ се прљу и гложе као два крвника.

Колико им је већ стари поп-Сима говорио и световао, да се кане ината — ајак!

А то вам је баш добричина од чељадета, тај стари поп-Сима! Не ће он изостати од даће, свечара, задушница, и таквих прилика ни по што. Увредио би само своје парохијане, јер су свикли већ сви, да се шњиме куцину и чују његову ду-

гачку и широку здравицу. Кад се једанпут не би коме одазвао на позив, одмах би питали: „А што нема нашег појке?“ . . . „Ди је наш појка?“ . . . „Појка се наш ваљда расрдио на нас.“ Или тако штогод. Па то не може да му поднесе образ.

Хе, па тако се и хвале његови парохијани њиме. Кад кажу сељани на прилику из суседног села:

— Како ваш попа?

А ови ће:

— Боме лепо и поштено!

На то опет они:

— А наш, браћо, овај нови, што смо га изабрали о оном лане . . . хе, док га нисмо изабрали, обећавао нам, што кажу, златне куле; а сад баш није све по ономе. Кад носимо о Ђурђеву или о Дуовима литију на њиве, а он, ди види у авлији свезано јагње, ту ће и сврнути; иначе ником. Није од оних старих . . .

Поп-Симу и не зову друкче њего: „Наш појка“.

О Крстову дне светно он водицу по селу, па, дабоме, дошао и у кућу Јовану и Дамјану.

Очитао и отпојао све, што треба, па ће онда узети их обојицу преда се. Док је био покојни Совра жив, у тој је кући поп-Сима на овај дан увек ручавао, да не би морао ићи својој кући, те губио времена, а село велико, па га није тако лако обићи, јер ту водицу треба у свакој кући осветити.

— Јеси ме чуо, Јоване и ти Дамјане, и ти Давина и Соко! Шта је вама? Која вас невоља гони, да се вавек инатите? Знате л' ви, да од ината нема горег заната? Ко је крив?

Сви ћуте. Оборили главе прљој земљи, па крију очи као змија ноге.

— А попа опет:

— Ко је крив?

Давина се узврпољила, па не може срцу да одоле, то што на срцу то и на језику:

— Ова, ова. (Пружа прстом на Дамјанову Соку.) . . . Она је крива.

— Ђути! Дрекну на њу Дамјан. — Зар то није срамота пред попиним часним лицем и седом брадом? . . . Господине попо, да прости ваше светло лице, жене су криве. —

После неколико дана отиде Јова код поп-Симе. Пољуби га у руку:

— Шта ћу, господине, да радим, . . . ако бога знате?

— А које добро, Јоване?

— Није то добро, већ зло и у зао час. Овако се живити не може. Попо, огрешићу се, загмерићу се и богу, а осрамотити пред светом. Учинићу, бојим се, какво зло, па ће бити од туда покор.

— То није добро, синко.

— Та далеко је то од добра. Ено се јуче потукоше њих две. Да нисам ја наншао, било би русваја. Тих речи, тог језика . . . сачувај, боже!

— Није вајде, Јоване. Том се злу мора стати на пут.

— Мора, јер ће бити белаја.

— Мани се, брајко, тога. Ви сте своји, браћа сте. Шта би рекао свет? . . . Него кад већ није на ино, поделите се. Од два зла бирај уће.

— Па, велите, баш да се поделимо?

— Да шта знаш?

— Ал пропашћемо и један и други.

— Не морате. Бог вас је створио здраве и јаке. Не пропада човек, који нема ни кучета ни мачета, само кад има златне руке. У се и у своје кљусе, синко. Радити се мора, те мора. Треба хтети и умети, па ћеш и имати. Него чим устанеш, воде на лице, а памет у главу, па се не бој никога до бога.

IV.

И поделише се.

Дамјан је изашао из очинске куће. Подигао нову на другој половини истога места, на ком је и она. Добио од свега полу. Што се не могло поделити, морало се рушити или продати, па исплатити у новцу.

Јован, који је остао на старој кући, морао је од свог дела продати неко јутро земље, па исплатити брату његов део, што га је овај имао добити од кућне зграде, јер није хтео допустити, да се кућа руши, те дели цигља по цигља, цреп по цреп, дрво по дрво, као што се урадило са житницом, на што Дамјан није хтео друкче да престане.

Дамјан опет, да би могао себи подићи кућу, морао је продати од своје земље и стокe, те набавити новаца.

Е сад ћете помислити, срца су им на мери, сваки је задовољан, бар не ће радити један другом о глави.

Ал ћете сигурно знати ону жалосну српску узречицу; ако не знате, да вам кажем. Каже: „Ко ти је ископао око?“... „Брат“... „Зато је тако дубоко.“

Па ни ова два брата нису се смирила. Не ће један другом рећи ни: „Помозбог“.

А сачувај те бог зла суседа, па особито зла брата!

Монтекићи и Капулетови нису се умели већма мрзити.

Пређе л' пиле у авлију једног од њих двојице, ту је готова свађа. Прескочили кер коме плот, тај ће арлучићи и цијучући одшантуцати на пребијеној нози натраг.

Једаред ће се потући дамјанове гуске с јовановима. Јованов гусак растера дамјанов чопор. А дамјанов синчић довати цигљницу, те се хитну њом за победиоцем непријатељем. На то се јованов опет синчић залети на онога, па га шину прутућем преко главе А онога стаде лелек. Е дабоме, да су услед тога изашле им матере на мегдан, просипљући читаве серије речи, какве не могу доћи на хартију . . .

Кад су земљу делили, Јован је хтео да се тако подели, да нигде не остане један до другогa. А Дамјан је опет повикао на то, као да би онај, сва боља места да присвоји себи, а њему даде прљушу и мочар. Тако су остали и на њивама суседима . . . Еле и ту зло и наопако! . . .

Све како тако, ал у нечему се нису могли сложити. Ево шта је то било.

Покојни деда-Совра био удеоничар у задрузи за међусобно потпомагање и штедњу, била је пре две три године подигнута у оближњој варошици. Уписао се тамо поглавито тога ради, да има одакле подићи коју крајцару, кад му догоре до ноката. Ал за живота свога није допао био те нужде. Него се потписао другом неком за јемца. Кад је умр'о и синови му се поделили, одустане дужник, за кога је он јемчио од отплаћивања. И паде дакле платка на првог јемца. Друштво хоће да се наплати од његове сермије. Ал, као што рекох, синови, наследници деда-соврине сермије се поделили.

Јован пристаје да плати, јер зна, да мора; ал хоће, као што је и право, да и Дамјан сноси терет на полу, као што се деда-Совра потписао био као старешина кућне задруге.

Дамјан о томе не ће ништа да зна.

Готова парница!

Адвокати играју у животу српског народа врло велику улогу. Никога не мрзи наш народ тако јако, као њих; ал опет нико му више не треба као они. За најмању готово маленкост тражи сељак њихову помоћ, а ову скупо плаћа. Адвокати опет слабо разбирају у свом послу на патриотизам; они се држе оне себичне девизе: „Ако смо ми род, нису нам кесе ни помозбог . . . Треба то боме живити.“ А неразборити сељак грби и издире, па ће дати и кошуљу с леђа, да добије „право“ Парница је зао друг! Не пита: „Можеш ли ти, пријатељу, измоћи моје ситне трошкове, и ако нису баш увек посве нужни;“ — већ све већма чупа своју тичицу. Па није чудо, кад парничар оголићи, а овамо је добио своје право.

Е тако се заподену парница и међу Јованом и Дамјаном. И један и други носи, што кажу, и шаком и капом сваки свом адвокату или суду, да „подмаже“. Па на послетку паде терет на обојицу . . . обојица су морала платити. Већ су се истрошили, терајући процес; сад им се продаде готово већи део непокретности, да се намирн вађевина.

Готова пропаст!

И сад им је опет крив дужник, за кога је њихов отац јамчио

Ал што да вам отежем на дугачко и на широко?

Пропали су обојица до таке сиротиње, да се једва лебом зарађују.

И таквих жалосних, ал истинитих случајева бива, тако рећи, из дана у дан; а то је само једна слика из живота српског народа.

Паја Ј. Марковић.

Један листак из српске приповедачке књижевности.

О српској читалачкој публици не може се говорити све до славног Доситија Обрадовића. Тек је Доситије својим делима, а нарочито баснама пробудио у публици вољу на читање, а тиме највише допринео ширењу српске књиге. Дотле се бавише књигом само поједини, али је сад прихвати сам

народ, који naslađavaјући se књигом Доситијевоm, поче увиђати потребу српске књиге и корист, коју је она пружала српскомe народу и његовом подмлатку. Доситије је успео, да створи читалачку публику у Срба, које тиме, што је почео писати народним језиком, које што је знао zgodном и разумљивом поуком да изазове интерес публике. Тако је Доситије, који је „прекинуо све свезе са старим правцем црквене просвете и књижевности“ и пошао правцем народне књижевности, уједно и творац читалачке публике у Срба, што је уједно и доказ, да је то одиста био једини пут којим је ваљало поћи, да се српска књижевност развије према живој потреби народа.

Толике популарности не имађаше ни један од Доситијевих последника, и ако су им се имена проносила са једнога краја Српства на други. Појезију Мушицкову и Милутиновићеву читали су само такозвани виши слојеви, али шира публика слабо их је разумевала, и ако им је познавала имена и славила их као песнике српске.

Језик и појезија ових двају иначе заслужних и даровитих песника, не одговараху простој природи народној, којој беху стране оде Лукијанове, а неразумљива истина бурна и необуздана, али баш за то нејасна и тавна појезија Симића. Разуме се, да уз то чиста појезија није могла створити велику читалачку публику, или је одржати, и да је ову целу могла постићи само приповетка, која ће у лакој и разумљивој прози, пружити публици забаве и поуке, и бирајући предмете, изазвати њезино интересовање. Први дакле, који је ово схватио и на томе основу почео радити, био је Милован Видаковић, отац српског романа и српске приповетке. После Доситија он је својим романима највише допринео к стварању читалачке публике у Срба, и по томе к ширењу српске књиге. Стојан Новаковић каже: „Кад не гледамо књижевност саму по себи и по развитку њезину, него по упливу који је на народ чинила, онда је после Доситија између првих имена име Милована Видаковића. Његови романи ево већ пола века прво су чим толики Срби почеше читати књиге, и они ако и јесу данас и због времена самог слаби у критичкој цени својој, никада им се не ће моћи потрћи голема заслуга у књижевности, да су раширили и покрај Доситија и народних песама створили српску читалачку публику“.

Милована Видаковића можемо дакле сматрати као творца српске приповедачке књижевности, која је од тога доба све то већма се развијала у своју корист, а у новије доба стекла гласа, који јој осигурава једно од најодличнијих места у српској књижевности.

Но и ако Видаковићу признајемо велике заслуге око стварања читалачке публике, и ако га слаavimo као творца српског романа и српске приповетке, то га ипак не можемо уврстити међу приповедачке класике, ни по језику, којим је писао, ни по предметима, што их је бирао за своје романе. И ако су предмети његових романа за оно доба интересовали публику, у које још не беше развијен укус, то им је вредност незнатна према захтевима, што се данас стављају приповедачу, и према потребама, што их осећа и сама читалачка публика.

Богобој Атанацковић наставио је рад Видаковићев у напреднијем правцу, и писао је романе и новеле, који по предмету, форми и језику означају напредак и уједно прелазак од Видаковића на новију приповедачку школу, која је највише допринела развиту наше приповедачке књижевности. Новија струја, која се опажа од 1848 год. па овамо, а која је овладава свим гранама културног и књижевног живота нашега народа, није остала без утицаја и на ову врсту књижевности. Много је к томе допринело и то, што се наши млади књижевници почеше боље упознавати са производима напредне приповедачке књижевности у других, нарочито западних народа. Схвативши новији и напреднији правац, они почеше у том правцу писати. Они унесоше у нашу приповедачку прозу ону лепоту и живост, коју наш народ до тада није познавао, они нам показаше у приповетци живот и обичаје нашега народа, они нам га приказаше какав је и какав је био, они нам почеше причати шта народ мисли и осећа, шта ради и за чим тежи, једном речи, они пођоше бољим правцем, који нас забавља но у исто доба учи да себе упознамо. Они знадоше својим полетом, правцем и језиком у један мах задобити за се читалачку публику и у српској књижевности основати нов период — приповедачког класицизма. Понајважнији претставници ове школе јесу: Јаша Игњатовић, Милорад Шапчанин, Бура Јакшић и Стјепан Митров Љубиша. Њиње приче имају трајне вредности, и служиће ваздан као образац потоњим приповедачима.

Но и ако су приповедачи, које мало час поменусмо, радиле на једноме основу, тек је за то опет сваки од њих ориџиналан у своме, тако да се сваки од њих може сматрати као претставник онога жанра, у ком је писао, Јаша Игњатовић и Бура Јакшић, и ако нису толико пазили на форму, тек су необични и ориџинални. Јаша Игњатовић црта нам верно народ и друштвени му живот, како у прошлости, тако у садашњости. Он нам прича све како је некада било, „во времја оно“, за које наши стари веле, да је било боље и јевтиније а људи веселији и срећнији, он нам прича и о данашњем друштву, а износи нам у овим причана разне карактере, који су тако рећи претставници неке извесне врсте људи у српскоме друштву. Игњатовић нам прича све како је шта видео и доживео, и он је у томе описивању реалиста; његове су фигуре из живота, чини ти се да си их већ једном видео, да си им се смејао, да си их сажаљевао, да си шњима туговао и веселио се, свађо и љубио се. Таквих људи, таквих случајева и догађаја, навке ћеш наћи у Јашиним причама, било је и биће увек. И то је баш доказ да је Игњатовић црпнo из живота, да је цртао само оно, што је видео и сам искусио. И у томе је поглавато снага и величина Игњатовићева. Здравни хумор овога приповедача, његова досетљивост и реалистика у причању, живо нас потсећају на чувеног инглеског романописца Боца - Дикенса, који је у инглеској новелистици најважнији претставник овога жанра. Много шта у Јаше сећа на Боца, и ако га није никада читао па ни у руке узео.

Бура Јакшић лепо прича. Но он је више песник него приповедач. Он нам најрадије описује сељачки живот, описује нам српског ратара у његовом раду и борби. Јакшић је тенденциозан, дигод може он брани паћеника, а шмба и жигоше тлачиоце. Он брани и зиштићује страдаоца, а строго осућује сваку неправду и сваки неморал. Тешко ономе, коме Јакшић суди, јер га не опра више ни Сава ни Дунав. То му је тенденција. Иначе као песник са бурном фантазијом и одвише живим бојама описује и слика, те ти се чини да је прелепо, ако је што лепо, а ужасно и страшно ако је што зло. Ја би га назвао Рембрантом међу приповедачима. Као што рекох, он је више песник и сликар, него што је приповедач. Отуда и долази, да је најјачи тамо, где описује пределе — и где нам слика дивоту рабајућег се сунца и страхоту буре. Ове су му

слике ванредне, оне су женијалне. Тај дар сликања у приповетци и силан језик, којим неограничено влада, чине, да је **Ђура Јакшић** претставник особитог неког жанра у приповетци, који се не да прецизно означити, али свакако потиче из богате појетске природе песникове.

Милорад П. Шапчанин влада језиком и формом, и кад приповеда чисто као да везе. Он прича мирно и елегантно, он је прави салонски приповедач. Његове су приче дотеране и углађене, садржина им је одабрана, а језик му је тако лак и слadak да ти их је милина читати.

Стјепан Митров Љубиша почео је писати под старост. По томе је дакле најмлађи новелиста, јер су сви ови приповедачи, што смо их мало час споменули, далеко пре њега почели причати и писати.

И опет је Љубиша међу њима најоригиналнији!

Како то, да је Љубиша својим причама на мах привукао на се пажњу књижевника, а у публици изазвао опште интересовање и дивљење?

Како то, да се без критике и препоруке почеше читати и хвалити? За што је Љубиша најоригиналнији међу нашим приповедачима?

Приповедачи, о којима сам мало час говорио, описиваху живот и обичаје српскога народа у нашим крајевима. И ако се у тога народа одржала српска свест, тек се је преобразио, живећи међу страним елементима и под околностима, које су по одржање и развитак народних особина врло неповољне. И тако је многе од својих особина изгубио, а попримао је многе туђинштине, било у језику, било у обичајима. На против онај део нашега народа могао се одржати онакав какав је био, и развијати своје народне особине, који није био толико изложен, те да би га могли преобразити страни утицаји, а који је, тражећи заклона од турске навале, напустио своју стару домовину и прибегло љутим вршењима црногорским и херцеговачким, да се ту бори до последње капи крви! Ево како нам **Петар Петровић Његуш** карактерише судбину његову;

- „Што утече испод сабље турске,
- „Што на вјеру праву не похули,
- „Што се не хће у ланце везати,
- „То се збјежа у ове планине,

„Да гниемо и крв приливамо,
„Да јуначки аманет чувамо,
„Дивно нме и свету слободу!

Овде у кршевима живео је српски народ у вечитој борби са душманом. Ова борба лишавала га је сваке угодности, и он је према томе удесио живот, друштво и државу. Тако је постала српска Шпартa, на коју не могаше с поља утицати нико. Тако је овај народ сачувао свој језик и своје обичаје, и развијао своје народне особине.

Ово је дакле врело за упознавање нашега народа и његових особина. Само је овде Вук могао купити народне умотворине и дати нам у руке народну књигу, каквом се и највећи и најнапреднији народи подичити не могу; само је Ловћен могао бити српски Парнас, где су српске виле овенчале најсрпскијег песника владику Његуша; само се на овој светој земљи могао родити најориџиналнији српски приповедач Стјепан М. Љубиша!

Је ли онда чудо, што је Љубиша у први мах пробудио наше интересовање за приче, које нам казују о том јуначком народу, које нам причају о његовој прошлости, о његовим обичајима, о његовим врлинама и манама, о беспримерном јунаштву и о мудрости његовој на дому и збору, о љубави и освети; даље о земљи, у којој овај народ живи, о кршевима и врлетима и о сваковрсним дивотама њезине природе, и кад у својим причама најживљијим бојама слика ту непрекидну борбу тога народа за своју слободу, и кад нам износи карактере и догађаје, који нас живо потсећају на омирово доба.

Да, о томе прича Љубиша.

Па како он то све казује! Он нам о томе прича у најдивнијој и најчистијој српској прози. Језик му је леп и слатка, а стил му је китњаст и пун необичних фигура и сравњења. И ако у њега има речи и изрека више локалног, него ли општег значаја, то се његове приче опет могу сматрати као нови и богати извор, из којег се да црпе наши филолози. Но о томе не ћу овде да говорим, јер то спада на другу страну.

Његове приче сведоче с једне стране, да је Љубиша скроз познавао народ и народни језик, а с друге стране, да му нису били непознати ни естетички закони и појмови, и да се у томе угледао на стране, а нарочито на италијанске писце. Само тако се може појмити, да Љубишине приче заслу-

жују наше признање како по језику и правцу, тако и по форми. С извесне стране пребацивало се Љубиши, да није био научен и по томе да није умео савладати форму, и ако му је проза иначе примерна. Но овде ћу одмах да приметим, да му то пребацују они, који хоће да сведу књижевни значај Љубишиних прича, и који су покушавали да прикажу Љубишу не толико као приповедача, него само као проста скупљача. Но ко зна, како су постале Љубишине приче, тај никако не ће поверовати онима, што тако говоре.

Довољно је да човек само прочита Љубишине приче, па да се увери, да то није рад само једног скупљача него баш књижевника, који је знао материјал употребити и вешто га дотерати. Ко каже да је Љубиша занемарио форму, или да није био ни толико научен, а да би знао шта је форма, тај и нехотице признаје да нити је читао, нити разумео Љубишине приче. Ако је у Љубише који израз био такав, да му може бити из естетичких обзира није било места, то су на другу страну опет обзир на језик приволили писца, да ову или ону реч употреби, да нам овај или онај догађај опише, како би све то сачувао од заборава. У главноме пак Љубиша је пазно и на форму, те се баш у томе разликује рад Љубишин од рада каквога скупљача. И ако је н. пр. Вук Врчевић себи стекао грдне заслуге око скупљања народних умотворина, то се тек не може његов рад сравнити са радом Љубишиним, који је баш као ориџиналан приповедач дошао на глас. Но може бити да његове приче немају савршени тип романа, у колико у њима нема заплета, него се догађаји причају онако, као што су текли, ал то све још није доказ да Љубиша није савладао форму, него шта више, да је баш као добар приповедач схватио и разумео, шта је прича и приповетка, и у чему се она разликује од романа. Но и да је све тако, опет би остао Љубиша први српски прозајиста, као год што је Његуш први српски песник, и ако „Горски Вјенац“ не одговара појмовима, што га имамо о драми. Љубиша је до душе тражио алемкамен у ризници народних умотворина, али настав га, он га је као прави вештак оштрио и дотеривао. Има у раду Љубишину много чега, по чему ћеш познати брижливу руку вешта и образована приповедача.

Не знаш чему више да се надивиш у Љубишиним причама: или здравој језгри њивој, или здравом народном ху-

мору, којим су зачињене, или оним ванредним сравнењима и сликама, што те управ задивљују, или оним правим народним моралом, који је основ и тенденција причама његовим. Слог му је кратак и језгровит, свака реч има своје одређено место и извесни свој значај. Ту нема ни једне залишне речи, ни једне сувишне реченице. Описивао људе или догађаје, зграде или пределе, лепоте или страхоте природине, он све описује тако лепо а кратко, да би му могао речи с места у камен резати. А при том пазн и на маленкости, његово око допире свуда, па чак и тамо где „буба по Боци снује своју богату свилену прећу“. О њој вели у своме опису Боке: „Помили почетком травња, прве омарине пролетње, пак четрдесницом настане и нестане. Излеже се црв као мрав, настане као гусјеница, завије се у кожурицу, излети ленир, пак умре на пријечац по што попрши сјеме да учува траг“.

У попу Андравићу а у Ш. глави на стр. 173 прича о узроку, с којег се побише два надлужанина Вукац и син Шћепца, те Вукац убије пушком на мртво сина Шћепчева, па вели: „Кад удари летња суша, а жито се у трави увија и вене, свак граби да своју земљу слатком водом натопи. Ова је вода љети танка, пак јој је свака кап драга за очи. Неко хоће да окреће млинска кола, неко да ваља сукно и бијели платно, неко да му скисне лан и конопље, неко да пије и поји, напоком већина да натопи сухе земље. Око ње се подносици земаља и стајанци млина и ступа преотимљу и свађају“.

Но сада ћу да наведем и неколико већих примера, који ће потврдити моје речи. Тако се може опрштајни говор Стевана Штиљановића у Скочићевојци уврстити међу најлепше производе српске народне прозе. Стеван Штиљановић, кнез паштровски а потоњи деспота српски, прашта се с Паштровићима јер хоће да их остави и да пође у свет док је млади, да види како је осталој српској браћи по Херцеговини, Хрвацкој и Срему. Ево тога говора од речи до речи:

„Браћо Паштровићи! Минуло о петровудне шест лета од кад ме изабрасте кнезом и главом ове племените општине, а то не по каквој мојој особитој врлини, већ с тога што ми је на кућу ред пао, и што сте мислили да наличем оцу; душа му царевала гђе Божић и Велики дан. Кад сам навршио треће годиште службе, ја сам вас молио, да ме мјењате по староставнику, но ви моју молбу не примисте, а ја се покорих на-

родној жељи. Нијесам био срећан за ово вријеме свог главарства у ничем осим у вашој почаст и послуху. У осталом, бог је хтио кушати нашу кршћанску стрпељивост глађу, болијешћу и ратовима. Колико је нас мање него ли лани? Но сад кад је богу хвала лакше господовати и слушати, кад су се род у земљама, здравље у чељади а мир у суседству повратили, док сам млађи и јачи, хоћу да вас на кратко вријеме оставим, да се мало са свјетом упознам, да видим како је осталој нашој браћи по Херцеговини, Хрвацкој и Сријему. Ако вам наступе доба ратна, те будем још у животу, ево ме опет међу вас, да их дијелимо заједно. Остављам вам своју успомену. Браните је од потворе. Чувајте обичај и народност као очују зеницу. Настати ће времена тамна и крвава, да ће се многи одрицати мајчина млијека. Благо оному, који у таквом метежу не изгуби свијест свога племена и величанство свог имена. Будите дужду привржени, једно за то, што још он једини може вас спасти о турскога бича, друго, што за сада нема бољега. Највише пазите да судите пуку неумитно, и да се не натијецате ко ће кому бити виши господар, но узданији брат. Ако будете овако радили, проће зло турско, а ви ћете остати!“

Ово је ремек говора. Може ли се лепше карактерисати Стеван Штиљановић, него што га карактерише Љубиша у овом говору, у ком се огледају све врлине владаоачеве, који отступа с места на које га је поставило поверење народа, и полази у далеки свет. Но ево још згоднијег примера, из ког ће читаоци увидети не само богатство језика и лепоту стила, него и онај здрави народни морал, који мало час означисмо као главну тенденцију Љубишиних прича.

У попу Андравићу има једна епизода, које сам се мало час дотакнуо, када сам оно навео узрок са којег се посвадише два надлужана, Вукац и син Шћепца. По тадашњим законима прекине суд убијци шљеме на кући, стави му земље под кров, а њега са женом и шесторо нејаке дечице протера у Турску. Једно вече седи Вукац брижан и сетан крај скадарског језера, мислећи о томе како ће да зарани жену и децу, који му гладују. У то приступи к њему један Арбанас, који га по налогу Махмуда Бушатлије, наше од Скадра, позиваше или да убије попа Андравића, па да буде награђен, или да се мора селити из цареве земље. Јадни и гладни Вукац одбије

ову гнусну понуду, на што му Арбанас учини другу понуду, а то, да буде калауз пашиној војсци, те да ова прегази и попали Паштровиће.

„Прођи се да те је анатема“ одговори Вук, крстећи се, „ја бих воли испустити душу на коцу трновоме, него се назвати брацким издајником“.

„А што жалиш проклету земљу, која те је расинила“, надостави Арбанас.

А Вука попану сузе и рече уздишући: „Није она проклета, но честита и по сто пута благословена. Волио бих у њој гладовати на врх Почмина, на оној голој стијени, него да ме султан постави овде везиром. Љубим је као двије очи у глави, као оно гладно пет синова, као оба брата од мајке. На њу сам пао челом из материне утробе, ту ми се расклопише трепавице, ту сам најприје чуо мили звук материна језика, провео младост, принасао оружје, окућно се. На њој ми је гробље прадједовско, на њој моје племе од Косова клица. Кад промислим да сам по њој у дјетинству чувао јаганце и пландовао под њезинијем дубравама, гледао зору где онако ведро свије, кад ме је онај зрак јутрњи и вечерњи обидовао а појили они хладни извори, кад ми на ум пану народне светковине, брацка дика и јуначки понос, помамио бих се да сам хљебом сит. А ти си дошао силан и обијесан да ме вријећаш и наведаш да продам образ, једино добро које ми је преостало! Прођи се, ја те кумим од неба до земље, да ми не преври, да не изгинем до краја“.

Може ли бити чега лепшег и узвишенијег, него што је ова апологија отаџбини, што је држи прогнаник, чија жена и деца од глади умиру. А још нас већма изненађује друга појава у истој приповетци, која нам показује, не само колико је дубоко засађен морал у овоме народу, него шта више, колико је овај иначе осветљиви народ кадар да прашта и да заборава кад му срце узбудиш.

Вукац, видећи да не може даље тако срамотно живети, прода цевардар буд за што, те купи својима да се заране, докле не изврши што је наумио. Тада настане судњи дан. Пред зору дође на кућни праг Шћепац, чијег је сина уморио. Омотан у струци легне колико је год дуг и широк пред врата из којих ће изаћи Шћепац. Тиме се Вукац преда Шћепацу на милост и немилост, а овај га је могао у освету убити. Жена

Шћепчева упозна Вукца те отрчи мужу и стаде му говорити: „Диж се, ето ти синовљи крволок лежи пред вратима, уби га сјекиром као вепра“. Шћепец скочи с постеље, обује се, припаше оружје, пође даље и отвори врата. И открије човека и упозна крвника. Дохвати га за руку, подигне у дубак и изведе на под. Шћепец принесе ракије и врућа хљеба, те га позове да пођу на народни збор. Кад народ угледа два крвника, где за једно иду, свако се обесили и зачуди, а Шћепец народу: „Нашао сам крвника јутрос гђе лежи на кућни праг. Дошао је да га убијем, распас и у струци омотан, а ја га ево доведох овде, да вам објавим како му опраштам синовљу главу, а примам га за кума“.

Која ли разлика између осветљивог Коријолана, који се здружио са непријатељима само за то, што му је част повређена, и овога јадника, кога је отаџбина лишила и имена и части, а који понуду, да калаузи непријатељској војсци, одбија са глорификацијом отаџбине. Шта је према њему онај велики Валенштајн, којег је први немачки песник опевао, а који се спрема да уговара с непријатељем што му је повређена част. Дионис, сиракуски тиран у Шилеровој балади, који прашта противнику, побеђен оним великим моралом побратимске љубави и оданости, ишчезава испред слике старога Шћепца, коме се ражала, видећи на свом кућнем прагу синовљевог убијцу као — покајника! Ово је тријумф оног истог моралног начела, што побеђује, кад оно мајка Јевросима светује рођеног сина, да пресуди:

„Нит по бабу ни по стричевићу,

„Већ по правди бога истинога!“

Па и сам је поп Андравић, кога приповедач назива новим Обилићем, узор српског карактера, који у очи опасности светује народ да буде mudar и опрезан, и да иде мудро, а да не гине лудо. На то му неке старешине, (које, и ако су га поштовале, тек су их смеле лажи Андравићевих противника) примете, да се проноси глас као да им је старешина у споразуму с Турцима. На то их поп Андравић умоли, да чине онако, као што им је световао, а сам оде Махмуду Бушатлији, паши скадарском, који се враћао с војском преко Паштровића у Скадар и потегне на њ пушку да га убије. Но пушка издаде, а поп Андравић испусти душу под ударцима турских јатагана као — нови Милош Обилић.

Овакових слика душевне величине и морала има у Љубише много и премного; једна је слика лепша од друге.

А како нам прича о Љубави?

Има ли лепше слике, него што је слика његове Скочићевојке, има ли нежније и дивније љубави од љубави Гордине. Као што се у песми карактеристично узвишена, божанствена љубав Омера и Мејрме, коју је Лаза Костић у свом интересантном предавању „о женским карактерима у српској народној појезији“ ставио над Шекспировим „Ромеом и Јулијом“, тако нам и Љубиша у својој Горди црта узвишену, њезну, чисто етеричну љубав ове Црногорке.

Ево таки су вам Љубишини јунаци и јунакиње, тако мисле и осећају, зборе и раде, љубе и мрзе. А кроз све то провлачи се тенденција пишчева, да, као што сам вели у предговору к „приповијестима“: „чува неколико знаменитијих догађаја своје отаџбине и да опише начин живљења, мишљења, разговора, напоскон врлине и пороке својијех земљака, пак све то да преда потомству онако, како их је чуо и упамтио од старијих људи, јер је видно, да се свакидан те ствари преображују и гину све што је напреднији дотицај и поплавица туђинства“.

А све то зачиња писац шалом и хумором. Шала је нуждан зачин, а потиче из природе самога народа, а по томе и самога писца. У најжалоснијим, да речемо у најтрагичнијим моментима, тек се који од његових јунака нашали; али та шала тако је природна а опет смишљена, да ни мало не кваре озбиљност момента. Ово ме потсећа на Шекспира, тог највећег песника и психолога. У Шекспира је шала природан и нуждан зачин, као што је и у Љубишиним причама; а то опет сведочи да је Љубиша добар психолог, и да је кроз познавао природу човекову.

Па каква је тек шала у Љубише!

Прича „крађа и прекрађа звона“ је ремек народне шале и хумора.

Украду Љешњани Поборцима звоно св. Јована поборскога, јер имаћаху лепу цркву, али не имаћаху звоно. А како не хтедоше трошити, досете се некој врло практичној финансијској операцији, на којој би им могао завидети многи црквени тугор, т. ј. на кратко, они реше да украду звоно. На овај за-

кључак приволео их је говор Шуље, који беше познат са своје необичне мудрости. „Ето нам зја црква гологлава“, рече Шуљо, „као невјеста без вијенца, новци, не помажу, а у томе приморју црква и звона као малог боба. Него хајте да свучемо светог Јована, а да ођенемо ову старицу св. Петку (и њена црква беше посвећена св. Петки) пак сва та грехота о мојој души. Да ти нијесу свеци као ми саможиви и ђуди лакоме, да не би богати нага одио. Кад радим за славу божију, ту ми нема ни гријеха ни чуда. А лако ћемо обисти; ако се да звоно смаћи са цркве, није чисто жао светоме Јовану дати звоно светој Петки. Ако пак звоно на нашој цркви не занијема ни промијени глас, није жао ни светој Петки примити дар.“ И тако скупштина, слажући се са овим назором Шуљиним, прими предлог да се звоно украде, те да се дигне на цркву св. Петке. По што Љешњани овај закључак „изврше“. стадоше Поборци о томе већати, да ли да се иде на суд на Цетиње, или да се звоно прекраде, те да се онет стави на цркву св. Јована. Било је разних мишлења, али већина реши да је боље, да се звоно прекраде, јер: „шта ће суд с лупежима?“ „А да ми даду Лешњани“, тако говораше општински барјактар, „и триста звона и чапру дуката, док не дође оно наше звоно, чини ми се да сам без носа“. На томе се месту одабере девет друга, по стасу и по годинама, цијет поборске омладине, отворе цркву, целивају иконе, исповједају се водницом причесте, пак сваки расположи својим изметком, као да ће збиља мријети“. При ранку закуну се на часни крст, да ће донети звоно светог Јована или листом изгинути“. Тако пођоше и незвани Љешњанина у госте, те у ноћ скину звоно и однесу у Поборе св. Јовану. Али од тога доба непрестано страже звоно, како га неби Љешњани и по други пут однели; „јер ко што чини, то и дочека“.

Ово је без сумње једна од најсавршенијих и најлепших шаљивих прича Љубининих, пуна досетака и смешних сцена, а језик је одабран као у попа Андравића.

Но као да је ипак најинтересантнији мали Кањош Мачедоновић, дични Паштровић, што је убио Фурланску људину, што је загрозила дужду млетачкоме. Овај се Фурлан утаборио на једном острву на сред Млетака, те ти иште од дужда и сената престо крлатог лава и дуждеву кћер, или

да му дође на мегдан или да му пошаље заменика. Но млетачка господа, на грдну срамоту, не имађаху никогда да пошаљу као заменика дужду. Тако они умоле Паштровиће да им пошаљу дужду заменика, а Паштровићи пошаљу Кањоша Мацедонића за којег приповедач каже, „да је човек ниска струка али жив и чеперан, да би се на игли вртио“. Дође Кањош тројици у Мљетке, а они њему: „Ми се надали да ће нам доћи бољи и виши јунак, него си ти“, а Кањош да пукне од јада те рече: „Моја господа! Бољи и виши пођоше бољњем и вишњјема, а ја једва вас допадох“. Тако он њима врати жао за срамоту. Кањош изиђе пред Фурлана и убије га, а Млечани поздраве га као свога избавитеља. Кањош стајаше у цркви крај дужда и тројице. Дужде му захвали и отвори му благо св. Марка, да узме колико му је воља. Погледа Кањош благо, извади из тобоца дукат те га баци у рисницу а рече: „да се из ове шкриње диже а не меће, то би благо брзо нестало“. На то му дужде понуди кћер за жену, на што он дужду: „Благодарим на такову племениту понуду. У нашој је ошћини обичај непрекидни, да се свак жени у свом јату, и тако чувамо поштење нашијем сестрама“. Па што хоћеш викну господа, а мали Кањош одговори: „ништа друго, већ да нам не узимате царине ни мрнарџа, да стојите поштено на погодби коју смо утврдили при предаји, и за боље јамство да се зове именом нашега народа она обала у Млечима при мору гдје се искрцава наша трговина. Другога дара нити тражим, нити примам“.

И у овој причи има пуно живих слика и сцена, а нарочито помињем скупштину паштровску, извештај Кањошев о млетачкој господи и дочеку његову у двору дуждеву. Оваких ситуација и шала имаде још у већој мери у причањима Вука Дојчевића!

Само ми ваља потсетити на причу: „Ако лаже коза, не лаже рог“ и „Свуда поћи, дома доћи“ у којима Вук Дојчевић уз дуге зимње вечери своме господару прича, шта је све доживео, када је са Иван - бегом путовао по свету. У причи „Гори је невјерник, него ли кривоклетник“ прича се како је нека светица залудила свет, као да тобож ништа не једе и не пије, те јој људи носиле дарове у злату и сребру. Ни поп ни владика не могаху стати на пут том лудилу, те се досети Вук Дојчевић да светицу обелодани. Он јој тобож до-

цесе од владике поздрав и навору, чему се она опираше, ве- лећи, да ће умрети ако навору окуси. Једва је привољу да поједе навору, коју је Вук замешао „млијечеровијем млијеком“ и „отровнијем прашком“. Тек она изједе а оно је спопаде мукa те ти она поче да повраћа и да баца све што је мало пре крадимице јела: „зеље, сланину, бумбаре и пендевише; а удари мирис од вина као да си бачву отворно. Кад виђе пук бљувотину од непробављеног јела, развара се и скочи на Таду да је удави, а свак хоће да му се поврати, што је у завјет дао“. Тако се издеде лажљива светица. Колико је ова прича пуна тенденције, толико је шаљива и занимљива она, у којој се прича како је једна нинерска баба дошла неком даскалу, који је писао (сликао) свете прилике на липовијем даскама и народу их продавао, да у њега купи икону светог Николе зимњега. Но наш даскале не имајући готове прилике какву је баба желела, узме прву бољу, која му беше при руци, те испише на њој орловијем пером: „Свети Николаје, архиепископ и мириликиски чудотворац“, а баба му плати десет млетачких пернера. Кад, ал баби код куће рекоше, да тај свети отац Николаје личи светом Стевану, а она да се помами. Те отуда зашет, који се у причи опширно описује, а који се свршује пресудом судије, који осуди даскала да напише баби другу икону у име св. Николе по навади и црквеноме калуку (што му је лакше но да паре врати), и да је лишен неких права, што их је до тада уживао. „Каква јеђа, таква међа.

Причања Вука Дојчевића су низ мањих прича, у којима се потанко излаже и описује живот и обичаји народа. У приповијестима морао је Љубиша да пазн на форму те није смео у приповетку да уплеће оно, што тамо не спада и што не одговара мотиву дотичне приповетке. Но што није смео чинити приповедач Љубиша у својим приповијестима, то је могао чинити у својим „Причањама“ ђаволасти Вук Дојчевић, та персонификација Љубишиних прича. У „причањима“ нарочито је Љубиша гледао на језик и на облик народне. Он је у њима потанко описао знаменитије људе и догађаје, земље и пределе, а све у народном духу и са извесном тенденцијом. Колико је Љубиша „Причањима Вука Дојчевића“ користио језику, о томе сведочи Стојан Новаковић, који у своме писму председнику „југославенске академије знаности и умјетности“, дру Рачком, а говорећи о изворима, ко-

јима би се ваљало послужити при даљем издавању „Даничићева рјечника српскога или хрватскога језика“, спомине и поручује „причања Вука Дојчевића“. А колико Љубишу у томе цене и сами Хрвати, који му иначе из политичких обзира не беху наклоњени, то нека сведочи некролог што га је донео загребачки „Vienac“. Љубиша је хтео да напише 100 причања, али му намеру осујети прерана смрт његова. Написао је само 37 причања, а спремао је материјал за велики роман, што га је црпио из црногорске повеснице. У том роману хтео је да опише „Црногорско бадње вече“, ту црногорску „вартоломејску ноћ“, коју је Владика у Горском Вијенцу овековечно. У њему је хтео Љубиша да нам прикаже тадашње културно стање српскога народа и његове одношаје према Венецији, Аустрији, Русији и Турској, хтео је да опише патње и страдања нашега народа, које су тада достигле кулминацију те тако изазвале — „црногорско бадње вече.

Смрћу Љубишином претрпила је српска књижевност велики пораз, јер је изгубила у њему једног од највреднијих радника, који би заиста обогатио српску књигу производима свога ума и труда. Но и ово што је написао за тако кратко време, од толике је вредности по српску књижевност, да му је осигурано одлично место међу првацима књижевницима не само у српству него и на читавом словенском југу. Његове су приче епохалне, јер не само, да се њима могу послужити филолози, него ће се њима користовати и они, који се баве културном историјом нашега народа. А сви, који су његове приче прочитали и проучили, сложиће се у томе, да Љубиша одиста заслужује име првог прозајисте и да га можемо уврстити међу најбоље и наоригиналније српске приповедача. Он је са својим причама дигао себи споменик тврђи од камена. Како оно рече Лаза Костић? „Ако је неко, то си ти мога' испустити душу у вјери, да ће ти је народ прихватити у твојој књизи, те ћеш ти живјети њоме у народу, докле је траје.

Тодор Стефановић Виловски.

БЪЛГАРСКИЙ ОТДѢЛЪ.



Прѣдговоръ.

Съ тази книга мисляхме да подадемъ на читатели-тѣ литературни членове на всички-тѣ Славянски язици. А гдѣ-то неможахме да осъществимъ нашъто желаніе-то си, длъжни сме да кажемъ, е крива невъзможность-та да привлечемъ прѣдставители отъ всички-тѣ Славянски племена за да взематъ участіе въ това дѣло. Ний са надяваме че, съ издаваніе-то на „Славянскій Алманахъ“, съдѣйствоваме за запознаваніе-то на Славянски-тѣ язици и за утвърждаваніе-то на душевно-то съединеніе и взаимно дѣйствиe на Славяни-тѣ. Ако ли книга-та ни са удостои съ добъръ пріемъ, то зананрѣдъ ще можемъ да я премѣнимъ на всякогодишно изданіе и да допълнимъ сегашній-тъ недостатъкъ.

Иди, мила Славянска книго, и пѣтувай по всички-тѣ страни, въ кои-то подѣ широко-распространени-тѣ вѣтви на Славянскій родъ са чуе Славянскій гласъ! Дано са посрѣщнешъ съ такъвъ прівѣтъ, съ каква-то та любовь проваждаме.



Съ Богомъ!

Съ Богомъ брате, съ Богомъ,
 Че Турчинъ ма кара
 Въ земя чужда,
 Ма принужда,
 Кат' овца въ кошара.

Укованъ и стѣгнатъ
 Катъ злодѣй ма хваца,
 Да гладувамъ,
 Да жьдувамъ,
 Въ Азія ма праща.

Неоткраднѣлъ нищо,
 Нит' убіецъ станѣлъ.
 Сам' въздъхнахъ
 И пошъгнахъ:
 Родъ-тъ ни е паднѣлъ!

Пожелахъ да сбудя
 Народъ-тъ си милій,
 Да неможе
 Да наложе,
 Врагъ хомотъ си гнилій;

Сждба ми недаде
 Планъ-тъ си да свърша,
 Нъ азъ паднахъ
 И робъ станахъ,
 За жалъ, като мърша.

Хвърленъ ще да бжда
Въ земя пуста, чужда,
Отъ нашъ-тъ врагъ,
Немилъ, недрагъ,
И въ галѣма нужда,

Подъ строги стражари
Ще да бжда бѣденъ,
Ще гнѣя тамъ,
Въ нѣмота самъ,
И въ затворъ-тъ леденъ!

Народнѣй-тъ милъ гласъ
Нѣма вечъ да чувамъ.
Ахъ все странно
Непрѣстанно,
За родъ ще бълнувамъ!

На чужда-та земя
Тѣло ми ще стане
Пепелъ и прахъ,
Тамъ сиромакъ
Животъ ще прѣстане! . .

II.

Тъмничари.

Ей прѣмилиѣ ти мѣсичко
Що грѣшешъ надъ нази,
Невидишъ ли що са сега
Въ отечество газѣ?

Мислятъ ли тамъ и за клѣти
Тъмничари бѣдни,
Кон само за милости
Сж сега тѣ вредни?

Помнятъ ли ни въвъ Българско
Наше драго, мило,

Кое-то са избавлява
Отъ Султанство гнило?

Кажете ни свѣтли звѣзди
Що блѣщите горѣ,
Да ли мислятъ и за нами
Въвъ наше-то дворе?

Хладнѣй вѣтре, милѣй вѣтре,
Що отъ къмъ насъ вѣнешъ
И Балкански-тѣ лѣсове
Хладнѣшъ и люлѣнешъ;

Неможе ли ти да зачуишъ
Дал' въ наша-та пазва,
Има нѣкой за добро ни
Нѣщо да приказва?

Явете ни, молимъ ви са,
Ще ли дни-тѣ черни
Да прѣстанатъ. И ще ли ни
Свобода-та зѣрни;

Ще ли уже желѣза-та,
Студени-тѣ гривни,
Тѣзи мжки, този товаръ,
Ще ли да са дигни?

Ще ли скоро да заздравятъ
Лютѣ-тѣ ни рани,
И начало на новъ животъ
Ще ли да ни хвани?

Или ние ще изгниемъ
Въ тъмници-тѣ хладни,
Въ отчаяне оставени —
Ахъ и още гладни? . .

III.

Въ тъмень облакъ,

Въ тъмень, грозенъ облакъ, са прѣмрачи
Красна-та денница,
И несвѣти, уви прѣкри свой зракъ
Въвъ пуста тъминца!

Ай за жалость лютой-тъ тиранинъ
Съсъ стрѣла утровна
Нарани, мѣжду крѣхки-тѣ ребра,
Другарка миловна!

Прѣдрага моя, първий майскій день,
Ти умрѣ ужасно,
Ахъ, врагъ-тъ зарови въвъ гробъ студень
Тѣло ти прѣкрасно!

Ти са избави, да, невидѣ нищо
Що менѣ застигна,
Ти затвори бистри-тѣ си очи
Наведиждъ прѣмигна;

Сълзи-тѣ ти скоро прѣсъхнаха,
Нъ азъ що дочѣкахъ?
Съ кърваво, за тебъ ранено сърдце,
Жалостно заплакахъ . . .

Ахъ неможа сълзи си да скрия,
Печаль да избѣгна,
Ахъ неможа рана да изцѣра
Спокойно да легна!

Само тогасъ болки ще прѣстанатъ,
Иначе неможатъ,
Кога-то тамъ въ гробъ-тъ гдѣ-то лежишь
И менѣ положатъ! . .

IV.

Недей вече.

Недей вече жално рева
Милій нашъ Балканъ,
Че защо-то славній владарь —
Свобода е, каза, твой даръ
И ставашъ стопанъ!

Недей вече жално рева
Милій нашъ Балканъ,
Че защо-то твой-тъ юнакъ
Са изъ гробъ-тъ въздигна пакъ,
И ставашъ стопанъ!

Недей вече жално рева
Милій нашъ Балканъ,
Че лвъ-тъ взе пакъ да живѣй
И на тебъ вечъ да са вѣй
И ставашъ стопанъ!

Недей вече жално рева
Милій нашъ Балканъ,
Че защо-то нащо тѣгло
Поулекна, нее тѣй зло,
И ставашъ стопанъ!

Недей вече жално рева
Милій нашъ Балканъ,
Че защо-то мръсній Урукъ
На, захвана да пада тукъ,
И ставашъ стопанъ!

Недей вече жално рева
Милій нашъ Балканъ,
Че за животъ става ревинъ
На, до вчера, твой-тъ лѣсъ дивъ,
И ставашъ стопанъ!

Недей вече жално рева
Милій нашъ Балканъ,
Че зацо-то вечъ си зеленъ
И у веченъ пролѣтень день,
И ставашъ стопанъ!

Недей вече жално рева
Милій нашъ Балканъ,
Че тръне-то ще е далечъ
И почена на роза вечъ
Ти да си стопанъ!

Недей вече жално рева
Милій нашъ Балканъ,
Че бухаль-тъ не ще живѣй
А славѣй-тъ почна да пѣй,
И ставашъ стопанъ!

v.

Въ тъмна нощъ.

Въ тъмна нощъ, възвъ лошъ часъ,
На свѣтъ са родихъ,
Ахъ бѣдень, съ таенъ гласъ,
Животъ придобихъ!

Тогава бѣше ввредъ
На Българскій склонъ
Все мъгла. И азъ клѣтъ
На мракъ бѣхъ поклонъ;

Тогава околъ менъ
Съ остъръ ятаганъ,
Държеше нашій день
Строгий „ураганъ“.

Черъ бѣше първій часъ
Въ кой-то свѣтъ видѣхъ,

И тѣжки отъ тогасъ
Мжки прѣтърпѣхъ!

Духъ-тъ ми все са кри
Въвъ тихъ, гробъ студень,
Ще не ще, тамъ да спи
Безъ да види день;

Звѣзда-та ми безъ мощъ
Въ нѣмота сѣдѣ,
Тиха нощъ, добра нощъ,
Ей тя невидѣ!

Съсъ природній си гласъ
Пѣсенъ незапѣхъ:
„Жалостно е за насъ“
Отъ сърдце ревъхъ;

Все въ сълзи и въвъ кръвъ
Виждахъ нашъ народъ,
На робство че е пръвъ
И чужди имотъ!

Не сега не щж вечъ
Сухъ, робски животъ,
Тиранство е далечъ
И не съмъ илотъ;

Ненскамъ въ бурень мракъ
Ази да умра,
А силенъ и юнакъ,
И въ свѣтла зора!

VI.

Любезній друже!

Любезній друже, честитъ си че умрѣ
И стана жертва за свободень животъ,
Безцѣнно нѣщо тукъ, на този свѣтъ,
Кое-то заслужва награда навредъ,
И дава смъртнику най-легкій кивотъ!

Кога-то завървѣ въ наша родина,
И славно загърмѣ нашій-тъ собратъ,
Повстана съ орже сръщу лютиѣ врагъ,
Време е, каза ти, да падне до кракъ,
И нещѣ да бждешъ кат' други Сократъ;

Упоенъ отъ любовь за родно добро,
Потърчѣ нанапрѣдъ за да го слѣдишь,
Да измѣишь юнашки съ огнь и съсъ кръвъ
Прадѣднѣй-тъ грѣхъ. Да, и ти бѣше пръвъ
Гдѣ-т' нещѣ съ надѣжди само да лѣжишь.

Топовнѣй ѣкъ и громъ не та оплаши,
Нъ повечъ придоби дързость и сърдце,
Кат' прѣзрѣ да си членъ на мирнѣй-тъ кржгъ
Пожела и стана на „дружина“ другъ,
Нъ закри вечно ахъ, свое-то лице!

Твой примѣръ юначе прѣдъ нази сѣди
И гласи: „на виждте, за туй бѣхъ роденъ,
Да слѣдвамъ и до смъртъ най-добра-та часть,
Коя-то събори тиранска-та власть
И даде да свѣтне у насъ ясенъ день!“

VII.

Кой би казалъ.

Кой би казалъ, драга розо,
Че ще да повѣхнешъ,
И че така прѣди време
И ти ще да крѣхнешъ!

Невѣрвахъ че прѣставашъ
Да са зеленѣешъ,
И че безъ цвѣтъ въ пролѣтъ-та си
Ще да са люлѣешъ.

Или видѣ че нѣма кой
Вечъ да та полива,

Сутринь-вечеръ да та чисти
И да та зарива?

Или позна че нѣма кой
Цвѣта ти да бере,
Да го боде на гърди си
Гдѣ-т' сърдце трепере?

Че нѣма вечъ да го свива
На красни бугете,
Да го дава на драгій си
Съ радость въвъ ржцѣ-тѣ?

Вѣхни, чернѣй, драга розо,
Въ моя-та градина,
Нека двама станемъ на прахъ
Въ тѣсъ черна година!

VIII.

СѢНЬ.

„Какъ жално са прѣклонило
Всѣко сътворене,
О, какъ смутно са склонило
Чѣка провидѣне!

Гъста мъгла векъ покрива
И ноцъ прѣдвѣщава,
Страшно буро-та завива,
Трепетъ обѣщава!

Черни облаци прѣкрива
Съ тъминна прѣзрѣна,
И безъ милость промѣниха
Рай-тѣ. Адъ почена;

Силенъ трѣсъкъ, ахъ, запуна
И взе да наказва
Всичко наредъ съсъ сполука,
И нищо неспазна;

За все драго околъ менѣ
Надѣжда отнѣма,
Ай, все живо ще извѣхне,
Не, спасене нѣма!

И извиквамъ прѣотчаянъ
Умирамъ горкана,
Нѣ са сбуждамъ и замаянъ
Виждамъ: страхъ прѣстана!

IX.

Отлѣтѣте.

Отлѣтѣте далекъ отъ насъ
Гарвани и врани,
Неграчете жъдно, грозно,
Надъ твари продрани!

Оставете наци брата
Въ покой, прахъ да станатъ,
Некъсайте мѣса-та имъ,
Болки некъ прѣстанатъ;

Нека наци майки черно
Отъ главн открятъ,
И некъ, бѣдни, кървави си
Сълзи да отрятъ;

И спокойно да заровятъ,
Свой-тѣ мили жертви,
Както трѣба. А ви виждте
Други сгодни мъртви!

Отлѣтѣте въ пусти гори
Гарвани и врани,
Неграчете жъдно, грозно
Надъ твари продрани!

х.

Ето и на истокъ.

Ето и на истокъ,
Тамо на Балкана,
Въ Славянскій край,
Въ природнїй рай,
Пакъ животъ захвана!

И надъ тая земя
Сълице-то просвѣтна,
И мѣсець май
Ще тамъ да трай,
Пустиня процвѣтна!

Да, суха-та липа
Наново израстна,
И прѣсенъ цвѣтъ,
За Славскїй свѣтъ,
Става китка красна;

Бѣлій, червень шипокъ
Взе да са развива,
И миризъ миль
Надъ дивъ осиль,
Виждте какъ надвива!

За Славянска слава
Робскїй плачь прѣстава,
А славѣй пѣй,
И зефиръ вѣй,
Българинъ повстава;

Клѣтїй тезъ Славянинъ
Изъ затворъ излѣзва,
Сьсь братски гласъ
Вижда благъ часъ,
Въ човѣшкїй кръгъ влѣзва;

За Ясенювъ вѣнецъ
Съсъ воля съгражда
Падналіи дворъ,
О, нѣма моръ —
Свобода са ражда!

В. Хр. Радославовъ.

Неволно пѣтувание.

I.

Блѣстяща-та зорница са вече упѣтваше кжмъ природно-начертання си пѣтъ, като прибързваше да скрие свои-тѣ електрическо-златни лучи задъ щитъ-тъ на Западъ, въ лицето на огромно-висока-та скала, за да избѣгне отъ владѣтель-та на свѣтлина-та. Ношна-та тишина още владѣеше въ пжлно-та та си, само сутрѣнний вѣтрецъ я безпокоеше съ своя нѣженъ дискантъ, подпомаганъ отъ алтово-то шумтение на малка-та нѣ бистра рѣчица. Въ туй врѣме зачу са тихо штапканіе отъ горна-та часть на градъ-тъ; бѣше то Стоянъ, кой-то, умеренъ отъ цѣлонощно-то стражарување, са завращае въ скромна-та си кжщичка за да си отпочине. Драга-та му сжпруга, Еленка, заедно съ свои-тѣ дѣца, са намираше още въ сладость-та на сънь-тъ кога-то той бутва порта-та, дебешкомъ възлиза стѣлаба-та и влиза въ стая-та.

„Ахъ, колко сладко спатъ мон-тѣ ангели! нарѣдени едно до друго като рибички, налѣгали отъ двѣ-тѣ страни на майка си, като малки пиленца при крила-та на квачка-та! . . . сумтатъ си спокойно! . . . а туй мое малко Летенце колко то си е красно, още по-красно го правятъ заклопени-тѣ му очички, черни-тѣ му тънко-извити вѣждички, ружови-тѣ му устица . . . живо исписано шестокрилато ангелче!“ каза въ себе си Стоянъ съ усмихнато лице. Легкичко са приближи до ухо-то на Еленка, и ѝ пошжпна: „Еленке! дойдохъ си. Ще лѣгна да си поспа оттатакъ въ друга-та стая, нѣ внимавай да бѣде тихо, догдѣ стана.“

„Добрѣ, негрижи са“, отговориха устни-тѣ ѝ и заклопиха са отъ ново клѣпки-тѣ ѝ.

Не са мина много, откакъ Стоянъ са бѣ прѣнесълъ въ областъ-та на нечувствителния сънь и въздухъ-тъ затрепера,

страшния Крушовъ гръмъ са разлѣ по цѣло-то пространство, послѣдваха го веднага други, трети, четвърти и пр. тѣй, щото градъ-тъ са обхрна на втора Помпея и очакваше отъ часъ на часъ нещастие-то си отъ кратеръ-тъ на искусственный Везувий; мжгновенно улици-тѣ са поплниха отъ уплашено-то население; птици-тѣ отъ различенъ родъ са разхвъркаха изъ въздухъ-тъ и тѣрсяха спасение-то си въ отвори-тѣ на естествена-та синосоидова крѣпостъ, а бѣдна-та Еленка, замаяна, тича насамъ, тича натамъ по скромничкия дворъ, повиква туй, повиква онуй отъ дѣвица-та си, чупи ржцѣ, почесва са начесто отъ притѣснение, като са нерѣшаваше да събуди драгия си съпругъ, кой-то едвамъ що бѣше заспалъ!

„Не! трѣбва да го събуда“, каза тя, „тоя гръмъ не прѣдвѣстява добро.“ Възлѣзе горѣ, скржцнаха са врата-та и, по-легко и отъ муха-та, приближи са до постелка-та му.

„Стоенчо!“ пошжпва, като го побутва тѣй нѣжно, тѣй легко, щото будния человекъ едвамъ би усѣтиль. „Стоенчо!“ повтаря тя, „я стани да отидешъ въ пазаръ-тъ да видишъ що са тамъ чини; струва ми са, че пакъ има нѣкакво смѣщение; не чувашъ ли гърмежъ-тъ?“

„Да“, отговори тъмно Стоянъ, като отвори тѣжко клепачи-тѣ си и, безъ да губи врѣме, става, облича са взема кремени-тѣ пищови, забавда ги на поясъ-тъ си и тржгва. „Хж!“ проговори, като са връцна назадъ, „дай ми тамъ отъ полица-та текъ-тъ, моя Архангелъ хранителъ, и наострениия ножъ; може би да са случи да са опитатъ надъ башибозушка-та глава колко вѣрно умѣятъ да ми служатъ. А ти, моя мила, имай винаги дѣтца-та около себе си за въ всѣкакъвъ случай и ма чакай тукъ, догдѣ дойдж.“

II.

Малко слѣдъ заминувание-то на Стояна, неспокойна-та Еленка излѣзе на улица-та, гдѣто са чуваха жални викове, за да са научи каквъ е тоя гърмежъ. Съ отваряние-то на порта-та съглѣжда купъ народъ, прѣблѣдняль, прѣжжлтяль, като восжкъ, всякой говори, никой неслуша вавилония, като въ Турска баня, дѣца реватъ, припкатъ „глѣдайте, глѣдайте!“ извиква една бабичка, коя то само внимаваше на смѣтениия народъ и уплашено са разглѣдваше по върхове-тѣ на ближна-та скала, като че ли очакваше оттамъ опасность-та си,

„гледайте, какъвъ чернѣ димъ са издига задъ Турска-та махала „Дикисанъ“, разширява са бързо и ето че са приближава и къмъ насъ! Туй не е добъръ знакъ! Бѣгайте, да бѣгаме! Отидоха горки-тѣ мъже!“ плесна съ двѣ-тѣ си рѣцѣ и прихапа джука-та си. „Тѣ неще могатъ да додаты и да ни извѣстаты. Туй неприлича на неприятелско нападение! Слушала схмъ отъ дѣда си, че земя-та са пука и засипва всичко, що са намѣри наоколо, съ огънь. Твърдѣ прилича туй на таквось нѣщо!“

„Не“, отговори едно младо разумно дѣвойче, съ злато-сребърни расперени коси порамена-та, изъ коралови-тѣ си устни, „подобно нѣщо е невъзможно у насъ, то е свойствено само на вулканически-тѣ страни. Туй, прочее, е неприятелско нападение! тоя димъ е излѣзалъ и излиза отъ пещера-та на Крупново-то искусство, подъ команда-та на Бертхолдъ Шварцовия прахъ; ето! неусѣщате ли, че захвана да мириши на задушливия симпуръ? — Хж! я слушайте я! какъ захвана наблизу да са плющи! то произлиза отъ растопено-то смъртоносно олово, кое-то като прѣлѣтява отъ цѣви-тѣ на Мартини, лѣпи са тамъ отсѣща на скала-та. А какво би станало, ако всичкия тоя растопень жаръ са лѣпеше на челоувѣческо-то тѣло?“

„Омеле! Страшно!“ викаха много гласове, като покриха лице-то съ рѣцѣ-тѣ си и захванаха да са прѣскатъ по къщата си.

Дѣйствително плющение-то до толкова бѣше са умножило, щото само нѣколко часа бѣше нужно на Хасанови-тѣ хорди да прѣобжрнатъ тоя природенъ гранитъ въ оловяна стѣна.

Еленка, слисана, остана като здървена при рогъ-тѣ на улица-та, глѣдаше насамъ, глѣдаше натамъ, като пололуда и несъзнателно изговаряше: „ами мой Стоянь, ами мой Стоенчо, кждѣ е, кждѣ остана, какво направи?“

III.

Стоянь догдѣто да пристигне до скромни-тѣ, набързо направени, позиции на „Червень-брѣгъ“, лѣгящи-тѣ Черкези распериха свои-тѣ орлови крила и знаха чрѣзъ гърла-та на Мартини, като че ли искаха на веднажъ да погълнатъ наши-тѣ, кои-то, въ туй врѣмя зашанчени тукъ, кряха отстѣпа-

ние-то на казаците съ два-та горски топа; застоя са минутно подъ поли-тѣ на тоя брѣгъ и ето, че захванаха наши-тѣ кракъ за кракъ да отстѣпятъ къмъ срѣдни-тѣ Турски гробища. Черкези-тѣ на сбуну като че никнаха! Като вижда, че и тукъ защитата та е невъзможна прѣдъ кубическа та неприятелска сила, хваща си джно-то на гащи-тѣ и съ гигантски крачки са опятва дома си.

Прѣзъ мостъ-тѣ, кой-то съединява два-та населени брѣгове на р. Осъмъ, бѣше му невъзможно да прѣмине, защото бѣше заприщенъ отъ селяни-тѣ на близосѣдни-тѣ Ловчански села, кон-то бѣгаха отъ дивий Турски ножъ; принуденъ бѣше да прѣгази рѣката. Безъ да дава внимание на измокрувание-то си, прѣцопа я нѣдвѣ нѣтри и криволичаше вече изъ криви-тѣ тѣсни улици тѣж бѣрзо, щото, при всички-тѣ смѣщения и викове отъ поплнения по улици-тѣ народъ, невиждаше и нечуваше нищо. Слѣдъ нѣколко минути пристигва до улица-та си, дѣто заварва бѣдна-та си полуизумѣла сѣпруга, коя-то, като го съглѣдва, растреперено са хвѣрля на шия-та му и извиква: „Стоенчо, драгий Стоенчо! казвай! що е, опасно ли е?“

Всички-тѣ присѣтствующи, на кои-то изпъкнали-тѣ очи бѣха обѣрнали поглѣди-тѣ си къмъ Стояна, като че ли отъ него очакваха спасение-то си, повториха Еленкини-тѣ думи съ по-голѣмъ крясъкъ.

„Чакайте малко! немога да си съвзема душата! силно-то биение на сърдце-то ми ма безпокои! Голѣма опасност! Спартански бой са разви долу въ Срѣдни-тѣ гробища! Казаците отстѣпиха. Наши-тѣ продължаватъ да са държатъ; надгробни-тѣ Турски плочи сѣ тѣхни-тѣ щитове; тѣ имъ служатъ както стари-тѣ Термопили. Нѣ тукъ непомага никакво Темистоклово юначество, никаква Аристоклидова дързостъ прѣдъ огромно-то количество дивни Черкески хорди! струва са да никнатъ, като гѣби въ росни-тѣ Майски дни. Само като извикатъ по двѣ несвѣрзани думи, всичко става на прахъ и пепель. Боя са да не стане градеца ни втора Милтняда! Бѣгайте да избавимъ поне души-тѣ си!“

Догдѣто треперящи-тѣ Стоянови устни изрѣкоха послѣдни-тѣ думи, всички-тѣ са растичаха

„въ Черква!“ викаха едни;

„къмъ Монастиръ-тѣ!“ викаха други;

„въ гора-та!“ викаха трети, а Стояня улови уплашената си сжпруга за ржка-та и прѣлѣтѣ къмъ дома си.

Тукъ заварва всички-тѣ си роднини и дѣца готови за бѣгъ, като приготвили и цѣла стива съ вжрзаници да носатъ съ себе си.

„Иванке, Марийке и всички, вземайте дѣтца-та па хайде да бѣгаме!“ извиква Стояня.

„Тейко! ами вжрзаници-тѣ?“

„На страна!“

„Да заключимъ къща-та“ казва Еленка, „за да я неoberатъ.“

„Тейко! ами какъ ще напустнемъ толкова сахани, черги и ?“

„Не ми споменувайте! извиква сжрдито Стояня. „Оставете всичко па хайде!“ Навежда са, взема всички-тѣ вжрзаници една по една и ги нахвжри въ готварница-та.

IV.

Отдѣли са добрия къщовникъ отъ бащино-то си огнище — отъ стария си донецъ, като прокапаха отъ двѣтѣ слънца на лице-то му нѣколко едри горѣщи сжлзи! притѣснение-то, жалостъ-та му изобразяваше само-то лице; множество студени капки потъ покриха високо-то му чело, очи-тѣ му прияха кървавъ видъ, морски вълни, произведени отъ тая неочаквана горчива скърбъ, прѣгжлташе отъ часъ на часъ и, упоенъ отъ разни-тѣ мисли и въображения, кои-то твжрдѣ бързо са прѣвжртяваха прѣзъ колело-то на умъ-тѣ му, крачеше съ исполнски крачки къмъ пжтъ тѣ ушѣ на спасение-то. Доста голѣмичка-та му наброй фамилия го слѣдваше, безъ всякакви напомнания, само сегасъ тогасъ са чуваше растреперения гласъ на бѣдна-та му сжпруга: „хайде, мама, хайде, потичквайте да излеземъ по-скоро отъ градъ-тѣ, че инакъ ще ни застигнатъ Турци-тѣ па ще ни заколятъ! вжрвете само скупомъ за да са неизгубите изъ множество-то.“

Излизаха вече отъжнъ градъ-тѣ, когато Черкези-тѣ са появили на вжрхъ-тѣ на Чилинска стѣна и почнаха да поздравяватъ долу население-то съ безбройно количество смъртоносни шикалки, съ кое-то прѣсѣкоха правия му пжтъ; принудено бѣше да обжрне своя-та надѣжда къмъ посока-та на Сливѣкъ. Тукъ зрѣлице-то бѣше още по-грозно, по-тра-

гическо: отъ Чилинска стѣна хвѣрчаха надолу глави, да, и цѣли трупове са разбиваха долу у огромни-тѣ балвани! Сви-рение-то на шикалки-тѣ изобразяваше нечуенъ искусствень концертъ: четвъртини, осмини, шестнадесетини, често и цѣли ноти свѣршваха роля-та си на сцѣна-та на челоуѣческо-то тѣло! „охъ, умрѣхъ, свѣршихъ, убиха ма, помогнете ми“, отчаяни пѣшканиа, украсѣваха тая сцѣна.

Стоянь, заедно съ фамилия-та си, са кръстосваше на-самъ натамъ изъ навалица-та, като глѣдаше само да избѣгне смъртоносния ударъ, кой-то всѣка минута го грозеше. Като са приближи до малка-та долинка на прѣдицина-та ископана, а сега запустѣла, вада, извика: „Хж! тичайте тукъ; тая долинка ще ни позапази малко“

„Охъ майчице!“ изрева диво единъ младъ момъкъ, нѣ-колко крачки прѣдъ Стояна, надъ едвамъ застрѣлена-та си майка и хопъ на гърбъ-тѣ си да я носи.

„Тѣжко е побратиме!“ извика му Стоянь, „остави мър-твия лешъ да си почива, а ти бѣгай догдѣ е врѣме!“

Обърна са младия момъкъ изведнажъ назадъ, поглѣдна Стояна, клюмна глава, сложи драга-та си майка полегка на земя-та, цѣлувна я умилно, въздѣхна силно, порони сжлзи надъ чело-то ѝ, понзглѣда я на послѣденъ пѣтъ и упѣти са пакъ напредъ.

Стоянь съ единия си зеть — Михаль, минуваше вече Дужския потѣснота-та си, а Мачинския по блатли-вость-та си пѣтъ на „Трай-Дянка“. „Охъ, затжнахъ!“ извика Стоянь, „издрпай ма зетко че хж! остана ми панто-фъ-тѣ въ тиня-та. Станахъ всждѣ калъ!“ оглѣдва са и, по-глѣдва назадъ. „Ахъ! Еленке! гдѣ останаха дѣтца-та? какъ тѣй ги изгуби, или Турския куршумъ прѣкъсна нѣ-къдѣ сили-тѣ имъ?“

Еленка, съ растреперени нозѣ, едвамъ пристѣпаше. Жалость-та и страхъ-тѣ бѣха отнѣли всички-тѣ ѝ сили.

„И азъ сама незнамъ“, каза тя съ половина душа, „ми-слѣхъ, че идатъ подирѣ ми, нѣ кога са обърнахъ, кого да вида? хора много, разтичали са, като скакалци, всѣкой тѣрси спасение-то си. Позастанахъ да са разглѣдамъ нѣ.“, закапаха порой сжлзи отъ очи-тѣ ѝ и прѣкъсна са говоръ-тѣ ѝ минутно. Стоянь, укованъ въ ужасъ, съ растворени уста, съ испъкнали очи, като че ли искатъ да стрѣлатъ, съ опнати

на долу ржѣ и растворени прѣсти, стоеше, прѣобжрнатъ на камакъ, и слушаше съ внимание притурени-тѣ нещастия, кои-то растреперения гласъ на нещастна-та майка едвамъ изричаше чрѣзъ вчезнали-тѣ са челюсти.

„Нъ множество-то“, проджажи тя, „туй множество народъ, кое-то верѣдъ задушливия димъ са мерджѣше, поставше отъ часъ на часъ завѣса прѣдъ очи-тѣ ми, и азъ неможѣхъ да вида никого отъ наши-тѣ. Видѣхъ само, недалеко отъ мене, какъ единъ срѣденъ человекъ слагаше жално въ обятия-тана черна-та земя свое-то, убито въ прѣгрядки-тѣ му, дѣтенце. Уплашена да не сполѣтя и моя Летка сжца-та сѣдба, побѣраахъ да Ви застигна.“

Въ сѣщия мигъ ужасенъ викъ, който заглушаваше цѣла-та вавилония, привлече погледъ-тъ на Еленка.

„Биле!“ извика тя, „я виждъ Стоене какъ оня Черкезинъ е пропустналъ конь-тъ си изъ тѣсна-та пхтечка на Чилинска стѣна! маха изъ маса-та съ блѣскава-та си сабя и прави хорски-тѣ глави да хвѣрчатъ около му като пчели!.... Кѣмъ насъ тегли! Бѣгай Стоене и ти зетко, а азъ полегка-легка ще Ви слѣдвамъ!“

Хукнаха двама-та мъже на бѣгъ изъ криволици-тѣ на каманакъ тѣ, като невиджаха вече земя подъ себе си. Като излѣзоха на поляна-та, позапрѣ ги любопитство-то за да видатъ дали сж избѣгнали. Потъ, като порой обливаше лица-та имъ, сѣрдца-та имъ бняхъ, като солдатско тремпе, нозѣ-тѣ имъ, ослабнали, прѣгжваха вече свои-тѣ стави прѣзъ колѣна-та, кога-то зачуха тупотъ-тъ конский и гласъ-тъ на страхъ-тъ: „Черкезъ, черкезъ“. Сега сила-та имъ са утрои, но помощъ-та бѣше малка, защото настанали бѣха равна поляна, конский приятель, а тѣхна загуба.

Приближаваше са вече исправения на конь-тъ рицаръ, облѣченъ съ дълга хѣбяна антирия, окичена на гърди-тѣ съ нѣколко калпи за фишеци, отпрѣдъ на кръстъ-тъ повѣсенъ двойостъръ мечъ, на рамо Мартинка пушка, въ дѣсна рѣка обнажена сабя, готова да отнѣме глави-тѣ на двама-та наши бѣгающа, а въ лѣва-та кормило-то на хвѣркатия конь, когато „хопъ!“ прѣдъ него са потжркулява зетъ-тъ Михалъ и завзема револверъ-тъ на око-то си. Догдѣ-то юзда-та да въспрѣ физическа-та сила на конь-тъ и блѣстяща-та като огънь сабя да изгуби една-та личность отъ сцена-та на позо-

рище-то, „памъ!“ една рана отъ револверъ-тъ на зеть-тъ и „хупъ“ прѣкачури са Черкезинъ-тъ отъ конь-тъ си долу.

Догдѣ-то да са съвземе да повика тествъ-тъ си, гър-межъ-тъ накара Стояна да са спрѣ, кой-то като видѣ потър-коления Черкезинъ, вжрна са.

„Тхай за тебе!“ извика най-сѣтнѣ радостно Михаль. „Глѣдай тество какъ прострѣхъ наша-та смъртъ прѣдъ но-зѣтѣ си! я виждъ отъ злоба какъвъ са е испилъ проклетия разбойникъ, очн-тѣ му влѣтѣли, ябалки-тѣ подъ очн-тѣ му са избочили, като планини, между носъ-тъ и брада-та са продж-нила цѣла долина, а на брада-та му останали само нѣколко ко-сама! Земи прочее ти мечъ-тъ и пушка-та му, а азъ сабя-та му и да го оставимъ на Промитейова-та сѣдба.“

V.

Минува Еленка покрай тѣло-то на Черкезина, изглѣдва го съ удоволствие и „дано ти куче бждеше онзи, който щѣше да истржгне душа-та ми! Ахъ, какъ захвана сърдце-то ми да усѣща радость, като че ми прѣдизвѣстия нѣщо добро!“ говори Еленка на себе си и продължава пѣтъ-тъ си съ пѣлна надѣжда, че ще застigne живи и здрави другари-тѣ си. Излиза вече надъ стѣна-та срѣщу чифликъ-тъ и са разглѣдва. „Ха! ония сж тѣ сж! хайде мама да слѣземъ полегкичка изъ тая стѣна пакъ ще си починемъ, като пристигнемъ тейка ти; ето го хе! гдѣ ни чака“, говореше тя на малка-та си Летка.

Минуваха подъ поли-тѣ на стѣна-та, покрай брѣгъ-тъ на рѣка-та и са приближаваха вече кжмъ Стояна, кой-то ги ча-каше край ливада-та.

„Побжрай Еленке побжрай“, извика полѣгка Стоянъ на приближаваща-та са нецастница, „ето тука сме, още живи; стопихме пнти-тѣ на онзи изедникъ, испратихме го да свѣтува въ рай-тъ си. Ето тукъ наблизичко подъ тая малка горица има една пещерка, крита отъ една гжста тухичка; въ нея ще са скриемъ, догдѣ-то угасне день-тъ, та че каквото Богъ даде“.

„Охъ! добрѣ че Ви видѣхъ, инакъ бѣхъ изгубена!“ про-говори Еленка. „Вече сили-тѣ ми са прѣсичаха, кога-то видѣхъ прострѣно-то, облѣно въ кръвъ, злодѣйско тѣло; черния му хайдушкий пирчимъ покриваше грозно-то му почернѣло лице; то като че ми нови сили достави, та са довлѣкохъ дотукъ“.

„Хайде сега да негубимъ врѣме, да са въскачимъ на посочено-то намъ отъ Бога мѣсто“ каза Стоянь и тръгнаха.

VI.

Въ три четире-метрова дължина, полуелипсовита пещерка, покрита въ една страна съ зеления мъхъ, въ друга — поизмокрена отъ студени-тѣ капки, кои-то постоянно са прѣцѣждаха прѣзъ стѣни-тѣ ѝ, постлана съ едно множество козени черни маслинки, запазена прѣдъ слнчєви-тѣ лучи отъ навжсєния гранитовъ вѣнецъ и отъ гжста-та люлякова туха, наклѣкали рѣдомъ, облегнати у задни-тѣ стѣни на студена-та скала, нѣколко нещастници жени, коя съ нѣкое по-възрастничко дѣтенце при себе, коя съ малко отроче въ ржцѣ, а нѣкоя пжкъ съ скръстени ржцѣ, изглѣдва като че са окаява, за гдѣто не е загинала заедно съ своя сжпругъ, съ свои-тѣ мили рожби или съ свои-тѣ братя и сестри. Отчаянно, тжй, бѣха замислени, кога-то наши-тѣ пжтници единъ по единъ са испрѣчиха прѣдъ очи-тѣ имъ. Поусмихнаха са, като ги видѣха, и порониха сжлзи, кой знае дали отъ радостъ или веднага си напомниха за свои-тѣ!

„Ехъ, мили сестри!“ проговори Еленка умилно кжмъ всички-тѣ, „дочакахме най-сѣтнѣ и тукъ да са видимъ!“

„Нека Богъ обраца на добро,“ проговори Стоянь тъмно.

VII.

Еленка сѣднала бѣше отъ една-та страна на рѣдъ-тѣ близу до мъжъ-тѣ си, отчаянно подпрѣла натегнала-та си глава на двѣ-тѣ свои трѣнерящи ржцѣ! отъ очи-тѣ ѝ, облѣни въ кръвь, отчасъ начасъ падаха по нѣколко едри сжлзи, като блѣстящи метеори въ въздухъ-тѣ подиръ горѣщо врѣме! хвжрлена бѣше въ лабиринтъ мисли една отъ друга поскърбни. Да, начесто хвжряше умилєнъ поглѣдъ кжмъ едничка-та си избавена рожба, коя-то бѣше сѣднала току до колѣно то ѝ, дълбоко изохвѣваше и я целувнише. Малко-то туй дѣтенце, слисано, несмѣеше да си отвори ружови-тѣ устица, сътворени тжй, като да сж готови да са засмѣятъ, за да проговори на нажалена-та си майчица, или да я попроси за комаче хлѣбецъ, както то обикновенно правяше; само я глѣдеше невинно въ сами-тѣ очи съ свои-тѣ малки чернушки, като че ли искаше съ туй да ѝ намали тѣгостъ-та; напротивъ

то още повече раздражняваше наранено-то ѝ сърдце, като ѝ напомняше за останали-тѣ си изгубени сестрички.

Стоянь, пополѣгналъ на страна-та си, съ подслонена на дѣсна-та си рѣка глава, обжрналъ поглѣди-тѣ си къмъ красния природенъ изглѣдъ, като положилъ Черкезка-та пушка отпрѣдъ си на стража. Догдѣ-то тѣй са разглѣдваше, като си напомняше за свои тѣ сѣнчасти градини, мѣрна му са нѣщо прѣдъ очи-тѣ, тамъ долу въ вжрбалакъ-тѣ при брѣгъ-тѣ на рѣка-та. Вни силно зракъ-тѣ си къмъ тая страна, като са мжчаше да открие що е.

„Ейле! челоувѣкъ Българинъ нашенець съ дълга черна дрѣха, прѣпасанъ съ синъ шалъ, дълги черни коси покриватъ рамене-тѣ му, гологлавъ, бѣдния, уплашенъ силно, узира са насамъ натамъ!“ пошжина Стоянь. Всички-тѣ обжрнаха внимание-то си надолу, нѣ не съглѣдваша още нищо. Стоянь намахваше очи-тѣ си „Хж!“ повтори, „това е попъ-тѣ! нашия попъ, ще го повикамъ. Поне!“ извиква съ легкъ гласъ. Попъ-тѣ на часъ-тѣ са обжрна и съглѣда Стояна. Стоянь махна съ рѣка и попъ-тѣ прѣпжлязъ къмъ него.

„Сиромахъ попе, какво си испатихме!“

„Мжлчи сега“, пошжина свѣщенникъ-тѣ, „защо-то, като бѣхъ долу подъ яръ-тѣ, съглѣдахъ двама Черкези съ единъ конь, че идяха насамъ и ще минатъ прѣзъ тѣя пжть.“ Всички-тѣ съ растворени уста бѣха наднели ухо-то си по близу къмъ свѣщенникъ-тѣ да слушатъ. „Ако да небѣше ми са обадилъ щѣхъ да зачина, пакъ можѣхте и Вий да пострададе“, продължи свѣщенникъ-тѣ. „Дай и менѣ едно отъ оржжия-та си и да са приготвимъ за въ всѣкакъвъ случай. Ако би да ни нападнатъ, съ едно пушкание ще ги свалимъ, нѣ ако ни невидатъ и си замянатъ, ще си мжлчимъ, защото инакъ би било за насъ опасно: отодѣве, като бѣхъ долу, захухъ надъ насъ въ лозя-та крѣсъкъ; съ изгърмѣвание-то може тамшнн-тѣ мжчителн да чуятъ, да са притичатъ отъ тамъ тукъ и, конецъ съ насъ.“

„Да ето зададохъ са!“ каза Михалъ, кой-то неодмѣщаше поглѣди-тѣ си отъ оная страна, къмъ кой-то бѣше свѣщенникъ-тѣ посочилъ.

Настана мъртва тишина. Всѣкой са сви къмъ земя-та и, въ единъ мигъ, са прѣобжрнаха на статун. Стоянь, свѣ-

щенникъ-тъ и Михалъ, Стояновия зеть, взеха близу до очитѣ си оржия-та и очакваха случайтъ.

Двама-та черкези са спрѣха долу на пжть-тъ, тъкмо въ права линия съ пещера-та.

„Дали не ще има тукъ нѣкъдѣ скрити нѣкои гяури за да наостримъ ножове-тъ?“ проговори единиятъ изъ басовий си гласъ.

„Невѣрвамъ“, каза другия, като посви рамо-то си, „защото тѣ бѣгаха повечето къмъ оная страна, тамъ къмъ лози-та.“

„Като е тжй тукъ нѣмаме работа“, каза първия.

Размѣтаха пешови-тъ на дългн-тъ си антирии и заминаха.

„Измнаха! . . . слава Богу! И тукъ Господь ни запази.“ пошпна свѣщенникъ-тъ. Всички-тъ въ единъ мигъ, като подъ команда, издигнаха глави-тъ си, тъмни-тъ имъ лица промѣниха краски-тъ си, като изобразяваха благодарность и задоволствие.

VIII.

Слънце-то бѣше вече изминало полуденникъ-тъ си и са ужитваше къмъ Западъ за да угаси по-скоро день-тъ и да даде сгодно врѣме на наши-тъ страдалци за избѣгване. Гърмежъ-тъ отъ часъ на часъ прѣставаше, догдѣ най-сѣтнѣ умлжна съвсѣмъ. Малки-тъ пѣваючи птиченца захванаха да разливатъ сладкия свой соловий гласъ изъ въздухъ-тъ. Най-сѣтнѣ мракъ-тъ пристжпваше къмъ прагъ-тъ на ноцъ-та, като бѣше готовъ да изригне изъ Драконови-тъ си уста тъмния облакъ и да покрие цѣла-та околность.

Тукъ тамъ захванаха да трѣтитатъ по небосклонъ-тъ огненни-тъ звѣзди; блѣстяща-та Венера са горделиво переше, като церица, съ Клеонатрина-та си хубость; нъ нито тя, нито нейни-тъ другарки бѣха въ състояние, чрѣзъ своя-та свѣтина, да издадатъ наши тѣ страдалци на Турския сатжръ.

За щастне, неприятель-тъ на подобни случаи и на злодѣйци-тъ — мѣсець-тъ, трѣбваше да изгрѣе кждѣ разсжмване.

Настана напжлно ноцна-та тишина. Не са чуваше нищо повече, освѣнъ тукъ тамъ жално-то завивание на псета-та, кой-то, подпашени отъ силния гърмежъ, бѣха изгубили свои-тъ господари и са скитаха по лози-та.

„Врѣме е вече да напустнемъ туй наше приврѣменно прибѣжище, да му поблагодаримъ и да тржнемъ“, каза Стоянь.

„Да, нетрѣбва бавение“, отговори свѣщенникъ-тъ.

Прѣкръстиха са, както обикновенно правятъ православни-тъ при почвание-то на нѣкоя работа, и единъ поединъ, слизаха отъ малка-та скаличка. Биение-то на сърдце-то имъ са удвои. Като овчаръ овце-тъ, Стоянь, съ обнажена сабя намѣсто гавалъ и съ пушка Черкезска намѣсто кривакъ, ги поведе наирѣдъ, а подирѣ имъ вжрвеше свѣщенникъ-тъ и Михалъ.

По-тихо и отъ змия-та, пропжлзѣха безопасна-та ливада и кривнаха прѣзъ мамулакъ-тъ за да слѣзнатъ въ Сливѣшка-та околностъ.

„Стойте!, пошжина Стоянь, „тукъ наблизу при колибата са блѣщукатъ искри отъ огнь Слушайте, какъвъ подземень женски врѣскъ са чува! Да кривнимъ прѣзъ кайрякъ-тъ за да не испаднемъ на нѣкон Хасановци. Вжрвете подирѣ ми!“

„Охъ! умразенъ пѣтъ!“ промжрмора Свѣщенникъ-тъ, „нозѣ-тъ ми са попълниха съ бодила отъ диво-то тръне! А тия малки бодливи камачета още повече ма безпокоятъ, като че ли на ножове стѣпамъ“.

Горки-тъ жени и дѣтца несмѣяха да проговоратъ, като са бояха да не стане канарския имъ дискантъ причина на издайство; само слѣдваха водачи-тъ си, като една понакуцва, друга свива рамо, третя отъ часъ на часъ поповдигва нога, чумари са, а четвърта по прѣхапва начесто джюка. Да, отъ часъ на часъ чуваха са силни вжтрѣшни, нѣ безгласни пжшкания, като кога вжрвяха по желѣзни-тъ нагорѣщени инквизиторски плочи. И наистина прѣвжрзани-тъ имъ отъ черния мракъ очи ги караха да стѣпятъ на най-бодливи-тъ тръне, на най-изострени-тъ отъ природа-та камачета.

„Охъ, мамо, убодохъ са! немога вече да вжрва!“ проговори по едно врѣме малко-то Еленкино ангелче.

„Още малко, мама, пакъ ще си починаемъ; ела да та поноса“ и хонъ на гжрбъ-тъ си.

Слѣзоха вече изъ пѣрвия върхъ, нѣ тѣй като вжрвѣха безъ пжтница, испрѣчваше са отпрѣдѣ имъ другъ, подобенъ тѣмъ на върхъ-тъ „Монтъ-Бланкъ, прѣзъ кого-то трѣбваше

непрѣменно да минатъ, защото само прѣзъ него можаха да влѣзатъ въ страна-та на приятелски-тѣ сили.

Изливаше са отъ лица-та имъ цѣли порои горѣщъ потъ; облѣкла-та имъ бѣха измокрени, като извадено отъ рѣка-та пране; сили-тѣ имъ са скъсѣваха, колени-тѣ имъ захванаха начесто да са посрѣщатъ, уста-та и ноздри-тѣ ставаха недостатъчни за доставяние чистъ въздухъ на дихателния имъ органъ Най-сѣтнѣ излѣзоха на връхъ-тѣ.

„Тукъ ще починемъ малко“ каза Стоянъ.

„Да“ отговориха всички-тѣ съ единъ гласъ.

Тѣлесни-тѣ имъ сили бѣха до толкова изчерпени отъ бодливия Алпский пѣтъ, щото въ единъ мигъ, слѣдъ изричание-то на послѣдно-то „да“, като подъ военна команда, прѣгъгнаха стави-тѣ на колибающи-тѣ си вече нозѣ и сѣдѣща-та кость са намѣри прикована у връхъ-тѣ на тая гола мोगла.

„О, колко е приятна почивка-та!“ проговориха всички-тѣ, като отъ едни уста.

Нарѣдили са бѣха, както съзвѣздие-то „Ковачка“, което въ туй врѣме наведено стоеше надъ тѣхъ. Хладния вѣтрець пронизваше повърхность-та на тая мोगла; само нѣколко минути му бѣха достатъчни за да направи наши-тѣ скостени! Дѣйствително като че са намираха на Балканский връхъ „Мара-Гедикъ.“

„И тѣй, да вървимъ“, каза Стоянъ слѣдъ едно малко отджванне, „защото студений вѣтръ твърдѣ лесно може да посѣе нѣкого отъ насъ тукъ.“

„Не“, казаха повечето гласове, „ако щемъ са и узджи, не са помѣщаме, догдѣто си не попочинемъ добрѣ; неусѣщаме нозѣ-тѣ си вече, трѣпнатъ, като че ли са бити съ цѣли снопове прѣчки.“

„Най-сѣтнѣ нека бѣде по волята Ви“, каза Стоянъ и пооблѣгна са на лакать-тѣ си.

IX.

Въ нѣколко минути бѣха задрѣмали всички-тѣ. Еленка са държеше още, нъ и тя слѣдъ малко затвори клѣпки, глава-та ѝ падна на гърди-тѣ; бѣше прострѣла вджрвени-тѣ си нозѣ, а съ рѣцѣ-тѣ си са бѣше облѣгнала на лопатки-тѣ си „Хж! черни дяволи“, захвана да бжлнува, „внй змѣйове! искате да вземете и послѣдно-то ми утѣшение! не-

стигнаха Ви толкова мои жертви! не давамъ си Летето! Хайде, махвайте са отъ тукъ! Ахъ! отъ му проклетия глвичка-та, наниза му трупъ-тъ на бодило-то си!“ извика и скочи на крака, като посѣгаше съ двѣ-тѣ си рѣцѣ, иъ веднага свързѣ са и, прѣдъ очи-тѣ ѝ, блѣснало лице-то на сиѣща-та ѝ Летка, здрава, тѣжкулната като пѣнче и тихо сумти изъ малко-то си носле.

„О, Боже! какъвъ страшенъ сѣнь!“ проговори въ себе си. „Да ли е туй сѣнь? Да, сѣнь е. Не вида ли, че е цѣло и здраво?“

Тѣркаше очи-тѣ си и са протѣгаше, като трескавъ на слѣнце.

„Охъ! болатъ ма мѣса-та! види са, че съмъ настинала! А кое ли е врѣме?“ казваше си тя. „Трѣбва да са е прѣполовила нощъ-та. Да, щѣхъ да ги събуда. Ехъ, какъ хубаво, какъ сладко спатъ!“ Изглѣдва всички-тѣ рѣдомъ. Дохожда и до Стояна. „Я! я какъ са е свилъ, като котка; той е настиналъ. Трѣбва да го повикамъ, сѣщо и други-тѣ; стига имъ толкова почивка. Стоенчо, попе, Михале и вий другарки! ставайте че ще настините! Хайде да вѣрвимъ!“

Ставатъ единъ по единъ, тѣркатъ очи-тѣ си, прозаяватъ са, потрѣсватъ са, като коне въ мѣгляво врѣме, протѣгатъ са насамъ натамъ „Охъ! риза-та ми са обѣрнала на дѣска, замрѣзнала, като прѣзъ Голѣмъ-Сечка“, проговори една.

„Мене пѣкъ всички-тѣ дрѣхи“, обажда са друга.

„Азъ пѣкъ съмъ са цѣла скоковадила“, обажда са третя.

„Хайдете да вѣрвимъ да са разгорѣщимъ“, казва Стояниъ.

„Да, иъ съ кои ли нозѣ?“ обаждатъ са нѣколко и ставатъ, като са подпиратъ съ рѣцѣ-тѣ си у земя-та.

„Кое ли е врѣме?“

„Ковачка-та отишла да почива, несѣществува вече на небосклона, трѣбва да е минало срѣдъ нощъ.“

„Готови ли сте?“

„Да.“ Разговаряха са наши-тѣ пѣтници помежду си.

Потеглиха всички-тѣ по върха на могила-та, като жерави прѣзъ Есенни-тѣ мѣсеци. Стояниъ вѣрвеше на прѣдъ и, съ опулени очи, само са разглѣдваше, като да го нѣщо беспокоеше, или като че бѣше забѣркалъ пѣтъ-тъ.

Х.

Небосклонъ-тъ отъ Источна-та страна постепенно и постепенно са обливаше въ кръвъ, като че ли нѣкое тлѣящо тѣло са разпламтяваше — прѣдизвѣстяваше то изгрѣвание-то на мѣсець-тъ, кой-то влачаше подирѣ си и зарань-та. Наши-тъ пѣтници слизаха изъ могла-та съ голѣма тишина, само тѣркание-то на нозѣ-тъ имъ у висока-та трѣва безпокоеше отъ часъ на часъ спящи-тъ пжлящи животни: начесто изшумуляваше отпрѣдѣ имъ нѣкоя костена жаба, нѣкой гуцдеръ, или нѣкоя длга змня правяше неправилни криви линии, като раздѣляше висока-та трѣва както гигантския китъ морски-тъ вжли; туй мъртво желѣзо сѣпваше отъ часъ на часъ сърдце-то на наши-тъ.

Настанаха градини. Тукъ чести-тъ дървета прѣоблѣчени въ страхъ-тъ прѣдставляваха са прѣдъ очи-тъ на наши-тъ въ человекѣци — да, неприятели; кракъ за кракъ пристѣпваха, като напѣваха до прасkanie струни-тъ на зракъ-тъ.

„Попе! знаещъ ли кждѣ сме? Азъ не са сѣщамъ на коя страна са намираме“, пошжна Стоянь.

„Мѣсто-то ми е непознато. Виждамъ, че вѣрвнмъ между двѣ рѣтлини и нищо повече“, отговори свѣщенникъ-тъ. „Струва ми са, че сме са твждѣ отдалечили отъ пжть-тъ си; искамъ да мисла, че сме близу до „Крапницъ.“ Както н да е, да вѣрвимъ на прѣдѣ, пакъ дѣто отидемъ.“

Мѣсечина-та захващаше по-начесто да са испречва прѣдъ очи-тъ имъ, като да искаше, или да имъ служи вмѣсто фенеръ, или пжкъ да ги прѣдаде на Мохамедови-тъ хорди.

„Стоене!“ пошжна Свѣщенникъ-тъ, „глѣдай тамъ горѣ на пжть-тъ ни какво е! человекъ правъ ми са струва, Черкезинъ прѣпасанъ прѣзъ кръсть-тъ съ сабя да, калпакъ-тъ му сжция. Глѣдай какъ ясно го фотографира мѣсечина-та!“ впива си по-сидно очи-тъ, „и носъ-тъ му са познава, чело планина, брада-върхъ! Какво мислишь? що да правимъ? — Другъ пжть, освѣнъ тоя, нѣма. Ха?“

„Струва ми са, че страхъ-тъ прѣправя дърво-то на Черкезинъ, както мъртви-тъ тѣла на вампири“, каза Стоянь. „За да са увѣримъ, да припжзи нѣкой отъ насъ по-наблизу до него, а други-тъ да стоятъ тукъ.“

„Да“, отговори свѣщенникъ-тъ, „азъ ще отида, а ти остани при жени-тъ тукъ.“

„Нъ внимавай да та неугади нито муха-та.“

Догдѣто Стояниъ изрѣче послѣдни-тѣ думи, Свѣщенникъ-тѣ са отдалѣчи, като излѣгко шлапкаше по росна-та трѣва. Малко понататѣкъ той са прѣправи въ четвероногъ, расперени-тѣ му черни коси са лжцѣха по рамена-та му отъ зари-тѣ на мѣсецъ-тѣ, като Левска грива, а черна-та му антириря са бѣше провиснала въ нозѣ-тѣ, като руно-то на Африканска мечка. Пълзение-то бѣше романтическо. Колкото повече са приближаваше, толкова по-бистри ставаха огледала-та на очи-тѣ му.

Най-сѣгнѣ испречва са прѣдъ него, намѣсто Черкезинъ, единъ старъ джбъ, обрѣзанъ, види са отъ нѣкой овчаръ за шума-та, а отъ нѣкой дърваръ за дърва-та.

„Ехъ, колко е лжливно челоуѣческо-то око!“ каза въ себе си като взема пакъ челоуѣческо-то си положение. „Догдѣто да са увѣра щѣха да ми са пукнатъ гърди-тѣ! Да побързамъ да успокоя Стояна и дружина-та.“

XI.

Безпокойствие-то на Стояна са уславаше. Съ кръстосани нозѣ сѣдѣше на росна-та трѣва близу до едно сливово дърво и, съ отворени уста, немахваше очи отъ страна-та къмъ която Свѣщенникъ-тѣ бѣ заминалъ; отъ часъ на часъ изохваше, усѣщаше чудесно напжвание въ гърди-тѣ си; движеше са, като параходъ верѣдъ морски-тѣ вълни, въ лабиринтъ мисли

„Попъ-тѣ са забави!“ изговори тжжно. „Станало е пакъ да, ето зададе са нѣкой отгорѣ! Това е той! Върви си свободно, както далъ Господъ!“ бърже промжмора, като го оглѣдваше по-внимателно.

„Ха, ха!“ усмива са Свѣщенникъ-тѣ, като са приближава, „стария джбъ да направя на Черкезинъ! Хубава работа! Страхъ-тѣ да ма докара до туй положение! Нищо. Всичко-то е, че изпосѣдрахъ кожа-та на ржцѣ-тѣ си.“ Оглѣдва си окървавени-тѣ ржцѣ. „Лошо нѣщо е да бжде челоуѣкъ четвероногъ! Нъ хайде!“

Красна-та заранна планета са задаваше отъ Истокъ и прѣдвѣстваше день-тѣ; електрически-тѣ ѣ лучи са пржскаха по цѣла-та околностъ и по блѣдни-тѣ лица на наши-тѣ пжтници, които тжкмо срѣщу нея бѣха обжрнати. Не са ми на

много откакъ видѣха Свѣщенниковия Черкезинъ — стария джбъ, испрече са прѣдъ очи-тѣ имъ жива стѣна, огромень лѣсъ; гжсти-тѣ клонове на стари-тѣ черни джбове, на бѣли-тѣ брѣсове и липи и на искривени-тѣ габжри ключваха върхове-тѣ си, като съ туй поставяха черна завѣса прѣдъ лицето на едвамъ изникнала-та зорница. Наши-тѣ принудени бѣха да прѣминнатъ и тоя чернъ облакъ. Изгубиха и най-малка-та свѣтлинка. Врѣме-то бѣше тжй тихо, щото и шумка-та на чувствителна-та треперика оставаше въ недвижимость. Хванати единъ у другъ, водими отъ Стояна, а той отъ прострѣна-та си наурѣдъ ржака, вжрвѣха твжрдѣ легко, щото освѣнъ дишание-то имъ не са чуваше нищо друго; тукъ очи-тѣ имъ бѣха безполезни. По едно врѣме зачуваше са далечно лаяние на псета

„Позапрете са малко!“ каза Стоянь, като са обжрна къмъ тѣхъ, нъ невиждаше никого „спрѣте са да видимъ какъвъ е тоя гласъ. Струва ми са, че кучета лаятъ.“

„Да, наистина“, каза свѣщенникъ-тѣ, „мисла че тукъ наблизу ще има нѣкое село, или пжкъ нѣкой пчелникъ.“

„А кое ли ще е туй село?“ нетърпеливо попита Еленка.

„Да вжрвимъ къмъ тая посока, отгдѣто са чува гласъ-тѣ та щѣмъ видѣ“, каза Стоянь.

„Ами ако ненадѣино влѣземъ въ нѣкое Турско село?“ проговори една отъ други-тѣ жени.

Зари-тѣ на день-тѣ захванаха да са пронизватъ прѣзъ шупли-тѣ на тъмния клончевъ облакъ и наши-тѣ почнаха да са виждатъ единъ другъ. Колко-то повече са приближаваха къмъ края на гора-та толкова повече са уславаше свѣтна-та. Най-сѣтнѣ день-тѣ облада цѣла-та околность и тѣ са намираха отвжнъ гора-та.

„Попе!“ усмихнато каза Стоянь, „това не е ли Горно-Павликяни?“

„Да, безъ сжмиѣние“, отговори Свѣщенникъ-тѣ. „Че пжкъ сме са лутали напраздно цѣла ноцъ!“

„Нима само два часа и половина сме са отдалѣчили отъ градъ-тѣ?“ приложи Михаль.

„Извѣстно“, каза Стоянь. „Хайде да отидемъ тамъ въ нѣкоя кжщица да похапнемъ малко млѣко съ просеникъ.“

Приближаваха първи-тѣ плетове на село-то. Лаяние-то на кучета-та са уславаше. Нѣколко голѣми кучета, като

вълци, спущаха са противъ наши-тѣ пѣтници, като бѣха извадили остри-тѣ си, като мечъ, зжби за да ги разкъсатъ

„Како!“ извикава Стоянь, като са приближава къмъ плетъ-тъ на една, на земя-та поставена и съ слама покрита, къщица. „Како!“ повтаря той, „нѣма ли никой въ тая къща?“

Почаква малко, повиква още нѣколко пѣти, нѣ никой са необади.

„Може би да нѣма никой“, каза Еленка.

„Възможно ли е, когато куминь-тѣ са пуни?“

„Да заминемъ на друга къща“, каза Свѣщенникъ-тѣ.

Оттѣглюваха са всички-тѣ скупомъ, като са прѣдизваха, съ единъ истъргнатъ отъ плетъ-тѣ колъ, отъ кучета-та, конто, като мѣтаха лесници-тѣ си рунтави опашки, въртѣха са около имъ и съ раздрани гърла лаяха. Въ пѣть-тѣ случайно срѣщатъ единъ бѣлобрадъ старецъ, облѣченъ въ бѣли, хжбяни дрѣхи, подпирायущицъ са съ хубава бѣла огладена сопа; подъ кжси-тѣ му до лакъть-тѣ отъ хжбичка-та ржави са подаваха други по-широки, бѣли като снѣгъ и въ краятъ нашарани съ разни, повечето коралови, краски „Да, за щастие“, каза Стоянь, „тоя старецъ ще ни покаже нѣкой, за малка почивка само, къща. Дѣдо!“ обжрна са къмъ старецъ-тѣ, „защо изъ село-то Ви днесъ са не видятъ хора? Да не бждатъ отишли толкова рано на работа?“

„Не, дѣдова-та, нѣ отзаранъ наранина са пржна слухъ, че Турци-тѣ идатъ, та повечето избѣгаха, кой какъ завжрна, къмъ Севлиево.“

„Ами не можемъ ли посѣдна въ нѣкой къщица тадѣва за да позахлѣбимъ стомахъ-тѣ? Отъ вчера сутринъ не сме туряли нито хапка въ уста.“

„Нещемъ, нещемъ!“ нетърпеливо извикаха всички-тѣ жени. „Нещемъ да са възпираме тукъ! едвамъ сме поизбѣгнали, не са излагаме вече на опасностъ!“

„Ехъ, дѣдовата, и азъ тжй бихъ рекълъ! по-добрѣ е да са невъзпирате тукъ.“

XII.

Златни-тѣ лучи на слънце-то бѣха завладѣли всичко-то видѣщо пространство, и най-малки-тѣ трѣвички, като са мжчаха да имъ изсмучатъ и послѣдни-тѣ разхладителни заранни росни капчици; да, прѣсичаха са тѣ въ високи-тѣ скали, като

морски вълни въ крайбрѣжни-тѣ балвани; въ тия скали, между които въ тия минути, вчерашния день, останаха много невинни души да почиватъ вѣчно. Въ туй врѣме зачу са подземенъ грѣмъ откъмъ страна-та на градъ-тѣ: славния Рускии Генералъ Скобелевъ бѣше прилѣтѣлъ съ свои-тѣ соколи за да помогне на свои-тѣ по кръвъ братя; тоя грѣмъ силно подѣйствиоува на наши-тѣ пѣтници, като усилаваше крачки-тѣ имъ. Колко-то поскоро вжрвѣха, толкова повече са усилаваше слънчевия жаръ и толкова по-утѣгчителни ставаха минути-тѣ за пѣтувание. По Севлиево-то шосе срѣщаха и застигаха пѣстрило народъ: Русси (казаки и пѣхотни), селяни, съ широки черни и бѣли шалвари и граждани отъ пострадалия градъ. Безъ внимание на всичко, дойдоха до послѣдна-та могила, отгдѣто са виждаше расположения на поле-то градъ Севлиево; блѣснаха са, прѣдъ очи-тѣ на наши-тѣ, най-напрѣдъ Турски-тѣ джамии; нова-та черква одразяваше всяка свѣтлость: чупяха са тукъ слънчеви-тѣ лучи, като правяха второ слънце; бѣли-тѣ съ варъ полѣпени кѣщи правяха отдалеч вѣликолепенъ градъ-тѣ. Тукъ слѣдъ като поотпочинаха, продължиха пѣть-тѣ си.

Вечъ, вечъ приближаваха първи-тѣ кѣщи на градъ-тѣ, а Еленкино-то лице ставаше отъ блѣдно по-блѣдно; усѣщаше силно тупание въ лѣва-та страна на гърди-тѣ си, като кога ще са издхнатъ; вивваше къмъ една страна очи-тѣ си

„Ахъ! извиква силно, като въ сѣщия мигъ лице-то и пламна въ огнь, „Марийка и Иванка! . . . и Василка! тѣ сж!“

„Гдѣ сж? Да, тѣ сж!“ извика Стоянъ сепнжто.

Еленка са затича и, петъ крачки далечъ отъ намѣрени-тѣ си рожби, които още я несѣглѣдваха, извика съ всичка-та си сила: „Марийке!“ небѣше вече въ състояние горка-та майка да продума ни дума, языкъ-тѣ ѝ отъ радостъ са завжрза, отъ очи-тѣ ѝ са порониха порой сжлзи, растренерени-тѣ ѝ рѣцѣ са мѣтнаха на дѣщеркини-тѣ ѝ вратове и въздухъ-тѣ екна отъ сладки-тѣ майчини и дѣщеркини цѣлудки. Пристигна и Стоянъ съ всичка-та си друга дружина. Сега настана най-радостна-та минута, която инжкъ не бѣше възможно да са изрази, освѣнъ чрѣзъ размѣнявание-то на сърдечни-тѣ цѣлудки.

Д. К. Вачовъ

Подписчики. — Predplatitelji.

РОССІЯ.

Варшава: Учебная дирекція
Дертъ: Бѣдловоуі Цез.
Ружевскій А.
Свеборгъ: Бялоцкій А. Г.,
полковникъ.
Латернеръ С. О., пол-
ковникъ.
Мавринъ М. А., под-
полковникъ.

Свеборгъ: Писаревскій Н. П.
инженеръ надполк.
Чернокнижниковъ К.,
инженеръ штабсъ
капитанъ.

*Станція московско - кур-
ской желѣзной дороги*:
Меньщиковъ А. Н.

Сухое: Волланъ Гр. А.

АВСТРІЯ. — AVSTRIJA.

Галичина.

Бартне: Хнякъ В., парохъ.
Божикова: Стеткевичъ И.
Выссова: Саламонъ В., де-
канъ.
Гар менце: Ванно И., ц. к. ф.
стр. надзиратель.
Гошовъ: Мацѣевскій М.
Дороженецъ: Андрийчукъ Е.
Завадка: Ничай М.
Зарѣче: Волошинъ, парохъ.
Зелена: Воеводка Д., парохъ.
Краковъ: Грушкевичъ, уч. г.
Ланчинъ: Радикевичъ, пар.
Львовъ: Будина В.
Будина И.
Громницкій И., пр. г.

Львовъ: Марковъ О. А.
„Просвѣта“ общество.
Щербанъ А. Н.
Щербанъ Евгенія.

Надворна: Мандычевскій ак.
Оставъ: Гадинскій, парохъ.
Глинскій, завѣдатель.

Гелмя: Менцізскій А.
Піюве: Ганкевичъ, парохъ.
Черемышль: Гумецкій К. И.
сем. восп.

Рѣчка: Сабать А. Н., свящ.
Санокъ: Dr. Fr. Liprež, с. к.
polk. zdravn.

Сливница: Добранскій В. Ф.
душпастьръ.

Снятынъ: Гладуловичъ А.
Станиславов: Желехів-
ський, проф. гимн.
Климъ Д.

Тлумачекъ: Сабать, деканъ
Чагрів: Цегляньський, учит.
Огоновский П., к. фил.

Б у к о в и н а.

Черновци: Калитовскій Ф., ц. к. суд. ад.
Кумановскій П., студ. фил.

Čechy.

Černý Kostelec: Říha. Frant.
Dražkovice: Jirek Jan.
Humpolec: Valeský R.
Chrudím: Jedlička, O., dr.,
kand. adv.
Klimeš Jos., měšťan.
Leiser Alois, lékárník.
Novák Jos.
Pippich Kar., dr., k. adv.
Roth Kar., dr., advokat.
Sobek Frant., profesor.
Sýkora Jos., dr., advokat
Vaniček A., inženýr.
Všetečka Em., správce li-
hovaru.
Weselý Rud., účetní cukro-
varu.
Wiesner Frt., továrník.
Woprsálek Jan, dr., k. adv.
Zapotil J., ředitel cukro-
varu.
Jičín: Veselý Fr., stud.

Košice-Malešov: Klus F.
Ledeč: Holinka F., učitel.
Litoměřice: Seyvalter, Fr., boh.
Zuklin, bohosl.
Manetin: Macha J., okr. tajemn.
Plzeň: Schiebl J., knih. (3 ex.)
Praha: Butnický Ladislav, fil.
Čepulič Kosta, právník.
Dolanský L.
Matič Mašo, cand. prof.
Мицовъ Теодоръ, мк.
Paroubek Nor. Otokar.
Piškulič Pavel Ant. Ivan.
Polívka Jiří, filolog.
Sl. „Slavia“, lit. řečn. spol.
Vlček J.
Wenzel Jos., fil.
Úřetice: Wyskočil Čen., statkář.
Vopařany: Hrubant Jos.
Hrubant Ant.
Šibalova Kateřina.

Morava.

Bedřichovo: Kocian Jos., coop.
Brno: Pražák A., dr., advokat.
Kroměříž: Bakalář J. st. VII. g.

Kroměříž: Kopřiva A. st. VII. g.
Přerov: „Čtenářský spolek“.

Slezsko.

Pustějov: Vašek Ferdinand, učitel.

Uhorsko.

Banovce: Šebo Fr., A.
Škvarenina Joz.
Banská Bystrica: Bothár M., ml.
Štollmann Lud., kováč.
Beckov: Bórik K., notár.
Mednianský M., r. kat. far.
Duna-Földvár: Muriň Mat.
Gombáš: Okál Ján, ml. notár.
Hradok Lip: Hucik Ján.
Hrachovo: Markovič P., ev. far.
Istebnó: Laco Ján, far. ev. a.
Jasenová: Zoch Pav., far. ev. a.
Kubín Dol.: Bencúr Ján.
Bencúr Joz.
Bruck K., kupec.
Bulla F.
Hammerschmid Mdr.
Kloptok Mdr.
Kohúth Kyr.
Králik A.
Kreva Joz.
Murčíc An.
Nádaši A., pravotár. (2 ex.)
Novák Sám., ev. senior.
Országh Pavla.
Országh Pavol.
Radlinský Ig.
Tomala Gust.
Kubín V.: Kmeť Mat.
Kubínyi Flor.
Kulpín: Stolárik Vil., učitel.
Leštiny: Škripeň Ján, far. ev.
Lip. Sv. Mikuláš: Baltík B. ev. s.
Kállay Adolf, pravotár.
Kovalevský M., ml. ev. far.
Ruppeldt Karol. učitel.
Ružiak Ján, pravotár.
Trnovský Karol, kupec.
Uram Rehor, učitel.

L'uboreč: Gömöri Andr., ev. far.
Malacky: Feja Dionys, pravát.
Malé Stankovce: Križan, ev. far.
Maškova: Bašell Kol., ev. far.
Myjava: Jurenka Ján.
Nad'lak: Adamkovič Ján, učitel.
Boor, ev. kaplán.
Hrdlička, ev. faráv.
Lehotský Belo, pravotár.
Námestovo: Híštek Žofia.
Necpaly: Polerecký Andrej, kap.
N.-Mesto n. V.: Hosenberg K., st.
Hrušovský Štef., pravotár.
Kulišek Miloslav, „
Párnica: Tréger Jozef, učitel.
Pešť: Slovenský spolok.
Petrovec: Mrva Juraj, ev. farár.
Pezínek: Jamnický Peter, prav.
Prešporok: Ballo M., ev. bohosl.
Bernáth Alex., „ „
Borsuk Pavol, štud.
Brečka Ján, právnik.
Cimrák Ján, štud.
Fiala Lud., právnik.
Gallay Bohumil, právnik.
Kováč Dan., ev. bohosl.
Križan Ján, bohoslovec.
Križan Karol, štud.
Krno Cyril, štud.
Kuchta Sámuel, štud.
Kutlík Ján, ev. bohosl.
Laciak Michal, ev. bohosl.
Lopušný Ján, právnik.
Mikulík Milosl., „
Mudroň Michal, Dr. práv.
Nehyba Lud.
Nemčík Jozefína.
Protič Jovan, právnik.
Reuss Emil, štud.

Semian Lud., štud.
 Slabey Matej. štud.
 Štúr Anton, ev. bohosl.
 Tesák Rudolf, štud.
 Wenich Karol, štud.
Púchov: Hajiček Lud., pravotár.
Pukanec: Schwarz Ján.
Ružobreh: Fábry Jozef.
 Houdek Jozef.
 Makovický J. D., farár.
 Makovický Peter.
Sarvaš: Langhoffer A., štud.
Segedin: Зубановић Н.
Sielnica lipt.: Salva Karol, uč.
Slovany: Polóny Jozef.
Sotina: Suša Joz., zpr.
Strahová dol.: Benedikty J., uč.
Suča dolnia: Kluch Ján, kapl.

Sučany: Hodža Ján, ev. kaplan.
 Lenčo Ján, medik.
 Olezy Viťazoslav, medik.
Štiavnik: Ballay Štefan.
Tisovnik: Laciak Milina.
Trnovec: Laco Ján, uč.
Trstená: Bulla Peter, pravotár.
 Halaša Michal.
 Gyuresák Ján, pravotár.
 Kavulák Andrej.
 Várzóly Ján, sudca.
Turč. Sv. Martin: Milec J., kup.
 Pietor Ambro, redaktor.
 Šimko Miloš, právnik.
 Vanovič Ján, „
Vrbovce: Sloboda Pavol, ev. far.
Záturčie: Burian Ján, učitelj.

Koroško.

Celovec: Lutman M., duhoven.
 Repič O., dijak.

Vidovič J., dijak.
Glinje: Sablačan M.

Kranjsko.

Černi verh: Kuralt J., coop.
Černomelj: Haring Zofija.
 Kupljen A., c. k. notar.
 Škerlj J., c. k. sodn. prist.
Harije: Škerjanec J., duhovnik.
Kerško: Jugović A., posestnik.
 Koceli K., dr., odvetnik.
 Pfeifer J., posestnik.
 Štajer F., koncip.
Koprivnik: Jančigar K., župnik.
Kostanjevica: Kuralt J., c. k. s. pr.
Kranj: Zupan T., profesor.
Ljubljana: Bleiweis J., dr.
 Fajgelj, ur. banke „Slavije“.
 Hribar J.
 Koblar A., sem. duh.
 Levec J., učitelj.

Martinec A., ur. pri dež. s.
 Merčun R., sem. duh.
 Olc V., ur. pri banki „Slav.“
 Pirc E., zast. ban. Azienda
 Praedica J., prof.
 Robič L., dež. posl.
 Žlogar A., kaplan.
 Žvab L., učitelj.
 Učiteljski pripravniki
 IV. te čaja: Erbllich R.
 Lavrenčič V.
 Pintar J.
 Vagaja Lj.
 Osmošolci: Avsenik J.
 Bežek V.
 Fertin O.
 Kalan A.

Lončar J.
Lubej F.
Majar F.
Miklavčič D.
Pintar M.
Polak J.
Pretnar M.
Rahnè J.
Rihar F.
Svetič F.
Šiška J.
Štritov A.
Valpetič J.
Sedmošolci: Dolencec F.
Golf L.
Hudník M.
Kušar F.
Pokorn R.
Pirec A.
Šuštersič A.
Ulrih V.
Šestošolci: Adamič H.
Bulovec M.
Erzar M.
Klemenčič M.
Marouth J.
Novák J.
Petrič A.
Podobnik R.
Pogačnik J.
Ponebšek J.
Steržinar J.
Šinkovec J.
Vidmar J.
Vilfan J.
Zobec A.
Petošolci: Homan V.
Samotorčan J.
Šuštersič F.
Tomšič J.

Realci: Detelja D.
Fasan R.
Flerè J.
Guzelj M.
Kleinmayr M. pl.
Maloverh M.
Oblak Z.
Slapničar M.
Smukavec M.
Bogoslovci: Belec J.
Hudovernik Lj.
Jenko Lj.
Majar G.
Zorec F.
„Knjižnica“ ljublj. bogosl.
Litija: Svetec L., c. k. notar.
Loka: Arko, dr. zdravnik.
Bernard D., učitelj.
Franc R., davk. pr.
Gaber A., posestnik.
Pilpah F., pl. c. kr. štotn.
Sušnik A., terg. pom.
Metlika: Aleš A., dekan.
Dovgan F., župnik.
Furlan F., posestnik.
Gangl L., posestnik.
Jančar F., duhovnik.
Kapeller J., duh. oskerbn.
Koren J., duh. pomočnik.
Navratil A., zasebnik.
Ogrinc V., c. k. okr. sodnik.
Pfefferer D., c. kr. s. prist.
Poklukar J., duh. pomočn.
Potočnik O., pravnik.
Röthel M., c. kr. s. pristav.
Schweiger F., duh. pom.
Vilman G., duh. pomočnik.
Wacha F., lekar.
Novomesto: „Čitalnica.“
Nachtigall R., profesor.

Škofic F., dr., c. kr. s. pr.
Gimnazijci: Clarici D.
Hudaklin F.
Mrak M.
Nemanić J.
Štel J.
Šašel J.
Terbuhović E.
Pečine: Mrak J., župan.
Planina: Rihar A., kaplan.
Preddvor: Cirman A., učitelj.
Radoljca: Kosmač M.
Razderto: Kavčič H.

Selo pri Ljubljani: Jelovšek G.
Sora: Verhovnik J., kaplan.
Sv. Peter: Korošec J.
Sv. Rupert: Berçar J.
Stergar F., tergovec.
Sv. Vid pri Ljubljani: Marešič F., duh. pomočnik.
Sv. Vid pri Zatični: Podboj J., duhovnik.
Velika dolina: Dolinar M.
Verhnika: Šerjak J.
Vrabče: Zarnik J., učitelj.

Primorsko.

Ajdovščina: Gabrovščik S., duh. Valog D.
Banjšice: Žnidarčič A., vikarij.
Bergud: Mazek J.
Bilje: Pečenko A.
Šavnik A.
Bovec: Kopal P., dekan.
Sorč A., c. kr. poštár.
Gernjan: Podkrajšek, nadz. ž. p.
Gorica: Bogoslovci:
Gršković A.
Gregorčič S.,
Kodrič F.
Kranjec J., dijak.
Leban A., učitelj.

Koper: Kleinmayr J. pl., prof.
Log: Strukelj M., vikarij.
Lokavec: Kerkoč S., duhovnik.
Rebek Fr.
Volkov J., učitelj.
Obloke: Dugalin J., vikarij.
Mirno: Gerbec J.
Pervačina: Byra M., сл. пощ.
Podmelec: Bratina A., kaplan.
Rihenberk: Gregorčič S., kaplan.
Rižana: Sancin J., duhovnik.
Terst: Mubej J., c. kr. pom. k. pr.
Tomaj: Zupan J., kaplan.
Villa Vicentina: Furlani J.
Volče: Miklavčič J., pošt. odpr.

Štajarsko.

Brežice: Josek L., c. kr. okr. glav.
Kaukowsky, c. kr. okr. kom.
Kaučič R., c. kr. knjigov.
Mikuš F., dekan.
Novotny E., c. kr. sodnik.
Razlag R., dr. odvetnik.
Srebre G., dr. odvetnik.
Šlamberger A., koncipijent.

Šnideršič J., lekarnik.
Taušek J., koncipijent.
Veršec M., uradnik.
Zarnik J., koncipijent.
Celje: Osmošolci: Grušovnik.
Kolšek J.
Napotnik F.
Preskar J.

Sever M.
Sedmošolci: Fon J.
Kovačič J.
Matek D.
Mikuš Z.
Rančigaj T.
Svet J.
Šestošolec: Korbar M.
Petošolec: Podgoršek F.
Gradec: Valko A., tehnik.
Кулешин К., канд. проф.
Mudrovčić J., pravnik.
Pajk J., profesor.
Knjižn. društva „Triglava“.
Arch J., tehnik.
Bedjanič D., phil.
Brunet F., cand. phil.
Globočnik R., pravnik.
Jurtela F., pravnik.
Kokalj M., pravnik.
Krisper V., pravnik.
Lendovšek J., phil.
Milher G., pravnik.
Milone J., tehnik.
Pintar S., phil.
Požar L., phil.
Šega D., phil.
Šetinc, pravnik.
Šušteršič, tehnik.
Šuta, gimnazijec.
Hvaletinci: Plešič J., posestnik.
Konjice: Nemanić, dr., c. kr. s. pr.
Laški terg: Böheim J., kaplan.
Elsbacher A., tergovec.
Heber F., kaplan.
Orožen F., cand. prof.
Spindler R., uradnik.
Žuža A., dekan.
Ljubno: Turkuš T., profesor.

Ljutomer: Reich A., c. k. davk. pr.
Lembah: Praprotnik F., učitelj.
Maribor: Osmošolci: Babnik.
Dečko J.
Kukovič B.
Pučko O.
Sedmošolci: Mahorko F.
Murko M.
Ploj O.
Šestošolci: Bezjak J.
Brinšek E.
Ogrizek J.
Repič F.
Šegulja.
Petošolci: Bezjak B.
Keček H.
Kolarič J.
Perc F.
Rožman F.
Bogoslovci: Aškert A.
Hrastel F.
Kozinc J.
Rom O.
Osenjak M., duhovnik.
Skuhala J., prof. bogosl.
Vrančič T., uč. pripravnik.
Špindler T. i
Žalar J., naredn. 47. pešp.
Motnik: Križnik G.
Ormuž: Geršak J., dr. c. kr. notar.
Verbujak M.
Ptuj: Lendovšek M., vikar.
Prus S., kaplan.
Šoštanj: Fekonja A., kaplan.
Videm: Gomilšek J., žel. uradn.
Ripšl D., župnik.
Vuhred: Mraz T., župnik.
Zidan most: Potočin A., posestn.

Hrvatska, Slavonija i Dalmacija.

Brod: Procháska L., pivar.
Čagjavica: Baloković B., učitelj.
Gruž: Ukmar A., c. kr. pom. k. pr.
Karlovac: Pfeifer G., franjevac.
 Steklasa J., profesor.
Osiek: Bajić J., četveroškolac.
 Ettel J., osmoškolac.
 Salopek V., pl. petoškolac,
 Stanić J., šestoskolac.
 Zoch Branislav, dr.
Samobor: Laborec A., kapelan.
 Rumpler Franja, učiteljka.
Valpovo: Barč B., trgovac.
 Haisler G., duh. pom.
 Till G., pisar.
 Župić J., vlast. protust.
Varaždin: Agjić N., osmoškolac.

Bosnić A., sedmoškolac.
 Francelj O., um. real. učitelj.
 Hegedić V., osmoškolac.
 Fusić F., „
 Kööskényi D., „
 Prigl J., „
 Sabo F., „
 Stražimir M., petoškolac.
 „Neven“ knjiž. djačko druž.
Zagreb: Buljan M., klerik
 Mlakar J., „
 Potločnik A., „
 Schaschel J., „
 Macek F.
 Vamberger M., phil.
Županja: Benaković J., kr. poštar. (8 otisaka).

Bosna i Hercegovina.

Sarajevo: Napotnik M., drd. th.
 voj. duhovn.

Buna kraj Mostara: Jakovčić, vojak.

Nemečka Avstrija.

Innsbruck: Féuš F., drd. th.
 Kucen F., bogoslovec.
Klosterneuburg Peterlin A., prof.
Wolkersdorf: Plantan J., konc.
Bbna. — *Videň*. — *Viedeň*. —
Dunaj. — *Beč*. — *Beu*:
 Bač R., cand. phil.
 Borsik A., kupec.
 Cigale M., c. kr. uradnik.
 Čapek A., drd. phil.
 Deržavni zbor (25 exempl.)
 Francisci M., medik.
 Garay Š., klerik.
 Karlin J., cand. prof.
 Kreuh R. stud. phil.

Крижановскій Ф., др.
 Lehořský J., drd. med.
 Pogačnik J., dr. odvetnik.
 Římský L., drd. med.
 Rožar J., cand. prof.
 Rubinstein G., knjig. (3 ex.)
 Skalský G., ev. bohosl.
 Štefanović-Now. Dragoila.
 Sterniša F., c. k. uradnik.
 Stodola J., obchodnik.
 Стояновъ Д. А., фотогр.
 Стояновъ Б. Д., реал.
 Стояновъ Т. Д., реал.
 Стратимировнѣ Бор., жл.
 Šimko Sámuel, kupec.
 Štengelj J.

Шухевич И (2 екс.)
Tóth J., klerik.
Изъ „Основы“:
Абрамсонъ J., Ф., студ.
Бѣрецкій Л.
Гранатъ Елмс., ст. мед.
Ковшевичъ О., ст. мед.
Окуневскій Т., jur.
Пелехъ О., студ.
Порайко И.
Скобельскій В., студ.
Шгрузеръ, др.
Янкевичъ В.
3 „Січч“: Волощак, др.
Дяків Н., урядник (2 екс.)
Кураз Н.
Мазікевич О., канд. фил.
Мох J., медик.
Недільскій, канд. ф. (2).
Озаркевич Л., правн.
Окуньевскій Я., мед.
Яюс М., др. мед.
Z akademického spolku:
Auředníček E., právník.
Bílka P., ředitel (5 ex.)
Brož F., medik.
Budík H., phil.
Fechtner E., phil.
Fejta M., kand. prof.
Klineberger Th., právník.
Hubík Š., právník.
Kabrhel G., medik.
Kasal J., technik.
Kaška K., právník.
Kohout H., phil.
Kozánek K., právník.
Kubín S., phil.
Kubín V., kand. prof.
Landsfeld, phil.
Mašek A., medik.

Navrátil K., phil.
Neudert J., phil.
Novotný F., technik.
Pik A., technik.
Pořízka T.
Patočka F., agronom.
Pražák J., právník.
Proházka, uč. oficial.
Ramanovský, phil.
Rybyšár J., právník.
Sion F., phil.
Sokolář F., právník.
Steklý V., technik.
Steyskal J.
Šabata L., medik.
Šebek R., právník
Švec J., právník.
Tuček.
Vobejda.
Volenec K., právník.
Winkler milos. br.
Zapletal J., phil.
Zelený V., phil.
Zelníček R.
Ze Slovanské Besedy:
Commersi A., inženýr.
Hedánek J., lékárník.
Kalandra J., ředitel.
Komínek A., obchodník
Mezník J., admin.
Novotný J., kněhved.
Otta M., inženýr.
Rybička A., dv. sekr.
Šara V., úředník.
Švanda St., úředník.
Ze slov. zpěv. spolku:
Drozda J. V., dr. med.
Firbas F., odgojitelj.
Jahoda K., pošt. oficial.
Korbelář J., úředník.

Lenoch J., dr. adv.
Mlčoch J., úředník.
Ptačovský F., prof.
Ržibek, uradník.
Sežun Ž., uradník.
Цѣпановскій Е., урядн.
Z „Tatranu“: Budavári A.
Daxner J., technik.
Holeczy P., drd. med.
Hroboň J., ev. bohosl.
Lang J., medik.
Langhoffer K., ev. bohosl.
Markovič J., medik.
Mišša Dr., phil.
Ondruš J., medik.
Pálka E., medik.
Slávik J., ev. bohosl.
Šimko L., medik.
Iz „Slovenije“: Bežek R. ph.
Bric S., pravnik.
Bučar Lj., pravnik.
Cvetnič L., pošt. ur.
Gabrijelčič M., pravnik.
Gregorčič G., pravnik.
Gregorčič J., pravnik.
Habè J., učitelj.
Homann F., tehnik.
Hudovernik A., pravnik.
Jager E., tehnik.
Jurtéla A., pravnik.
Kladva J., phil.
Klein A., pravnik.
Kobler F., pravnik.
Kopač A., phil.
Kos Fr., cand. phil.
Kos J., phil.
Krušič V., phil.
Lah E., phil.
Laharner A., cand. phil.
Lapajne S., cand. jur.

Lenarčič A., pravnik.
Mohar J., phil.
Mašek J., pravnik.
Mulley K., pravnik.
Nemanić pravnik.
Novak J., phil.
Orožen M., pravnik.
Pavlič A., tehnik.
Rebek A., pravnik.
Rihar J., pravnik.
Rizzoli E., pravnik.
Rola O., pravnik.
Rozman L., pravnik.
Rozina A., pravnik.
Rozina V., pravnik.
Rudesch S., uradník.
Schweiger F., pravnik.
Semen A., pravnik.
Simčič J., pravnik.
Škofič J., pravnik.
Šolar J., pravnik.
Šorn J., phil.
Šubic J., phil.
Švaršnik A., phil.
Tavčar V., phil.
Tertnik J., phil.
Uršič F., phil.
Vohl J., pravnik.
Volčič E., pravnik.
Vrečko J., phil.
Zamida B., pravnik.
Zavadlal M., phil.
Zor J., pravnik.
Iz slovenskega literar-
nega družtva:
Hubad J., cand. prof.
Mikuž A., phil.
Šubač M., phil.
Štrekelj K., phil.
Terstenjak A., cand. phil.

БЪЛГАРІЯ.

Изъ Ловичъ: (10 экс.)
Плѣвень: Крачуновъ И.
 Пеювъ А.
 Бачваровъ П. въ Пардюбицѣ.

Илиевъ И. Т. въ Пардюбицѣ.
 Юруковъ В. С. " " "
 Юруковъ Г. Н. " Кенегрецѣ.

Немѣія.

Bautzen: Tschunka Georg.
Berlin: Kačer K., vyšší učitel.
Leipzig: Novák S. P., ev. boh.

Leipzig: Шевнинъ С., ст. фил.
Popitz: Jórdan H., kantor.

Важнѣйшія поправки. — Главні орґаву.

Страница	18	строка	2	съ горы	вмѣсто	благородны	читай	благодарны.
"	23	"	9	"	"	гнойноса	"	гнойныя.
"	41	"	18	"	"	тхетворныхъ	"	тлетворныхъ.
"	43	"	4	"	пизу	"	"	притчу.
"	63	"	10	"	"	лимѣрія	"	лицемѣрія.
Сторона	67	стих	6	з доли	місто	пенерек	"	понерек.
"	74	"	16	з горы	"	бувалицахъ	"	бувалицах.
"	116	"	1	"	"	хлѣбом	"	хлѣбом.
Str.	122	řádek	12	zdola	místo	lidstvo	"	lidstva.
"	136	"	16	shora	"	sputivši	"	spustivši.
"	164	"	13	zdola	"	gvozdje	"	grozdje.
"	205	riadok	13	od vrchu	"	snehá	"	suchá.
"	210	versta	1	"	zgorej	mesto	"	dijakom.
"	251	"	3	"	"	"	"	šobek.
"	251	"	2	"	zdolej	"	"	nobeških
"	255	"	13	"	zgorej	"	"	bodi
"	257	"	9	"	zdolej	"	"	go
"	260	"	18	"	zgorej	"	"	ragserdèn
"	291	redak	13	sgora	mjesto	stvari	"	otvori.
"	291	"	16	"	"	glede	"	gledje.
"	297	"	5	sdola	"	sa	"	za.
"	300	"	8	sgora	"	go o	"	goso.
"	320	"	3	"	"	badris	"	badriř.

Славянскія азбуки. — Slavjanske azbuke.

Русская	Мало-руська	Польска	Чешскá	Slovenská	Slovenska	Хрватска	Сръска	Българска
А а	А а	А а	А а	А а	А а	А а	А а	А а
Б б	Б б	В в	В в	В в	В в	В в	Б б	Б б
В в	В в	W w	Г г (H h)	Г г (H h)	Г г (H h)	Г г	В в	В в
Г г	Г г (г')	Г г (H h) ²	Д д	Д д	Д д	Д д	Г г	Г г
Д д	Д д	Д д	[Dž dž]	[Dž dž]	[Dž dž]	[Dž dž]	Д д	Д д
[Дж аж]	[Дж аж]	[Dž dž]	D' d' (Dj dj)	D' d' (Dj dj)	Dž dž (Dj dj)	Dj dj	Ц ц	[Дж аж]
[Азь азь]	[Азь азь]	[Dž dž]	[Je je]	[Je jc]	[Je je]	[Je je]	Ђ ђ	[Азь азь]
Е е	Е е	[Je je]	[En en]	[En en]	[En en]	[En en]	[Je je]	Е е
[Ен ен]	[Ен ен]	[Je je]	[Jo jo]	[Jo jo]	[Jo jo]	[Jo jo]	[En en]	[Ен ен]
Ё ё	Ю ю (Юйю)	[Jo jo]	Ž ž	Ž ž	Ž ž	Ž ž	[Jo jo]	[Ю ю]
Ж ж	Ж ж	Ž ž	Z z	Z z	Z z	Z z	Ж ж	Ж ж
З з	З з	Z z	[Zj zj]	[Zj zj]	[Zj zj]	[Zj zj]	З з	З з
[Зь зь]	[Зь зь]	[Zj zj]	[Jj j]	[Jj j]	[Jj j]	[Jj j]	[Зь зь]	[Зь зь]
И и	И и (и')	У у (é é)	J j	J j	J j	J j	И и	И и
Й й	Й й	J j	I i	I i	I i	I i	Й й	Й й
І і	І і	I i	K k	K k	K k	K k	І і	І і
К к	К к	K k	L l	L l	L l	L l	К к	К к
Л л	Л л	L l	[Lj lj]	[Lj lj]	[Lj lj]	[Lj lj]	Л л	Л л
(Ль ль)	(Ль ль)	L l	M m	M m	M m	M m	(Ль ль)	(Ль ль)
М м	М м	M m	N n	N n	N n	N n	М м	М м
Н н	Н н	N n	Ń ń	Ń ń	Ń ń	Ń ń	Н н	Н н
(Нь нь)	(Нь нь)	Ń ń	O o	O o	O o	O o	(Нь нь)	(Нь нь)
О о	О о	O o	[On on]	[On on]	[On on]	[On on]	О о	О о
[Он он]	[Он он]	(А) а'					[Он он]	[Он он]

П п [Ржрж]
 Р р [Сь чь]
 С с [Т т]
 У у Ф ф Х х Ц ц
 (Чь чь) Ч ч
 (Чь чь) Ш ш
 Щ щ (Ъ ь⁶)
 Ы ы Б б Ё ё Ю ю
 Я я Ө ө [Кс кс]
 Ж ж¹⁰ Ъ ъ¹¹

П п [Ржрж]
 Р р [Сь чь]
 С с [Т т]
 У у Ф ф Х х Ц ц
 (Чь чь) Ч ч
 Ъ ъ Ш ш
 Щ щ (Шч шч)
 (И и) (Б б)
 [Je je] Ё е
 [Jy jy] [Ja ja]
 (Ф ф) И и (В в)
 [Кс кс]

P p [Rž rž]
 R r [Sj sj]
 S s [T t]
 U u F f H h C c
 (Cj cj) Č č Ć ć Š š [Šč šč]
 (I i) (J j)
 [Je je] E e
 [Ju ju] [Ja ja]
 (F f) I i
 [Ks ks]

P p [Rž rž]
 R r [Sj sj]
 S s [T t]
 U u F f H h C c
 (Cj cj) Č č Ć ć Š š [Šč šč]
 (I i) (J j)
 [Je je] E e
 [Ju ju] [Ja ja]
 (F f) I i (V v)
 [Ks ks]

P p [Rž rž]
 R r [Sj sj]
 S s [T t]
 U u (Ú ú, ů)
 F f Ch ch (H h)
 C c (Cj cj) Č č Ć ć Š š [Šč šč]
 (I i) (V v)
 [Je je] E e
 [Ju ju] [Ja ja]
 F f (Th th)
 I i (V v) X x
 Ä ä¹²

P p [Rž rž]
 R r [Sj sj]
 S s [T t]
 U u (Ó ó)
 F f Ch ch (H h)
 C c (Cj cj) Č č Ć ć Š š [Šč šč]
 (I i) (V v)
 [Je je] E e
 [Ju ju] [Ja ja]
 F f (Th th)
 I i (V v) X x

P p [Rž rž]
 R r [Sj sj]
 S s [T t]
 U u (Ó ó)
 F f Ch ch (H h)
 C c (Cj cj) Č č Ć ć Š š [Šč šč]
 (I i) (V v)
 [Je je] E e
 [Ju ju] [Ja ja]
 F f (Th th)
 I i (V v) X x

П п [Ржрж]
 Р р [Сь чь]
 С с [Т т]
 У у Ф ф Х х Ц ц
 (Чь чь) Ч ч
 (Чь чь) Ш ш
 Щ щ (Ъ ь⁵)
 И и Б б Ё ё Ю ю
 Я я (Т т)
 (И и) [Кс кс]

П п [Ржрж]
 Р р [Сь чь]
 С с [Т т]
 У у Ф ф Х х Ц ц
 (Чь чь) Ч ч
 (Чь чь) Ш ш
 Щ щ (Ъ ь⁵)
 Ы ы Б б Ъ ъ
 Ө ө Ю ю Я я
 Ө ө V v [Кс кс]

- 1) Латиньскі „G g“ виражае малоруський языкъ знаком „z“. — „H h“ знаком „Г г“.
- 2) Głoski „G g“ — „H h“ co do brzmienia z językiem łacińskim zgodne.
- 3) g, samogłoska nosowa co do dźwięku podobna starosławiańskiemu ж, francuskiemu „en“.
- 4) g̣ = starosław. ж = franc. „on“.
- 5) ь = знакъ твердый; в правописи фонетичній лишає ся.
- 6) ь въ срѣда-та на речи-тѣ са изговаря като ж, на край-тѣ е безгласень.
- 7) ы izgovarja se podobno nemeckemu ü.
- 8) ь въ срѣда-та на речи-тѣ са изговаря като ж, а кога-то са нашьрва на край-тѣ на думи-тѣ, нема гласъ, само че омѣгчава съгласна-та предъ нею стоюща буква
- 9) ъ са изговаря като я и ie.
- 10) ж са изговаря като тьмно, гърленно а.
- 11) ѣж са изговаря като і и ж.
- 12) ä vyslovuje sa jako ea skróteno povedanô.

R. P. Konjiški.



**This book should be returned to
the Library on or before the last date
stamped below.**

**A fine is incurred by retaining it
beyond the specified time.**

Please return promptly.

